

**Эли  
Визель**



**ЗАВЕТ**

*Эли Визель*

**ЗАВЕТ**

Р О М А Н

*Эрмитаж*

1987

**Эли Визель**

**ЗАВЕТ**  
**(Роман)**

**Перевод Н. Сони́на**

**Elie Wiesel**  
**ZAVET (A novel)**

**Translated by N. Sonin**

**French edition: Le testament d'un poète juif assassiné (Editions du Seuil)**

**English edition: The testament (Summit Books)**

**Copyright © 1981 by Elirion Associates, Inc.**

**Copyright of Russian text © 1987 by Hermitage**

**All rights reserved**

**Photo on backcover by Arnold Newman**

**Published by HERMITAGE**  
**P. O. Box 410**  
**Tenafly, N. J. 07670, U. S. A.**

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПЕРЕВОДЧИКА

*"Отцы ели кислый виноград, а у детей  
на зубах оскомина".*

(Иеремия 31:29; Иезекииль 13:21)

Я отнюдь не имею намерения предварять роман, как это полагается в добротном предисловии, его исчерпывающим или сколько-нибудь серьезным литературоведческим анализом. Более того, я даже не собираюсь заниматься оценкой и демонстрацией его литературных достоинств и средств художественной и языковой выразительности. Я просто хочу объяснить почему считаю роман Эли Визеля "Завет" одним из крупнейших и наиболее значительных произведений современной еврейской литературы. Иными словами, я хочу показать, что говорит нам писатель своим романом, а не как он это делает, т. е. выступить в роли популяризатора, а не профессионала-литератора, поскольку именно этими, популяризаторскими, целями продиктован выбор романа для перевода.

Роман "Завет" — прежде всего исторический. Он создан на материале совсем недавней, сегодняшней истории человечества, а следовательно, и истории евреев. Эта глава мировой и еврейской истории, пожалуй, с полным правом может быть названа одним, но очень емким и выразительным словом — "Катастрофа". Период этот, как теперь принято говорить, был судьбоносным в мировой истории, не только потому, что унес десятки миллионов человеческих жизней и трагически изуродовал судьбы целых стран и народов, но и нанес сокрушительный, смертельный удар вековой мечте человека о построении на земле царства добра и справедливости.

И как всегда в такие времена, тяжелее всего пришлось евреям. Крах человеческого духа, обнаружившего в тот момент свою полную несостоятельность, приверженность к чудовищному злу и насилию, обернулся для евреев угрозой почти тотального уничтожения.

Естественно, что такая глобальная катастрофа стала темой множества исторических, научных и литературных исследований. Одним из них, философским и литературным, является роман Э. Визеля "Завет", в котором автор сосредоточился на анализе этой катастрофы в сознании и судьбе евреев.

И хотя, как всякий серьезный анализ социальных и духовных явлений, он разворачивается на общеисторическом фоне, писатель занят, прежде всего, выявлением причин, характера и размеров бедствий, пережитых его народом.

На первый взгляд может показаться, что роман не несет никакой особой информативности. Ни тема, ни проблематика его далеко не новы. Многократно и с самых различных, часто противоположных, точек зрения писалось об особой восприимчивости евреев к идеям марксизма и о причинах этого явления. Не ставилась, как в религиозной, так и в советской литературе, тема отступничества евреев от своей веры и традиции. Казалось бы, трудно в таких условиях найти одно свежее слово, способное не только увлечь читателя, но сделать такое произведение вообще интересным для чтения. А между тем, роман Э. Визеля читается с одной стороны как захватывающий трагедийный роман, а с другой — как

серьезное философское размышление, заставляющее глубоко задуматься над судьбами мира и еврейства. Происходит это в силу того, что автор находит для изображения общеизвестных событий свой особый ракурс, свой угол зрения. Что же это за ракурс и как обозначить найденный писателем угол зрения? Мне кажется, правомерно утверждать, что автору удалось убедительно философски обосновать и мастерски выразительно, искусно проиллюстрировать созданную в древнем Израиле поговорку: "Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах: оскомины". В романе "Завет" показано почему в новых исторических условиях евреи сызнава и с таким усердием принялись есть чужой "кислый виноград", почему на этот раз он оказался особенно терпким и какой именно оскоминой обернулся для их детей и внуков.

Знаменательно, что в современной России в параллель древнему Израилу создана аналогичная формула: "За что боролись, на то и напоролись", превратившаяся в присказку, в поговорку. Израильская поговорка увековечена в книгах древних еврейских пророков, российская поговорка достанется потомкам, скорее всего, войдя в сокровищницу русского фольклора. Попытаемся проследить справедливость данного утверждения на материале смыслового анализа романа.

Дело в том, что каждый серьезный политический и духовный кризис в истории народов со времен израильских пророков и Платона приводит к неизменному стремлению преобразовать и перестроить жизнь людей и человеческое общество на "новых" началах, однако всякий раз выясняется, что новизна эта только кажущаяся. Давно известно, что в основе всех политических и социальных утопий лежит миф о построении царства Божьего на земле.

Мессианизм еврейских пророков (Осии, Амоса, Исаяи, Даниила), хилиастические видения о конце света в "Откровениях от Иоанна", идеи построениярая на земле, наступления царства добра и справедливости и, наконец, рационалистические по форме утопии, такие, как идеальное государство Платона, многократно за последние две тысячи лет становились основой революционных учений и идеологий восстаний разной силы и размеров. Когда из смешения пророчеств, мессианизма и рационализированной, увязанной с техническим развитием утопии, возникает идеология, претендующая на революционное преобразование общества, можно смело утверждать, что социальный и духовный кризис достиг всеохватывающего, апокалиптического масштаба. Так именно и было в первой половине 19 в., когда период политических революций и назревавшей промышленной революции совпал в Европе с глубоким разочарованием в идеях Просвещения и свободной торговли, от реализации которых ожидали вечного благоденствия и мира. Совпадение это вызвало к жизни возникновение марксизма, который слил материализм, мессианизм и хилистику в одно учение, а Мессией — спасителем человечества объявил пролетариат, который призван освободить общество от всех противоречий, социального и духовного зла, в том числе и от национальных и религиозных конфликтов.

Аналогичная ситуация повторилась и в начале 20 в., но в гораздо более острой форме. Первая мировая война и революция в России разрешились глубоким и затянувшимся экономическим и политическим кризисом в мире. Результатом явилось широкое распространение идей марксизма-ленинизма и возникновение новой хилиастической идеологии — национал-социализма. Здесь уже хилиастика была густо замешана на извращенном понимании дарвинизма и общем невежестве.

В этой обстановке и начинает свой жизненный путь герой В. Визеля, Палтиель Гершенович Коссовер, еврейский мальчик из украинского местечка, проделавший вполне тривиальный для своего времени путь от ортодоксального еврея, иешивебухера и талмудиста до "просвещенного" еврейского интеллигента-космополита, советского поэта, революционера-марксиста. Герой наделен автором всеми характерными чертами типично еврейской ментальности. Закомплексован-

ный, болезненный, хилый, нелепый в своей провинциальной застенчивости, он в то же время умен, талантлив, добр, благороден и высоко духовен, а значит, бескорыстен и правдив. Он — представитель просвещенной интеллигенции, которую волнуют не сиюминутные мелкие будничные блага, а судьбы мира. Он не может не задумываться и не страдать, видя, в частности, горемычное нищенское существование еврейского местечка в Румынии, куда его семью забросила война. Евреи здесь гибнут от голода и погромов, терпеливо ожидая своего Мессию, обещанного им Богом и законоучителями.

Однако, если священные еврейские книги и учения еврейских мудрецов не дают разгадку тайны времени и места прихода Мессии, то новоявленный рабби, Карл Маркс, как выясняет наш герой, знает точно, как ускорить приход Мессии, т. е. как добиться искоренения зла и насилия и установления всеобщего равенства и братства, благоденствия и счастья человека на земле уже завтра. Естественно, что ментальность нашего героя не позволяет ему остаться в стороне от такого великого дела. Он готов безраздельно посвятить жизнь созиданию лучшего будущего человечества и своего еврейского народа. У кого же достанет сил осудить его за столь благородный порыв? Только не у автора романа, он не судья, а сострадатель. Ему больно за своего героя, совершающего акт отступничества от веры и религии отцов, от еврейства и переход в иную, марксистскую веру. Сам же герой этого еще не понимает, поскольку видит в марксизме только претворение в жизнь учения великих еврейских пророков и мудрецов. Мирозозрение еврея, религиозного, равно как и "просвещенного", всегда проникнуто мессианскими надеждами на лучшее будущее. Даже попытка приблизить приход Мессии — это тоже часть еврейской традиции. Недаром Э. Визель вводит в свой сугубо реалистический роман некий мистический персонаж — ученого еврея-сефарда, профессора Давида Абулесию, который в противовес реальному герою сохраняет абсолютную верность Богу и законоучителям, но тоже странствует по свету в поисках Мессии с той же целью приблизить его приход. Известно, правда, что Маймонид осуждал стремление ускорить приход Мессии и увлечение идеями о конце света. Тем не менее, традиция существовала и владела умами. И хотя автор (вероятно, следуя за Маймонидом) относится к своему мистическому персонажу с определенной долей иронии, Абулесия призван в романе служить реальному герою нравственной опорой и постоянным напоминанием о Боге и еврействе, не дать его духу сломиться. Эту роль он делит с отцом героя, который, предвидя отступничество сына, берет с него, расставаясь, слово каждый день навязывать филактерии и творить молитву Богу, тоже с единственной целью поддержать в нем силу духа и не дать разлиться себя миру зла и насилия.

Если на первых порах своего отступничества герой еще не испытывал угрызений совести и раскаяния, то позднее, сотрудничая с коммунистами в Париже и принимая участие в войне испанцев за свободу от фашизма, он уже переживает глубокий внутренний кризис. Слишком уж нееврейскими, кровопролитными и человеконенавистническими оказались методы, какими коммунисты боролись за всеобщее равенство и братство. В России уже давно победила "мессианская" революция Маркса, а вести оттуда шли самые удручающие и устрашающие. События войны за свободу в Испании просто ошеломили своей несуразной братоубийственностью. Когда же к этому прибавились еще почти ежедневные "исчезновения" товарищей по борьбе и откровенное предательство гражданской войны испанцев со стороны первого в истории человечества земного рая и его бога, то разочарование достигло таких размеров, что жизнь для еврейского революционера, поэта-просветителя утратила всякий разумный смысл. Он подавлен, сломлен; теперь его уже мучают угрызения совести и мысль об отступничестве и предательстве близких. Уже отчетливо осознание совершенной им ошибки и внутренняя го-

товность исправить ее, вернувшись назад, домой, к реальной любви, к истинному добру и братству по-еврейски.

Но ситуация личного духовного краха отступает под натиском очередного мирового кризиса — второй мировой войны. Если построение социализма в СССР, объявленное Сталиным, мыслилось как царство справедливости только для одной страны, то Тысячелетний Третий Рейх Гитлера должен был создать рай на земле уже только для одного господствующего народа. Нацизм своими основными идейными врагами провозгласил коммунистов и евреев. Так, с одной стороны между коммунистами и евреями не был поставлен знак равенства, а с другой — евреи для Гитлера воплощали в себе все мировое зло: капитализм плюс коммунизм и потому должны были исчезнуть с лица земли.

Где уж тут было предаваться размышлению о смысле бытия. Теперь он стал очевидным: спасти еврейский народ, и делать это надо рука об руку с коммунистами, которые, спасая себя, спасут зводно и евреев. И снова героя мотает по свету, но теперь перед ним уже не идеальная, а конкретная цель и, как таковая, достижима. Кажущееся, мнимое добро одерживает верх над явным, осязаемым злом. А чем же жить дальше, чему служить теперь? Еврейской культуре, разумеется. И тут оказывается, что в стране коммунизма для этого придется сделать еще один шаг на пути вероотступничества — вступить в партию. Ведь Палтиель Коссовер сам видел, как отчаянно боролись и гибли коммунисты в борьбе с нацизмом, значит, надо подавить угрызения совести и чувство вины. Видимо, религия отцов и вправду устарела и изжила себя. Зато сохранилось внушенное с детства правило, что верить следует без оглядки и самозабвенно. Это правило надо чтить и в служении новым богам и новому культу.

И только в сталинских застенках до конца осознается, что апокалиптические представления Маркса о завершении всей истории человечества построением совершенного общества так же далеки от осуществления, как и 150 лет назад. Теперь уже совершенно очевидно, что мессианские цели, провозглашенные марксизмом-ленинизмом, вовсе не те, какие внушали Палтиелю еврейские мудрецы и законоучители. В том тысячелетнем царстве, которое строят, ссылаясь на Маркса, евреям попросту нет места. Теперь уже собственный жизненный опыт и новые исторические факты подсказывают иное сопоставление, рука уже тянется поставить знак равенства не между марксизмом и мессианизмом, а между коммунизмом и нацизмом. И хотя такого прямого сопоставления и знака равенства в тексте романа Э. Визеля нет, но оно как-то уж очень легко напрашивается. Нацисты истребляли евреев и коммунистов, коммунисты же истребляют своих же собратьев по партии, инакомыслящих и евреев. Естественно, такого хода развитие событий не мог предусмотреть никто, тем более бывший иешивебухер и талмудист. Теперь же, задним числом, приходит окончательное прозрение и осознание всей меры трагизма совершенной ошибки и ответственности за нее уже не только перед отцом, но и перед сыном, перед грядущими поколениями его народа. "Я не мог представить себе, чтобы партия заклеимила целую культуру, отвергла и зачеркнула литературу целого народа", — говорит Палтиель Коссовер после "погрома нового типа", который коммунисты учинили в одной из московских типографий, где печаталась литература на идиш.

Да, мера ответственности огромна, ее не искупить даже ценой собственной жизни. Так возникает в романе тема неизбежного наказания за совершенное отступничество. Но суд вершится опять-таки не автором. Трагизм пережитой человечеством катастрофы в очередной раз история обряжает в костюмы балаганного фарса. Еврейского поэта, всех выдающихся представителей еврейской культуры в СССР и саму культуру в их лице судят сталинские ублюдки, "собратья" по партии, по приказу своего бога. Судят безвинных тайно, за несовершенное преступление — измену партии. Однако ни история, ни автор романа не позволят со-

хранить этот несправедливый пыточный суд новой инквизиции в тайне. Отсюда и жанровая форма романа-исповеди, романа-завещания. Из еврейского предания Палтиель Коссовер знает, что слово, сказанное или записанное, не пропадает вовсе. Поэтому, вытерпев все пытки коммунистической инквизиции, не дав ей сломить силу своего духа (опорой в этом на протяжении долгого следствия ему постоянно служили нравственные ценности еврейства), герой Э. Визеля согласился дать показания только в форме автобиографии. Он пишет в тюрьме завещание сыну, зная, что уже никогда больше не увидит его; завещание это у Э. Визеля перерастает в "Завет" поколения отцов поколениям потомков. В этом Завете отцы судят себя сами, праведным судом — судом собственной совести, а потому самым страшным.

Отцы обречены, они уже ничего не могут изменить в своей жизни и жизни своего поколения: их ждет пуля в затылок. Но еврейская традиция дарует грешникам искупление. Настал Судный день Палтиеля Коссовера. Его искупление в том, чтобы объявить громко всем последующим поколениям о совершенном отступничестве и предостеречь их не повторять ошибок и преступлений отцов. "Место еврея, живого или мертвого, среди его соплеменников". Отречение от этой немудрящей истины неизбежно ведет к катастрофе, духовной и физической. От нее предостерегал еще Маймонид. Век Мессии, говорил он, время реставрации национального израильского государства, "Дома Давида".

На заре нашей эры евреев уже пытались увлечь христианским мессианизмом и космополитизмом, но они устояли, остались верны своей вере и традициям своего народа и потому уцелели и сохранились как народ. Этой параллели тоже нет в тексте романа, но она незримо присутствует в нем. Автор романа вслед за Маймонидом спешит предостеречь свой народ от нового отступничества и новой катастрофы.

Вероятно, спасение ждет только тех, кто понял эту истину, а ее несомненно поняли в большинстве своем восточно-европейские евреи, ставшие, как и сам автор, жертвами пережитой катастрофы. Здесь безусловно уместно было бы остановиться на той миссии посланца поколения отцов и провозвестника обретенной ими заново истины, какую автор делит в романе с немым сыном героя, но мое вступительное слово и так непомерно затянулось, и было обещано вначале не уводить читателя в литературоведческие дебри. Поэтому я закончу призывом к евреям Запада, и в первую очередь Соединенных Штатов: опомнитесь, сбросьте с глаз завесу, освободитесь от увлечения марксистскими мифами, давно опровергнутыми уже реальной историей.

Если вас не насторожил тот забавный, хотя по-своему и трагичный, факт, что правнук прославленного деятеля марксистской революции Л. Троцкого, — ортодоксальный раввин, то читайте роман Эли Визеля "Завет", и пусть он послужит вам предостережением на будущее.





*3ABET*



*ПОЛЮ ФЛЕМАНДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ*



*Один из Праведников пришел в Содом, решив спасти его жителей от греха и наказания за него. Ночью и днем он ходил по улицам и базарам, обличая алчность и воровство, обман и равнодушие. Вначале люди слушали его и улыбались насмешливо. Потом они перестали слушать — он уже даже не развлекал их. Убийцы продолжали убивать, а умники — молчать, будто среди них вовсе и не было никакого Праведника.*

*Однажды ребенок, движимый состраданием к незадачливому учителю, обратился к нему со словами:*

*— Бедный чужеземец, ты все кричишь, все взываешь, разве ты не видишь, что это безнадежно?*

*— Вижу, — ответил ему Праведник.*

*— Тогда почему ты не остановишься?*

*— Я скажу тебе почему. Вначале я думал, что сумею изменить человека. Сейчас я уже знаю, что не могу этого сделать. И если я все еще кричу и взываю к нему сегодня, то только для того, чтобы не дать человеку в конце концов изменить меня.*

*Из книги "Поколение спустя"*



С ГРИГОРИЕМ ПАЛТИЕЛЕВИЧЕМ КОССОВЕРОМ я познакомился в июле 1972 года в аэропорту Лод. Был полдень; самолет только что приземлился и еще катил по посадочной полосе. Толпа встречающих: родственников, друзей, репортеров, группками стоявших за чертой летного поля, сразу смолкла и застыла в ожидании. Встреча здесь после разлуки не стирает из памяти прошлого, сотканного, как водится, из мытарств, расставаний, тоски.

Я часто езжу в Лод, чтобы понаблюдать эти удивительные встречи новых изгнанников, эмигрантов нынешних времен. Со многими из этих мужчин и женщин я виделся когда-то в Советской России. Но скажи я им тогда, что через несколько лет буду встречать их на земле наших предков, они бы посмотрели на меня с укором: — Не шутите так зло, друг наш, призрачные надежды ранят больно...

Иногда среди приезжих я узнавал юного студента или девочку пионерского возраста, с которыми пел и танцевал в Москве, на улице перед главной синагогой в праздник Симхат Торы. Однажды сапожник из Киева, увидев меня здесь, расплакался. А в другой раз профессор из Ленинграда обнимал меня так жарко, будто я был его братом, которого он когда-то потерял и вот теперь обрел; в некотором роде я и вправду брат ему.

Я люблю бывать в Лоде, когда туда прибывают русские евреи. Они как то по-особому, по-своему спускаются на эту землю. Сходят с трапа и стоят все вместе, не решаясь двинуться дальше без специального сигнала или приказа. Стоят, как пригвожденные, и смотрят в синее небо, отороченное облаками, прислушиваются к глухому гулу, доносящемуся со стороны административных зданий, и кажется, что конца этому стоянию не будет. А они все стоят, смотрят вокруг, как бы ища подтверждения тому, что это и впрямь не сон, а реальная жизнь, и они — ее часть. Ни тебе сцен радости, ни излияний... — пока нет. Может быть, через час, когда первая пара сольется в первых объятиях, или когда отец с сыном, дядя и племянник, бывшие солагерники и однополчане найдут друг друга. Пока что эти две группы стоят отдельно, каждая сама по себе. Вновь прибывшие всеми силами сдерживают себя, не давая выхода огромному внутреннему волнению и на-



пряжению. Они ничего не выкрикивают, никого не окликают — пока. Они хранят молчание до того момента, пока из глаз их не прольется первая слеза, а из уст не вырвется первое благословение. Они боятся, страшатся торопить события, поверить в то, что видят своими глазами. И кажется, что они цепляются за свой страх, он все еще связывает их с прошлым, но теперь уже в последний раз, теперь они смогут избавиться от него навсегда.

И вот одна долговязая фигура отделяется от толпы вновьприбывших. Вырвавшийся вопль грохочет, усиленный общей взволнованностью: "Яааков! Яаааков!" И вот уже нет ничего, кроме этой бегущей тени, этого крика, который врезается в память. И память о нем, и сам этот день будут отныне зваться Яковом, будут взывать к Якову отныне и навсегда.

Яков, молодой офицер, весь дрожит: он рвется кинуться навстречу отцу, но ноги не слушаются его. Словно выросший в землю, он стоит, выжидая, когда время промчится, годы раздвинутся, вернув его к памяти о том упрямом школьнике, каким он был тогда, когда он будет в состоянии сдержать слезы, ручьями стекающие по его щекам.

И как бы в ответ на некий мистический зов обе группы в одно мгновение распадаются, чтобы тут же сформировать новые, десятки, сотни раз меняющие свой состав. Люди что-то говорят друг другу, целуются, смеются, плачут; они по нескольку раз говорят одно и то же, передают одни и те же вести,жимают те же руки, гладят знакомые и незнакомые лица. Они говорят что попало и кому попало. Ведь это праздник, и какой еще праздник: "Когда вы выехали из Риги? — Позавчера, нет, тысячу лет назад! — Я из Ташкента. — А я из Тбилиси. — А как Лейбиш Гольдман, что у него нового? — Лейбиш все еще ждет. — А Мендель Поруш? — Ждет. — А Срулик Мермельштейн? — Ждет. — Неужели они когда-нибудь приедут? — О да, они приедут, все приедут".

Чуть поодаль стоят двое юношей, братья. Они стоят молча, глядя друг на друга. Они одни, без семей, ни один не осмеливается первым открыть объятия. Все стоят и стоят, лицом к лицу, впившись друг в друга глазами с неослабевающей болезненной напряженностью.

— Не спрашивайте меня ни о чем! — кричит приземистая женщина. — И мне ничего не говорите, прошу вас; сначала дайте мне выплакаться — эти слезы давно ждут своего часа.

А там — мужчина-гигант подбрасывает вверх и кружит над головой тоненькую юную шатенку, приговаривая: "Так это ты и есть Пнина? Маленькая красавица, улыбавшаяся мне с фотографии, так это ты? И мой сын — твой отец?" Пьяный от радости и гордости, этот дедушка танцует, вспоминает. И нет у него иных желаний, кроме этого — только бы ему позволили танцевать так весь этот день и всю ночь, и завтра тоже, и так до конца дней.

Отдельно от всех стоит молодой человек, забытый на взлетной полосе. Его никто не встречает и никто не заговаривает с ним. Я обращаюсь к нему по-русски и спрашиваю, могу ли быть ему полезным. Он не отвечает. Слишком волнуется, это понятно. Я протягиваю ему руку, он пожимает ее. Я повторяю свое предложение помочь; он продолжает молчать. Неважно, ответит позднее.

Ответственный за встречу вновь прибывших вводит группу в большую комнату со столами, покрытыми белыми скатертями и цветами, множеством цветов. Официантки приносят апельсиновый сок, фрукты, печенье. "У нас имеется кое-что получше!" — кричит мужчина, размахивая бутылкой водки. Наполняют стаканы и чокаются. Один из мужчин произносит тост: "Я просто хотел вам сказать, что..." Слова путаются и застревают у него в горле. Он начинает сначала: "Мне хочется сказать..." Ему снова не хватает голоса. Он откашливается, делает глубокий вздох: "Я, правда, хочу сказать вам, что..." Лицо его искажается, он с отчаянием оглядывает окружающих, как бы взывая о помощи. И опускается, сотрясаемый жестоким рыданием, исторгнутым из глубины веков: "Я не знаю, уже не знаю, что и сказать вам... так много всего, так много..." Чтобы не выдать своих чувств, люди опускают глаза. "К черту речи! — восклицает кто-то. — Давайте просто выпьем, это стоит больше, чем все речи и комментарии вместе взятые, разве не так, друзья?" Все поднимают бокалы, Друзья и незнакомые пьют вместе: *Л'хаим* — за жизнь, за будущее, за мир. Невероятно — чего не сделает стакан водки.

Я замечаю, что молчаливый молодой человек стоит в другом конце комнаты. Он не стал пить и есть вместе с остальными. Он высокий, ладный, с правильными чертами лица и черными волосами; глаза смотрят угрюмо, губы сжаты. Все в нем наводит на мысль о пережитых страданиях. Я решаю выяснить, в чем дело. Кто он? Чиновник пробегает глазами его документы и говорит мне: "Гриша Коссовер, его зовут Гриша Коссовер. Особый случай. Он нем. Большой. Ну вы понимаете, что я имею в виду... Откуда он? Откуда-то с Украины или из Белоруссии. Красноград, да, верно, именно из Краснограда..."

Я торопливо подхожу к парню. Я знаю его город, говорю я ему. Нет, я никогда не был там, но я знаю поэта, который когда-то жил там — печального, щедрого, мрачного поэта, к сожалению, малоизвестного — по правде сказать, совсем неизвестного. Я, смущаясь, говорю о своей страсти к поэзии и нечестивым молитвам этого еврейского поэта-менестреля, которого Сталин в порыве ненависти, в приступе безумия приказал убить вместе с другими еврейскими писателями, поэтами и художниками того времени. Я говорю и говорю, не замечая, как на губах у него заиграла улыбка радости, глаза засветились узнаванием; я все говорю и говорю, пока наконец меня не осенило: какой же я дурак! Как же я мог не понять сразу! Гриша Коссовер, этот

одиноким немой иммигрант из Краснограда, он же... да... он сын моего поэта, сын Палтиеля Коссовера. Но как я мог догадаться? Я даже не знал, был ли поэт женат. В висках у меня стучит. Мне хочется схватить мальчика в объятия и нести его победно на плечах. Мне хочется кричать и я кричу: — Слушайте, все слушайте! Чудеса существуют, клянусь вам! Люди вокруг ничего не понимают и не проявляют интереса. Я огорчаюсь: — Так вы ничего не знаете? Вы не знаете, кто сейчас приехал? Сын Палтиеля Коссовера! Да, да, сын поэта. Вы его не знаете? Нет, они не знают такого поэта, они ничего не знают, они ничего не читали. Толпа невежественных варваров.

— Идем, — говорю я Грише, — пойдём со мной.

Нет, он не поедет в гостиницу вместе с другими, это решено. Он будет жить у меня. У меня большая квартира, у него будет своя комната. Я быстро провожу его через все контрольные пункты: иммиграции, полиции, таможни. Я говорю за него, все объясняю, беру его багаж, — и мы на улице. Вечер. Моя машина — вот она. Дорога нам открыта. Мы мчимся в молчании, влекомые вперед холмами и небом Иерусалима.

Я думаю о Палтиеле Коссовере, чьи стихи я открыл для себя совсем случайно.

Арестованный через несколько недель после того, как взяли более известных московских писателей, он был расстрелян в то же время, что и они, в подвалах Красноградского НКВД. Весть о его гибели медленно и осторожно прокладывала себе дорогу через Советский Союз, пока наконец не достигла свободного мира. Она не вызвала ни гнева, ни ужаса, поскольку творчество его здесь было неизвестно. Менее знаменитый, чем Довид Бергельсон, менее одаренный, чем Перец Маркиш, он нашел всего несколько читателей, и все они знали друг друга.

Был ли он "великим" поэтом? Признаться, нет. Ему не хватало кругозора и проницательности, а также честолюбия и везения. Но как знать? Если бы он жил дольше... Он успел только опубликовать свое сочинение "Я видел во сне своего отца". Это очень скромная вещь: воспоминания о детстве и войне, притчи, стихи и ночные кошмары. Голос его тих, как шепот, и все-таки его проза светится неким мягким внутренним светом. Нас немного, кому по душе его строгая сдержанность, его ностальгия, его скорбность. Согнанный когда-то с родной земли, он так до конца и остался беженцем. Его жизнь, как и его смерть — выброшенный черновик.

На наши вечера в память о нем приходили очень немногие. Но хотя кружок наш очень мал, энтузиазм его велик. Мы сумели перевести восемь его стихотворений на французский, пять на датский и два на испанский. Мы неутомимы. В своих лекциях я продолжаю говорить о его творчестве и возвращаюсь к нему при каждом удобном случае.

Для меня нет большего удовольствия, чем видеть, как кто-нибудь из моих слушателей становится почитателем Коссовера.

И вот теперь жизнь поставила передо мной задачу в тысячу раз более трудную: сделать так, чтобы его немой сын заговорил. Но я справляюсь с ней легко. Правду сказать, моей заслуги здесь и вовсе нет. Она целиком принадлежит его отцу.

Едва освоившись у меня, Гриша вытаскивает из кармана книгу. Ни говоря ни слова, я иду в свою комнату и возвращаюсь с моим собственным экземпляром "Я видел во сне своего отца". Да, это то же издание. Потрясенный, Гриша берет книгу в руки, рассматривает переплет, прочитывает одно-два примечания и возвращает мне. Думается, он поражен не меньше меня.

— Долгое время я считал, что являюсь обладателем единственного сохранившегося экземпляра. — говорю я ему. — Как и ты, разумеется.

Тогда Гриша вынимает ручку и пишет несколько слов в моем блокноте : "Есть еще третий экземпляр. Он принадлежит некоему Виктору Зупаневу, ночному сторожу в Краснограде".

Из моего окна я показываю ему Иерусалим. Я вызываю к жизни его прошлое и говорю о страстном чувстве, которое привязывает меня к этому городу, где я знаю каждый камень и каждое облако. Я даю ему кое-какие практические советы на завтрашний день и на ближайшие недели: куда пойти, где, когда и что покупать. Я рассказываю ему о наших соседях: государственных служащих, недавних "олим" — иммигрантах, солдатах. И о вдове погибшего на фронте солдата, которая живет напротив, на первом этаже.

— Гриша, ты устал, иди спать.

Но он отрицательно качает головой. Эту ночь он хочет бодрствовать.

— Один?

Да, один. Но тут же поправляет себя: нет, не совсем один.

— Не понимаю.

Тогда он делает другое движение рукой, означающее, что он хотел бы написать кое-что.

— Ты писатель? Как отец?

Нет, не как отец. Вместо отца.

Э. В.

## ГРИША, СЫН МОЙ!

Я оторвался от своего Завещания, чтобы написать тебе это письмо.

Когда ты прочтешь его, ты будешь достаточно взрослым, чтобы понять и письмо, и меня. Но придется ли тебе прочесть его? Дойдет ли оно до тебя? Боюсь, что нет. Как и все написанное заключенными, оно сгниет в секретных архивах. И все-таки... что-то вселяет в меня веру, что Завет никогда не пропадает даром. Даже если никто никогда не прочтет его, суть его дойдет до адресата. Призыв умирающего будет услышан, если не сегодня, так завтра. Все наши деяния записаны в великой Книге Творения: именно в этом и состоит благородная традиция Иудаизма, и я вверяю, передаю ее тебе.

Я пишу потому, что скоро умру. Когда? Этого я не знаю. Через месяц, а может, через шесть. Возможно, как только закончу это Завещание? У меня нет ответа на этот вопрос.

Сейчас ночь, но я не знаю, где тьма, внутри меня или снаружи. Свет голых лампочки слепит мне глаза. Я пользуюсь определенными привилегиями: мне позволено писать, сколько и когда я захочу. А главное, что захочу. Я свободный человек.

Я пытаюсь представить, каким ты станешь через пять или десять лет. Каким человеком ты станешь, когда тебе будет столько, сколько мне сейчас? Что станет тебе известно о тех допросах и пытках, какие выпали на долю твоего отца?

Я вижу тебя, мой сын, как я вижу своего отца. Вас обоих я вижу во сне, и этот сон так реален. Мой голос взывает к тебе и к нему, хотя бы для одного только, чтобы возвестить миру о том, как он уродлив, или только затем, чтобы нам всем вместе возопить о помощи, чтобы вместе оплакать смерть надежды и воспеть смерть Смерти.

Я твой отец, Гриша. Мой долг наставить тебя и направить. Но откуда мне знать, какие советы я должен дать тебе? Я так мало преуспел в жизни, что едва ли смею присвоить себе право руководить твоей жизнью. Несмотря на весь мой долгий опыт общения с людьми, я не знаю, как спасти или как пробудить их; я даже не уверен в том, что они хотят спасения или пробуждения. Вопреки всему, что я смог понять в жизни — а я постиг очень многое — я не знаю ответа на самые главные, основополагающие вопросы бытия. В борьбе с жизнью или со своим ближним у человека нет ни малейшего шанса выжить. У него есть только одно прибежище — вера. Бог. Я бы с радостью принял Его как некий источник, из которого можно почерпнуть ответы на вопросы, ко-

торые ставит жизнь. Но ведь Он требует безоговорочного приятия, а это за пределами моих возможностей. И все же. Мой отец и отец моего отца верили в Бога. Я завидую им. Я говорю тебе об этом, чтобы ты знал: я завидую чистоте их веры, я, который никогда никому и ничему не завидовал.

Может быть, тебе придется прочесть мои стихи, они — своего рода духовная биография. Нет, это слишком уж претенциозно. Поэтическая биография? И это не то. Это песни — просто песни; их я слагал для моего отца, который являлся мне во сне. Среди самых последних моих песен есть одна, которую я хотел бы пересмотреть в своем сознании. Ее название наивно и смешно: "Жизнь — это поэма". Нет, жизнь вовсе не поэма. Я не знаю, что такое жизнь, и умру, так и не узнав этого.

А вот мой отец, чье имя ты носишь, он знал. Но он мертв. Вот почему я и могу сказать тебе только — помни — он знал то, чего сын его не знает.

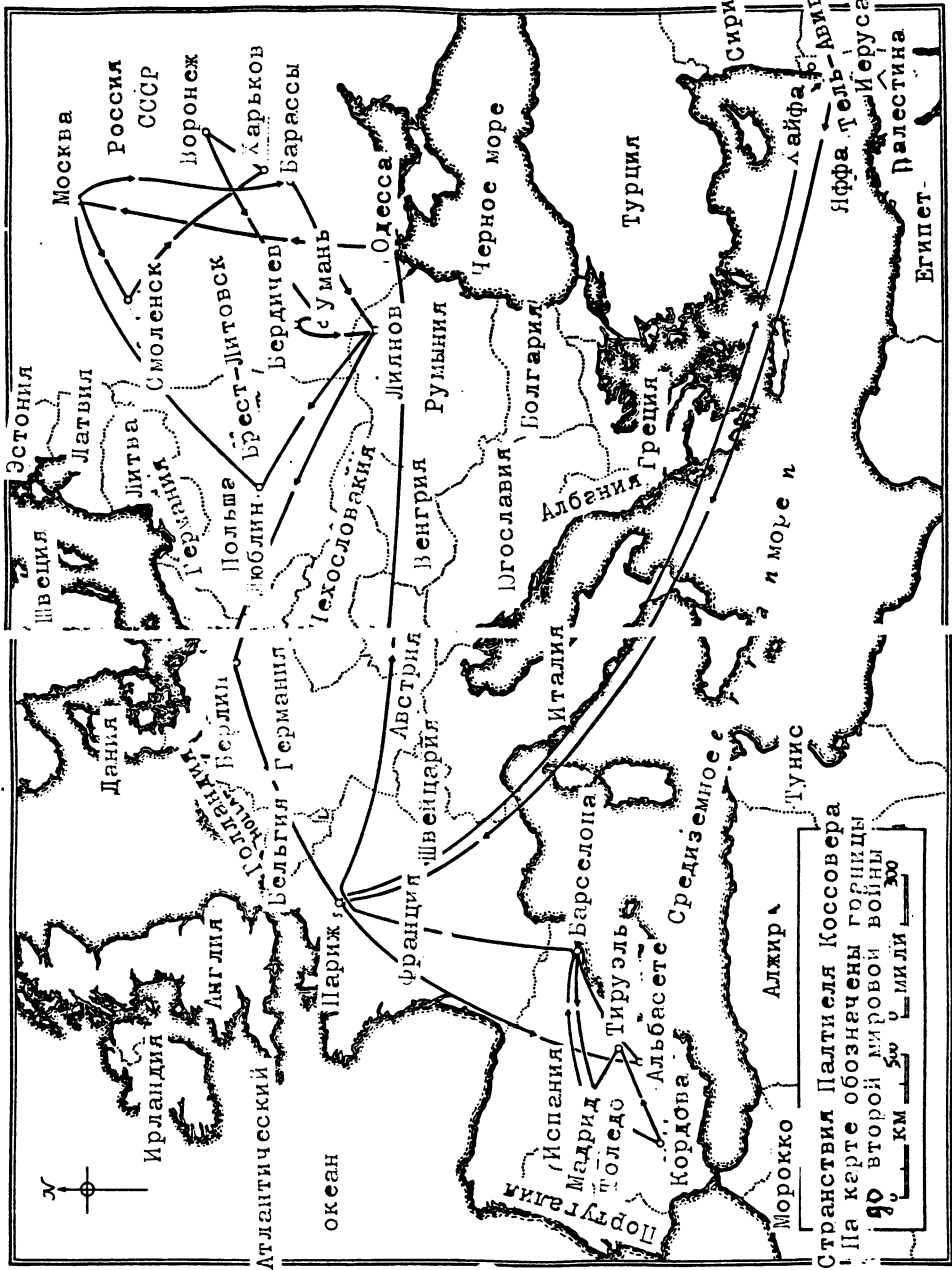
Но я пытался. Если бы мне было отпущено время, я рассказал бы тебе как. Но позволь мне по крайней мере сказать тебе хотя бы это: не следуй по пути, который избрал я, он не ведет к истине. Истина для еврея в том, чтобы жить среди своих соплеменников. Свяжи судьбу свою с судьбой своего народа, иначе ты неизбежно окажешься в тупике.

Мне не стыдно за то, что я поверил в революцию. Она действительно несла надежду голодным преследуемым массам. Но увидев, во что она вылилась, я утратил веру в нее. Великие перевороты в истории, драматические попытки ее ускорить... Взвесив все вместе взятое, я теперь предпочитаю мистиков политикам.

Мне предстоит умереть в течение месяца или года, но я хотел бы жить. Жить с тобой и для тебя. Хотел бы свести тебя с людьми, которые сейчас, как и я, сидят в своих камерах и подобно мне ждут своей участи.

Я должен сказать тебе, что в своем Завещании я признал себя виновным. Да, виновным. Но не в том, на чем, как я понимаю, строится судебное обвинение. Напротив: я виноват в том, что не жил жизнью своего отца. В этом, сын мой, и состоит ирония: я жил как коммунист, а умираю как еврей. Над нами пронеслась буря, и люди перестали быть тем, чем были прежде. Я вырос, созрел. Я шел лесом и заблудился. Слишком поздно возвращаться назад. Так устроена жизнь — идти назад в ней невозможно.

*Твой отец*



**Странствия Палтиеля Коссовера**

На карте обозначены границы до Второй мировой войны

НА ХОЛМЫ ИЕРУСАЛИМА СУМЕРКИ ПАДАЮТ ВНЕЗАПНО. От медного солнца остается лишь щепотка лучей, полыхающих на оконных стеклах. В этот час Гриша любит стоять у окна и смотреть на город, мчащийся в объятьях ночи. Но не сегодня: он глубоко погружен в чтение (вновь и вновь) Завещания своего отца. Перелистывая страницы, он слышит хриплый прерывистый, ни на чей другой не похожий голос Виктора Зупанева — человека, который не умел смеяться, — того, кто поведал ему о судьбе еврейского поэта, убитого далеко отсюда.

И вдруг он делает тщетное усилие представить себе лицо Зупанева. В памяти его проносится множество лиц, тонких и грубых, спокойных и нервных, печальных и счастливых — но ни одно из них не выглядит похожим на лицо старого ночного сторожа из Краснограда. Однако он все еще слышит его голос: “И тебе не совестно, Гриша? Разве не я вел тебя по жизни, не я был твоим защитником в ней? Разве ты уехал бы в Иерусалим, если бы я не послал тебя туда? Как же ты мог забыть меня?” — “Завтра, — говорил себе Гриша. — Завтра я буду знать. Завтра она приезжает. И первое, о чем я спрошу ее: ‘Видела ли ты Зупанева? Опиши мне его’ “. И только после этого он спросит ее о своем отце: “Мама, ты любила его? Ты в самом деле любила его?” Завтра...

И Гриша снова погружается в чтение.

“...Я вдруг проснулся, задыхаясь. Бегство, сдавленные крики — все это было во сне. Маленькая девочка, которая вот-вот свалится с башни, или та же девочка вот-вот утонет. Ночной кошмар. Ребенком я привык повторять утреннюю молитву: “Благодарю тебя, о Господи, Творец всего живого, что вернул меня к жизни”. Почему вдруг я услышал эту молитву как далекое эхо? Я слушал стук моего сердца, как будто оно билось где-то снаружи, вне меня. Помимо воли я задерживал дыхание и весь превращался в слух. Тишина... наступала черная, зловещая тишина... Я никогда не думал, что тишина может двигаться. Неужели все это во сне? Взглядываю на окно — на улице еще темно, я дома, в своей постели. Справа от меня — детская кроватка. Гриша спит спокойным сном, я слышу его ровное, спокойное дыхание. Раиса беспокойно вертится во сне. Какие демоны осаждают ее? Может быть, разбудить ее и сказать: — Они идут, Раиса. Они уже у Козловских. Славный старик этот одорукий Козловский, такой жалкий с этой его глупой беспомощной улыбкой. Им он тоже улыбался, открывая двери? Нет, они не у него. Может быть, у доктора Мозляка? У этого загадочного че-



ловека, с которым я иногда встречаюсь на лестнице — меня при этом всякий раз в дрожь бросает. Неужели его черед?

Все это длится не более секунды — прошла лишь секунда с момента моего пробуждения, — но стальной кулак уже стучит мне в виски. Они совсем близко! Раиса, береги маленького. Не дай ему забыть меня, обещай, что он не забудет меня. Я принимаюсь будить Раису, легонько трясу ее, но тут же окаменеваю. Стучат в нашу дверь. Нелепо цепляться за пенистые волны. Слушай, Палтиель. Стучат с перерывами, вежливо, настойчиво. Один, два, три, четыре. Пауза. Один, два, три, четыре. Раиса слегка толкает меня в бок локтем. Стук возобновляется. Я в панике: будить ли малыша? Поговорить с ним, обнять его в последний раз? Я делаю глубокий вздох — без сантиментов, Палтиель! В левой руке ближе к груди появляется боль. Забавно, если сейчас у меня начнется сердечный приступ! Один, два, три, четыре. Они теряют терпение. Безумные мысли вспыхивают в моем сознании. А что если не вставать? Если не открывать им дверь? Что если прикинуться больным или мертвым? А вдруг все это только снится мне? Маленькая белокурая девочка сейчас упадет с вершины башни и та же маленькая белокурая девочка сейчас утонет; она зовет, я зову на помощь, но люди спят, никто не слышит, никто не видит; люди не хотят пробуждаться...

Нет, все кончено. Пришел мой черед. Раиса сжимает мне руку. И я тихо отвечаю ей, да это они, Раиса. Я хотел бы видеть выражение ее лица, но ночь, темно. Не имеет значения. Я смотрю на нее, не видя, я прикасаюсь к ней. Она качает головой, волосы ее падают мне на плечо, я ощущаю тепло. "Все кончено, — шепчу я ей. — Ты позаботишься о нашем сыне?" Она ничего не отвечает, но — странно — я слышу, понимаю ее ответ. И тут я осознаю, что страх оставил меня. Ни тени паники больше. Я уже не должен спасать маленькую девочку с золотыми волосами, она уже мертва. Душевная мука, терзавшая меня долгие месяцы, отпустила теперь. Я чувствую себя непривычно успокоенным.

И свободным".

САМОЛЕТ ИЗ ВЕНЫ ДОЛЖЕН ПРИБЫТЬ ЗАВТРА, поздним утром. Гриша в своей комнате в Иерусалиме. Ему осталась только одна ночь, чтобы подготовиться к этой встрече. Он принял решение. Он поедет в Лод встречать свою мать и привезет ее сюда, домой. Она будет спать в комнате, а он на раскладушке в передней. Неделю или две. Столько, сколько ей понадобится, чтобы прочесть Завещание ее мужа. После этого она переедет в центр Министерства абсорбции. Может быть, к этому времени она тоже почувствует себя успокоенной.

Прошел год, как Гриша покинул Красноград. Он помнит бедное потерянное лицо матери. "Ты уезжаешь из-за меня?" Не получив ответа, она снова спрашивает, уже тише: "Из-за меня? Скажи мне". При-

стыженно закрывает рот рукой: ей хорошо известно, что сын ее не может произнести свой ответ. Но Гриша научился говорить движениями губ, рук, плеч или просто глазами, и его понимают. "Нет, не только из-за тебя", — отвечает он матери. Успокоенная его ответом, она спрашивает снова: "Из-за доктора?" — "Я уезжаю ради своего отца".

Но это было правдой только отчасти. Несомненно, мать его имела к этому отношение. "Уже завтра ты прочтешь заключительную часть истории ареста, — говорит про себя Гриша, — и я погляжу на тебя, как никогда не смотрел прежде и ты заново переживешь смерть моего отца".

Ну, а Раиса? Что она скажет завтра? "Гриша, сын мой, не суди меня, молю тебя, не будь судьей своей матери. Постарайся понять". Вот что она скажет, как говорила уже много раз, ища себе оправдание, и всякий раз безуспешно. "Попробуй понять, Гриша. Попытайся представить себе эти прошлые годы, террор, одиночество. В особенности одиночество..."

Окутанный ночью Иерусалим затаил дыхание.

*— Я ни разу в своей жизни не засмеялся, — говорил старый Виктор Зупанев, как будто это что-то объясняло. — Ты можешь это понять? Даже когда я шутил, когда забавлялся, я делал это не от души: и тогда я не смеялся. На тебя это, видимо, впечатления не производит. И все же... Многих ты знаешь, кто не умел бы смеяться? Ну, говори. "Ну и что?" — спросишь ты. Можно обойтись и без смеха. Да, можно. Можно делать все что угодно: любить, есть, спать, бегать за юбками, бегать по канату, поджигать тучи, рубить деревья, показывать нос всему миру, можно даже быть счастливым — и все же не уметь смеяться. Правда, это так. Но что касается меня, Гриша, то я хотел смеяться, хоть однажды весело посмеяться, рычать от смеха, лопнуть от смеха. Но никогда не мог. Я смотрел на себя в зеркало и тут же впадал в депрессию. Вот почему в моей комнате ты не найдешь ни единого зеркала. А потом в мою жизнь ворвался поэт, так не похожий на всех остальных, безумный еврей, все изменил в моей жизни, рассказав мне о своей собственной. А потом...*

СОСТАВЛЯЯ СВОЕ "ЗАВЕЩАНИЕ", Палтиель Коссовер прежде всего стремился к точности. Каждое слово содержит скрытый смысл; каждая фраза суммирует целую цепь пережитого. Мог ли он представить себе, что написанное им переживет его? Что сказанное им будет прочитано и перечитано много раз, что сын его будет вновь и вновь думать обо всем этом и анализировать прочитанное? Как и все заключенные, все осужденные, этот певец еврейских страданий, этот поэт мертвых надежд, знал, что всех их ждет: в мрачных одиночных каме-

рах тайной полиции люди писали только для следователей, мучителей, судей. В ожидании смерти они писали только, чтобы умереть. Верил ли Палтиель Коссовер в невозможное, несмотря ни на что? Где-то в своих писаниях он намекает на это. На странице... на какой же странице? Гриша начинает листать рукопись. Вот, на странице 43, внизу:

“...ТЫ СПРАШИВАЕШЬ МЕНЯ, ПОЧЕМУ Я ПИШУ. И для кого. Когда-то на эти вопросы ответить было легко. В то время я ездил по колхозам и коммунаам, и эти вопросы задавались мне после каждой моей лекции. Советские люди хотели понять, и еврейский поэт пытался найти для них объяснения. Я пишу, чтобы преодолеть зло и отпраздновать победу над ним; я пишу, чтобы оправдать те тридцать или сорок веков истории, которые воплощены во мне. Высокопарно? Претенциозно? Ну, даже если так? Мои слова выражают то, что я чувствую. А на второй вопрос — для кого я пишу — я уже ответил: я пишу для тебя, для вас, живущих сегодня, для моих современников, моих союзников, спутников, братьев. Я хотел бы держать твою руку в своей, видеть, как ты улыбаешься, слушая мою историю, которая также и твоя...

Сегодня у меня уже нет ответов на эти вопросы. Я пишу, но не знаю для кого: для тех, кто мертв, для тех, кто ушел из жизни и ждет меня? Я пишу потому, что не могу иначе. Как в той древней притче: царь Давид любил петь, и пока он пел, ангел смерти не мог приблизиться к нему. Пока он пел свои псалмы, он был бессмертен. Вот и я. Пока я пишу, пока чернила ложатся на бумагу, смерть будет бессильна против меня: вы будете держать меня здесь, в этих ужасных застенках. А когда я завершу свою повесть последним воспоминанием, явятся ваши эмиссары, чтобы схватить меня и вести в подземелье. Я знаю это наперед, я живу без иллюзий. Вот почему если не для вас, то из-за вас я продолжаю писать. И поскольку у меня есть право говорить все — единственное право, которое мне дано, — то позволю себе добавить: слова эти, которые, как вы полагаете, предстоит прочесть только вам одним, предназначены, кроме вас, еще и другим. Вы можете уничтожить мои дневники; не сомневаюсь, что вы сожжете их, но мой внутренний голос говорит мне, что слова обреченного человека обретают свою самостоятельную жизнь, свою собственную тайну. Наверное, слово “тайна” вызывает у вас усмешку? Тем не менее, я начинаю верить в это. Слова, которые вы удушаете, истребляете в зародыше, создают некую изначальную тишину, непроницаемое молчание. И такое молчание, как это, вам никогда не уничтожить...

**ГРИША ЛИСТАЕТ СТРАНИЦЫ.** Поймет ли мать этот почерк? Как жаль, что я нем, — думает он про себя. Я хотел бы говорить от лица моего отца, рассказать о его сломанной жизни, о сокрытой от всех смерти. Бедный отец! Твой сын, твой наследник может производить только нечленораздельные звуки, твой единственный сын — немой.

Читая, он шевелит губами, как бы разговаривая сам с собой шепотом. Время от времени он отрывается от рукописи, проводит рукой по взъерошенным волосам; мысли его блуждают где-то далеко, уносятся вглубь лет, за даль границ: печальное дитя, вызывающее тревогу у матери, несчастный мальчик, униженный чужим человеком, потерянный сирота, мятежный бунтарствующий подросток, прикипевший душой к безумному старику, этому ночному сторожу, настолько безымянному, что почти безликому. Мать, которую он любит и уже не любит: “Постарайся понять” — говорит она ему. Гриша трет глаза, кажется, что так он хочет прогнать эти воспоминания, они несут боль; и так всегда, думая о матери, он начинает тереть глаза. А было время, когда он не желал расставаться с ней ни на час, даже во сне; он любил ее, только ее одну. Было время, когда они были одни во всем мире. Одни, — думает Гриша, и сердце его пронизывает острая боль.

Он встает и идет к открытому окну. Свежий воздух приносит облегчение. Ночь в Иерусалиме живет своей жизнью; она бродит по улицам, провожает прохожих, прячется в подворотнях. В Иерусалиме ночь служит гонцом.

Завтра, думает Гриша, самолет прибывает завтра утром. В пятницу, в канун Йом-Киппура.

Кто поедет с ним в аэропорт? Кто-то ведь должен вести за него разговор. Его друг, писатель, в чьем доме он живет и который всех знает. Многие годы он ведет борьбу за русских евреев. Многие обязаны ему своей свободой. Это он сообщил Грише: “Твоя мать уже в Вене, через три дня она будет здесь”. Гриша почувствовал дурноту. Его друг обнял его за плечи. “Ты ведь любишь ее. Ты уже не надеялся увидеть ее снова. Ты взволнован. Я понимаю, я и сам волнуюсь. Семья — единственные оставшиеся в живых из семьи Палтиеля Коссовера — воссоединяются в Израиле, ведь это что-нибудь да значит для меня...” Бедняга, думает Гриша, он воображает, что знает и понимает все.

А Катя? Она, конечно, тоже поедет с ним. Она, разумеется, в нужный момент оставит их одних. Но в то же время может и сказать лишнее, чего лучше бы не говорить. Нет, он поедет один, решает Гриша. Полиция, таможня, с этим моя мать может справиться и сама, она не из робкого десятка. Бывший офицер Красной Армии знает, как постоять за себя.

Завтра. Момент истины, страшный суд, Судный День, канун Йом-

Киппура. Какое странное совпадение. Гриша затаивает дыхание, напряженно ловит тысячу и один звук улицы и соседних зданий. По радио передают последние известия: комментарии и комментарии к комментариям. Израильтяне любят комментировать. Каждый имеет свое особое мнение по каждому вопросу: о русских, о китайцах, о правых и левых, об абортах, психоанализе, о мужчинах, женщинах и о тех, кто представляет нечто среднее между ними. И о предстоящих выборах. И о Судном Дне: нужно ли поститься или идти на пляж? Речи политиков, религиозные поучения. Господь требует, Господь призывает: какое множество Его представителей, и все так уверены в себе! Благодарения Господу за истекший год, молитвы, обращенные к Нему о годе грядущем. Без войны — прежде всего, чтобы без войны.

Десять вечера, а может быть, и больше, но улицы по-прежнему кипят движением. Раввин и его ученики в зимних кафтанах, несмотря на жару, направляются к Стене Плача молить Бога даровать им силы и мудрость для того, чтобы еще сильнее славить Его завтра вечером. Рабочий так спешит домой, что у него перехватило дыхание от быстрой ходьбы. Турист просит кого-то перевести ему надпись на здании иешивы: "Этот дом не будет продан или сдан в аренду до прихода Мессии". Как по душе пришлось бы Палтиелю это успокаивающее заверение!

Дети что-то громко кричат друг другу. Их родители, "олим" из Одессы, обмениваются жалобами и советами: "Вы хотите купить машину без пошрины? Все, что вам нужно..."

Катя живет через дорогу, на первом этаже трехэтажного дома. Пойти к ней, что ли? Катя, она совсем еще девочка. Если бы женитьба была возможна для него, он постарался бы жениться именно на ней.

Задорная, занятая, ласковая, Катя становится по-своему немой, когда речь заходит о ее муже, погибшем на Синае или на Голанских Высотах. Она никогда не говорит о нем. Обреченная войной на вдовство, она отказывается быть узницей погибшего. Не то, что я, думает Гриша. Я живу только памятью о своем отце, моя память и он неразлучны; я живу только как его тень. Ему я отдаю все свободное время, все чувства, силы и волю. Я только тень тени, с утренней зарей мы оба исчезнем.

Нет, он не пойдет к Кате. Не сегодня. Он знает, чем кончаются их встречи, и не хочет терять рассудок. Не сегодня.

Со дня приезда в Иерусалим в 1972 году, с тех пор как поселился в квартире, предоставленной ему почитателем его отца, Гриша вел уединенную жизнь и общался только с Катей. Он проводил свои дни, записывая, переписывая и уча стихи и Завещание своего отца. А вечера проводил с Катей.

Отправившись к ней впервые, он колебался, позвонить ли в дверь или постучать в окно. И выбрал окно. Она открыла ему, не выказав ни малейшего удивления: "Кто вы? Что вам нужно?"

Она показалась Грише привлекательной. Несколько полновата, но привлекательна. Как объяснить ей, что он нем?

— Ну ладно, входите, — сказала молодая женщина, внимательно оглядев его. — Я позволяю вам войти потому, что вы постучали в окно. Я не люблю дверей, люди звонят в дверь, чтобы сообщить дурную весть.

Гриша рассматривал комнату, как бы любясь ее чистотой. Под зеркалом стояло несколько взятых в рамку фотографий молодого офицера в различных позах: он отдает честь министру обороны, стоит в окружении друзей на пляже — держит за руки молодую женщину, немного полноватую, но привлекательную.

— Меня зовут Катя, а вас?

Гриша не отвечает. Он смотрит на нее. Много раз, разглядывая ее из своего окна, он, с одной стороны, тянулся к ней, с другой — пугался. Он боялся равно как ее отвращения, так и ее жалости.

— Вы молчите? Почему? У вас что, языка нет?

Гриша кивнул — да, на самом деле он без языка. Она отпрянула от него.

— Простите меня.

Гриша снова ответил покачиванием головы, на сей раз отрицательным — нет нужды просить прощения.

— Как это случилось? Когда? На войне?

Нет, не на войне.

— А что же? Вы немые от рождения?

Нет, не от рождения.

— Тогда я не понимаю.

Он сделал жест, который должен был означать: вы и не сможете понять. Во всяком случае, он не собирался рассказывать ей историю своей жизни. Или говорить с ней о том, чем занимался его отец, или о своей матери. И уж наверняка не станет верить ей тайну жизни старого надзирателя за призраками по имени Виктор Зупанев. Даже не будь он немым, он хранил бы молчание.

Вначале он одергивал себя, не позволял себе прикоснуться к ней. У него было такое чувство, что они не одни; не станешь же ты, Гриша, заниматься любовью в присутствии покойного.

Но вскоре он сдал позиции. Он не смог противостоять остроте своего желания. Забывая о матери и об отце, о погибшем офицере, он подчинялся власти своей плоти. Он жаждал обладать этой молодой женщиной и однажды открыться ей во всем...

Но не сегодня.

Я пойду к ней завтра утром. Я попрошу ее отвезти меня в аэропорт. Лучше она, чем кто-нибудь другой. На обратном пути в машине уже будет две вдовы. Связывает ли их что-нибудь? Я знаю, почему там будет Катя; но моя мать? Зачем она приезжает? Что заставило ее уехать

из Краснограда? Как ей удалось отделаться от доктора Мозляка? Мысли Гриши начинают вертеться вокруг матери, ее любовника и их города с его недружелюбием. Города, где, при всем том, у него были гостеприимные тайные прибежища, известные только ему одному... Потом в своих думах он снова возвращался в Иерусалим, в город с четкими контурами, плотно окутанный легендами о нем и его царях, город, меняющий окраску, город, где слышатся голоса его сегодняшних обитателей и древних жителей. А поверх всего этого серые и белые облака, состоящие с самими небесами. А мой отец? Гриша вздрагивает. Мой покойный отец, желающий говорить со мной? А сам я? Меня нет.

— КТО ЭТО, МАМА?

Человек с печальной, тревожной улыбкой, человек, одновременно очень старый и очень юный, очень печальный и очень счастливый. Как тут разберешься? Фотография была истрепанная, запыленная. Грише было тогда, наверное, года три.

Он протянул матери книгу с фотографией.

— Где ты нашел это? Дай мне!

Она выхватила книгу из его рук и поспешно поставила ее на место, на самую верхнюю, недоступную полку, за грудой тарелок, стаканов и кастрюль. Гриша не понимал, почему мать так огорчилась — он же ничего не сделал! Найдя книгу на полу, он открыл ее так просто, без определенной цели, видимо, рассчитывая найти в ней смешных зверей на картинках, с которыми происходят забавные приключения. Но в ней была только одна единственная картинка — на обложке.

— Мама, этот человек — кто он?

— Ты не видишь, что я занята?

Но Гриша уже не смог забыть человека на картинке. Его руки, сложенные ладонями наружу... Казалось, что он что-то или кого-то ищет, а может быть, рассказывает сказку о диких животных, голодных детях, сказку о...

— Но кто же он, мама?

— Не мешай мне!

Гриша никогда прежде не видел свою мать в таком дурном настроении. Она всегда говорила с ним спокойно, объясняла ему, что ему следует или не следует делать или говорить. А теперь она отворачивалась от него, избегала его взгляда. Она мыла посуду, развешивала одежду, разбросанную вокруг, все время стараясь не встретиться с ним глазами.

— Что я сделал, мама? — спросил он, чувствуя себя виноватым.

— Ничего.

— Но ведь ты сердисься!

— Я не сержусь!

Грише хотелось плакать, а он всегда гордился тем, что никогда не плачет. Чтобы не заплакать, он пошире раскрывал глаза, стискивал зубы, сдерживал дыхание. Раиса взяла его на руки.

— Я не хочу плакать, — сказал Гриша, расплакавшись.

— Я знаю, знаю. Ты большой мальчик, а большие мальчики не плачут.

Он хотел было снова спросить ее о том же, но передумал; зачем сердить ее? Он любил свою мать и убеждал себя в том, что он счастливец — она ведь могла бы быть матерью другого маленького мальчика.

— Обещай мне, — шептала Раиса, — обещай мне никогда больше не трогать эту книгу. А если кто-нибудь спросит тебя о ней, отвечай, что никогда не видел ее прежде.

— Кто этот человек на картинке?

— Забудь о нем. Ты никогда не видел ни книги, ни картинки.

И тут растерянный Гриша, чувствуя, что его не поняли, снова начал всхлипывать. Он вдруг вообразил, что он подлетает к самой верхней полке, садится на нее — книга на коленях — и этот мужчина на картинке говорит ему:

— Гриша, мальчик мой, и тебе не стыдно так плакать?

— Он твой папа, — сказала Раиса.

И Гриша затих. Мой папа — не живой человек, как все другие мужчины, мой папа — это картинка. Но через минуту он поправил себя: мой папа — это книга. И долгие годы он хранил это открытие про себя как самую дорогую тайну.

Часто, оставшись один дома, он влезал на стол, а потом на буфет, откуда он на цыпочках мог дотянуться до запретной книги. В этот момент он ощущал присутствие своего отца, его тепло. Или сидя на полу, прислонившись к ножке кровати, готовый спрятать книгу по первому тревожному сигналу, он с бьющимся сердцем листал страницы, хотя еще не умел читать. В это время отец обращался к нему на языке, которого он не понимал. Но его это не беспокоило: он водил пальцами по строчкам, притрагивался к словам, и это делало его счастливым.

Однажды Раиса вернулась домой неожиданно. Он думал, что она начнет его бранить, но она сняла пальто и села на пол напротив него. Она казалась более обеспокоенной, чем обычно.

— Прости меня, я не хотел тебя сердить, — сказал Гриша, — но у Юры есть папа, у маленькой Наташи есть папа, у Вани есть папа, и у меня тоже есть папа. Я хочу любить его, смотреть на него, ласкать его...

Глаза Раисы наполнились слезами. "Когда-нибудь ты все поймешь".

— Ты обещаешь мне?

— Конечно, обещаю — когда-нибудь ты поймешь.

Она взяла книгу и, раскрыв ее на первой попавшейся странице, прочла напевно несколько стихов на идиш и перевела их:



Вот тебе  
Моя память  
И ее родник,  
Мой свет  
И тень его;  
А ты в ответ  
Дай мне свои.

— Еще, — попросил Гриша, ничего не поняв, но переживая небывалое возбуждение. — Еще, я хочу еще.

Ты вкусил запретный плод  
Раньше меня;  
Дыхание жизни коснулось Тебя  
Раньше, чем меня;  
Ты измерил вечность  
До меня.  
Но голодное дитя,  
Жаждающий путник,  
Испуганный старец,  
Все они зывают ко мне.  
И я горжусь этим.  
А Ты — Ты слишком далеко.

— Это "идиш", — объяснила Раиса. — Твой отец писал на идиш.

— А что это?

— Язык.

— Как русский?

— Нет, это еврейский язык. Он ни на какой другой не похож, он рассказывает о печалях и радостях, как никакой иной, это очень богатый язык очень бедного народа.

— Читай еще, — просит ее Гриша, и щеки его пылают.

Она снова начинает читать. Потом закрывает книгу и говорит ему:

— Запомни, твой отец — поэт.

— А что это значит?

— Это значит, что поэты живут вечно.

— Что это значит?

— Это значит, что... что твой отец был непохож на остальных людей; он жил, мечтал, страдал, любил — иначе. Для него жизнь была песней. Он думал, что с помощью слов можно достичь всего.

Гриша захлопал в ладоши.

— Я люблю, когда ты читаешь его стихи. Мне хочется открыть окно и закричать: идите сюда, идите и послушайте песни моего отца!

— Не смей, — прошептала Раиса. — Никогда не говори об этом.

— Почему?

— Потому, что это опасно.

— Для моего отца?

— Конечно нет. Твой отец умер.

— Умер? Мой отец? Как же это может быть, ведь он же поэт? Ты сказала, что поэты живут вечно.

— Да, это так.

— Так как же...

— Они умерли, но продолжают жить.

— Нет, мама. Мой отец не умер. Мой отец — это книга, а книги не умирают.

В глазах Раисы он увидел столько жалости к себе, что испытал потрясение.

— Не печалься, мама. Я люблю тебя так же, как и его. Так же, как и ты любишь его. Ты ведь любишь его, правда?

Раиса теперь смотрела отрешенно, и Гришей овладел страх.

— Что с тобой, мама?

— Ничего.

— Скажи мне, я хочу знать.

— Ты слишком мал. Слишком мал, чтобы понять.

Дрожь в ее голосе заставила Гришу хранить молчание. Он испытывал страх. Его комната уже не была его комнатой, его игрушки перестали быть его игрушками. Его разлучили с матерью, как раньше разлучили с отцом. Мир был полон воров, похитителей душ, которые убивают поэтов и уничтожают их книги. А в таком мире сироты обречены на одиночество.

## ЗАВЕЩАНИЕ ПАЛТИЕЛЯ КОССОВЕРА

### 1

С ВАШЕГО ПОЗВОЛЕНИЯ, гражданин следовательно, я хотел бы прежде, чем я начну — а начну я с конца, который, я знаю, близок — выразить Вам мою признательность.

Вы были так добры, что разрешили мне продолжать и здесь заниматься своим делом. Вы даже предложили мне тему: “Ваша жизнь”.

Поэтому спасибо за Вашу доброту, я рад воспользоваться привилегией, которую наша традиция предоставляет только праведникам. Им посылается весть о близости их конца, чтобы дать им возможность пережить свою смерть, а кроме того, привести в порядок свои дела. И свои мысли тоже. И свои воспоминания.

Я — праведник? Разумеется, я шучу. Но я нахожу, что это религиозное понятие удивительно к месту здесь: разве наши взаимоотношения, гражданин следовательно, не складывались с самого начала под знаком религии? Ведь Вы убеждали меня *раскаяться, признаться, очиститься, искупить вину, покаяться в грехе, заслужить прощение, стать достойным спасения*: все эти действия, по существу, религиозные акты. Священнослужитель или инквизитор, Вы служите партии, чьи символы носят божественный характер: великая и великодушная, всемогущая и милосердная, непогрешимая и всеведущая...

Если время мне позволит, гражданин следовательно, я вернусь еще к этому вопросу. Но вначале я хочу записать свое признание.

Вы тысячу раз допрашивали меня о преступлениях, в которых меня обвиняют, и тысячу раз я отвечал Вам, что ни одно из них не содержит ни малейшего смысла.

В знак моей глубокой признательности Вам, я имею честь довести сегодня до Вашего сведения, что я передумал: я признаю себя виновным. Однако не по всем статьям — не по тем, где замешаны другие люди. Только в тех преступлениях, которые для меня — а следовательно, и для Вас тоже — имеют символическое значение.

Я признаю себя виновным в том, что испытывал чувство, близкое к ненависти, к славному русскому народу, среди которого я родился и за который боролся.

Я признаю себя виновным в том, что взрастил в себе — несколько поздно, слишком поздно — повышенную, безграничную любовь к

моему собственному жестоковейному народу, который Вы и Ваш народ постоянно черните и подавляете.

Да, сегодня я порываю все связи с Вашим миром, который представляет и оберегает эта тюрьма; я обручаюсь с миром еврейским, я отдаю ему себя навечно и без остатка; да, я заявляю о своей солидарности с еврейским народом везде и всегда. Да, я — еврейский националист в историческом, культурном и этическом плане; я прежде всего и в первую очередь еврей и сожалею, что не сумел заявить об этом раньше и повсеместно.

А теперь факты.

Вы будете смеяться: мне бы хотелось написать обо всем этом в стихах. Но это потребует целой жизни...

Мое имя, имя и отчество — должен ли я записать их? Вам очень хорошо известно, кто я. Правда, в результате Ваших допросов человек приходит в такое состояние, что теряет представление о самом себе. А Вы, удастся ли Вам узнать что-либо, кроме имени человека, на таких допросах? Простите дерзость словотворца, гражданин следователь. Его судьба связала Вас с ним навечно, ведь когда-нибудь и Вы постареете и останетесь наедине со своими мыслями, как я теперь. И Вы спросите себя, кто Вы есть. И ответите себе: я тот, кого еврейский поэт видел перед смертью, я тот, чей образ Палтиель Гершонович Коссовер унес с собой в могилу.

Да, Палтиель Гершонович Коссовер, таково мое имя. Поэт по призванию, еврей по рождению и — простите меня — коммунист, или бывший коммунист, по убеждению. Я знаю: Вы содрогаетесь. Вы отрицаете мое право ссылаться на мои служебные звания. Я — враг народа, это Вы вдалбливали мне достаточно часто. Нельзя *стать* врагом народа; если ты враг, то всегда им был. Даже если ты и не подозревал об этом, не хотел этого, даже если всю свою жизнь ты боролся с врагами этого народа, все равно ты враг ему. Это как благодать, Божья милость для христиан — либо она тебе отпущена, либо — нет; с этим рождаются.

Переход прекрасен: я родился в этом самом городе в 1910 году, в этом славном городе Барассы, больше известном после революции как Красноград.

Мне жаль, что не могу быть более точным. Это произошло в конце мая или в начале июня. Знаю только, что появился на свет на второй день праздника Шавуот. Видите ли, мой отец, как и все евреи среднего сословия, был человеком глубоко религиозным и жил по еврейскому календарю, от одного праздника до другого, от одной Субботы до следующей. Неделя начиналась в воскресенье, год начинался на Рош Хашана, осенью.

Странное совпадение: мой дед, имя которого я ношу, умер в тот же день того же праздника, только на три года раньше. Я знаю о нем только, что он был владельцем лесопильного завода в соседней дерев-

не и был уважаем во всей округе. Бродяги-нищие произносили его имя как благословение; он давал им приют и кормил как почетных гостей, внушая им, что это они оказывают ему честь, принимая от него подаяния. В равной мере его почитали за эрудицию и набожность. Чтобы привлечь евреев в свою деревню, он построил в ней хедер, где учил Писанию и комментариям взрослых и детей. На его похороны съехались самые знаменитые раввины.

Подростком я наткнулся на его фотографию в одной из книг моего отца. На ней был изображен величавый хасид, высокий и сильный, с добрым и благородным лицом. Я спросил у матери, кто он.

— Твой дед, — ответила она, — Палтиель Коссовер. Гордись, что носишь его имя.

И я, глупец, обидел ее, возразив: “С какой стати?”

Наглость коммуниста во мне пошла еще дальше:

— Мне гордиться хасидом? Да я стыжусь его!

Мать тихо заплакала, и, вместо того, чтобы утешить ее и попросить прощения, я продолжал с той же идиотской наглостью:

— Ты забываешь, мама, в каком веке мы живем; мы верим в коммунизм, мы отвергаем Бога и еще больше тех, кто использует веру в Бога, самого Бога, чтобы помешать евреям освободиться, эмансипироваться, заявить о своих гражданских и человеческих правах.

В безумии высокомерия и тупости я порвал пожелтевшую фотографию, как бы уничтожив своего деда прямо на глазах у пришедшей в ужас матери. Память об этом все еще преследует меня. ...Сегодня, гражданин следовательно, я сожалею об этом поступке. В действительности, я раскаялся в нем сразу же, но по другой причине. Вместо того, чтобы отругать меня или пригрозить, моя мать сказала спокойно:

— Я не расскажу об этом твоему отцу, Палтиель.

Мне хотелось просить у нее прощения, прижаться к ней и... Но я не сделал ни того, ни другого. Мне было слишком стыдно — или недостаточно стыдно. Я раскаиваюсь в этом сейчас. Я сожалею, что огорчил свою мать; я сожалею, что предал своего отца; я сожалею, что порвал портрет своего деда, чье имя я ношу. Я так хочу, чтобы когда-нибудь мой сын увидел его фотографию; но сын мой не увидит даже моей. Мой сын... Не заставляйте меня говорить о моем сыне, гражданин следовательно, сжальтесь. Вы, которому не дано жалеть. Спрашивайте о чем хотите, но исключите моего сына из Ваших игр. Ему всего два года.

Он носит имя моего отца: Гершон, уменьшительное — Гриша. Мой отец был строгим и добрым в одно и то же время. Младший из восьми сыновей, он казался неисправимо застенчивым. И, тем не менее, одно его присутствие было внушительным. Он редко повышал голос, но мы настораживались уже когда он прокашливался, прежде чем заговорить. Чтобы высказать все, что он хотел, ему достаточно было не-

скольких фраз, иногда одного слова, но всегда ясного, четкого и по существу.

Вы ухмыляетесь, гражданин следователь, моя любовь к отцу забавляет Вас, несомненно. Ну и что! Я любил своего отца, я восхищался им. Я никогда не говорил ему об этом, так что Вы единственный, кто об этом знает. Сам он, должно быть, думал обратное. Допустите это — я был хорошим коммунистом, из тех, кто отрекается от своих предков.

Я заставлял своего отца страдать, но и сам страдал от этого. Я мучил и терзал его. Но при этом, всякий раз, когда он считал нужным отвечать мне, опровергать мою аргументацию или просто говорить со мной как мужчина с женщиной, я слушал его не перебивая.

Из троих его детей — у меня было две сестры — я был единственным, кто вызывал у него тревогу. Он мечтал, что я вырасту хорошим евреем, а я делал все, чтобы разрушить его мечту. Теперь, когда я пишу свое Завещание, я пытаюсь вернуться к истокам этого моего бунта. Сколько лет мне было? Знаю только, что это было вскоре после моей Бар-Митцвы и что к тому времени я оставил Барассы далеко позади.

Я помню Барассы, помню детство в Барассах. Еврейский дом, маленькая еврейская улочка в еврейском квартале. Перефразируя нашего великого поэта И. Л. Переца, да будет мне это позволено, я сказал бы, что в Барассах даже река говорила на идиш; солнце вставало лишь затем, чтобы отправить детей в хедер, а каббалистов — в ритуальную баню. Время текло в согласии с циклами и сезонами Торы. Мы блюли покой Субботы, ели мацу на Пасху, постились в Судный день, пили во славу дарования Закона. Мы зажигали свечи, чтобы святить победы и чудеса тысячелетней давности, молились за восстановление Храма, руины которого и сегодня печалили нас. Царь Давид и его псалмы, Соломон и его притчи, Илья и его спутники, Баал-Шем-Тов и его ученики — все они жили среди нас. Рабби Акива, Рабби Шим'он бар-Иоха, маленький Рабби Зейра из Вавилона — все они были сокровенными частицами нашей жизни: я слушал их, говорил с ними, играл с их детьми; мы относили себя к настоящему, хотя жили в прошлом.

Когда мне было три года, мой отец заворачивал меня в свою огромную тяжелую ритуальную шаль — талес — и нес к ребу Гамлиэлю — учителю. Это был сурового вида мужчина с мохнатыми бровями и косматой бородой. На окружающих он наводил ужас. Нас была дюжина, или около того, детей, и он учил нас произносить буквы, с помощью которых, как полагали, Бог сотворил вселенную и с помощью которых вы, Его супостаты, свирепые рационалисты, можете, как мните себе, объяснить ее. Тупые ученики всякое утро дрожали, да и остальные тоже. Реб Гамлиэль без колебаний стегал кнутом по спинам тех, чьи мысли витали неизвестно где — он обвинял их в нерадивости, лени, празд-

ности, даже в разбое, почему нет?.. Как умел я ненавидеть в свои три года! Но теперь, когда я критически оцениваю те далекие годы, я вспоминаю своего старого учителя с тоской и любовью.

Пожалуйста, не говорите мне, что это естественно; не говорите, что евреи любят страдать. Мы не так глупы. Если я испытываю нежность к старику, который когда-то делал мне больно, то это, разумеется, не оттого, что мне нравится терпеть боль, а потому, что мне нравятся знания. Признаюсь, я даже ненавидел в то время реба Гамлиэля, его самого и все то, что он собой олицетворял — образование через страх, насильственное обучение, душные тюрьмы, где слова были пропитаны враждебностью — враждебностью, которая оставляла шрамы в нашем сознании.

Каждый вечер я возвращался в слезах. Но я позволял себе распустаться только перед матерью. Поскольку отец часто задерживался в лавке — он торговал штучным товаром — у меня был час, а то и два, чтобы выплакать свою муку и осушить слезы. Чтобы утешить меня, мать пела мне колыбельные песни: каждое еврейское дитя засыпает с козой под его колыбелью и со слезами милой славной вдовы по имени Цион... И моя мать, бывало, говорила мне:

— Запомни эти слова, сегодня они наводят на тебя сон, а завтра ты сделаешь их песней.

Мало-помалу я привыкал к ритму такой жизни: я плакал днем и улыбался вечером. Так продолжалось два года, два года боли и сдерживаемого гнева. Двадцать две буквы алфавита издевались надо мной; они сражались со мной, а я должен был покорить их.

Когда я покинул ребе Гамлиэля, чтобы обучаться у более знающего учителя, я понял, что не расстался со своим страхом; он прилепился к моей плоти, к моей жизни. И я понял, что я не единственный, кто подвержен страху: мои родители тоже испытывали его, и друзья их тоже, и все остальные евреи в нашем городе; все они были жертвами страха. Все боялись не ребе Гамлиэля, конечно же, а окружающего нас мира — мира грозного и опасного для нас, который заставлял содрогаться самого ребе Гамлиэля.

Я вспоминаю: канун Рождества. Меня отправили домой совсем рано, днем, до времени молитв. Я спрашиваю мать, почему. Сегодня вечером и до следующего утра, объясняет она, запрещено изучать наши священные тексты. Почему? Она не знает. Собрав все свое мужество, я спрашиваю у своего отца, который знает все:

— Этой ночью над нами пролетает проклятье, — объясняет он, — и лучше не выставлять напоказ наши тайные сокровища.

Позднее я узнал, что в канун Рождества во всем христианском мире враги евреев охотятся за ними на улицах, чтобы расправиться с ними во имя Бога христиан, во имя Его любви к ним; благоразумнее

не ходить в школу или в Дом учения и молитв. Благоразумие говорило евреям, что лучше оставаться дома.

Я рос, мужал, я научился понимать, что быть евреем в христианском мире означало познать страх и привыкнуть жить с ним. Страх перед небесами и страх перед человеком. Страх перед смертью и страх перед жизнью — страх перед всем живым, что окружало тебя, перед всем, что замышляет против тебя враждебная сторона. Скрытая угроза нависала над каждым из нас и всеми нами. Теперь эта угроза становилась более четкой, обретала форму. Вскоре я стал свидетелем первого в моей жизни погрома, мне предстояло пройти через него и пережить его. Сколько мне было лет? Не помню, помню только, что это было до первой мировой войны.

Особенно мне запомнился день перед самой Пасхой, когда мой отец неожиданно появился в моем классе; он выглядел пришибленным, отвел учителя в сторонку. Было ясно, что он пришел сообщить ему дурную весть. Учитель объявил, что закрывает хедер на один день. Он вздыхал: "О Господи, Бог Авраама, Исаака и Иакова, сжался над детьми их и твоими, смилуйся".

Потрясенные, мы смотрели на него во все глаза. Все эти долгие часы свободы, какой подарок! Мы уже принялись было торжествовать, когда отец мой вернул нас на землю.

— Идите домой, — сказал он, — бегите быстрее, с Божьей помощью вернетесь завтра.

Я взял его за руку и быстро пошел за ним. Я никогда не видел, чтобы он ходил так быстро. Моя мать стояла во дворе с метлой в руке — она начала готовиться к Пасхе. Увидев нас, она прикрыла рот свободной рукой, чтобы не закричать: она сразу все поняла.

— Где девочки? — спросил отец.

— В доме.

— Пусть там и остаются. Мы закрыли школу, — добавил он.

— И лавку тоже?

— Тоже закрыли. Все должно быть закрыто.

Моя мать не удивилась; для нее это было не внове.

Был полдень. Прекрасный апрельский день. Деревья в цвету. Праздник благоухания и красок. Синее небо, пестревшее белым; золотое солнце, сулящее так много. Вдалеке парки во всей их весенней свежести. И река, прозрачная и светящаяся. И посреди всего этого — короткое, жестокое, варварское слово — погром, звенящее, как вопль истерзанной женщины, возвещающее о картинах распотрошенных тел и изрубленных черепов. Да, гражданин следовательно, должно быть, это был один из тех весенних дней, когда человек ощущает свое гармоническое слияние с Творением. И город Барассы был красив. Никогда не забыть мне красоты Барасс, безмятежности Краснограда в тот день.

Никогда не забыть мне ни одной подробности того дня.



Отец позвал старшую сестру, Машу:

— Ты сбегаешь по моему поручению?

— Конечно, папа.

— Ты не боишься?

— Нет, папа. Во всяком случае, для женщины это менее опасно.

Куда ты хочешь, чтобы я пошла?

— Беги в Дом учения, скажи иногородним ученикам, которым некуда пойти, чтобы они пришли сюда.

Маша убежала и вернулась с двумя молодыми людьми, один из которых — причуда судьбы — станет ее мужем.

Стоя в спальне, где, как я помню, над двумя кроватями, разделенными тумбочкой, висела картина с изображением Стены Плача, мой отец изложил нам свой план.

— У нас осталось пять или шесть часов — давайте проведем их с толком. Главное — сохранять спокойствие. С Божьей помощью мы выйдем из этого тяжелого испытания целыми и невредимыми.

— Что вы собираетесь делать, реб Гершон? — спросил будущий муж Маши. — Устроите баррикады? Вы в самом деле думаете, реб Гершон, что забаррикадированные двери остановят убийц?

— Давайте приготовимся умереть как хорошие евреи, — воскликнул его друг, Сендрел, худой эксцентричный подросток. — Будем достойны наших предков!

— У вас есть план? — спросил третий ученик. — План, как остановить убийц?

Мой отец терпеливо слушал, оглаживая бороду, которая была у него коротко острижена, и долго думал прежде чем ответить.

— Друзья мои, только один Господь может и остановит убийц. Или обезоружит их. Или поразит их слепотой и глухотой. Как он сделал это в Египте давным давно. Кто мы такие, чтобы давать ему советы? Он сам знает, что делать. Что же касается нас, слушайте. Вот что мы сделаем с Божьей помощью...

Мы открыли все ящики комода и буфета, все стенные шкафы, разбросали по полу посуду, серебро, одежду, чтобы создать впечатление, что мы удрали, охваченные паникой. Разыграв эту сцену, мы вышли во двор тайком и поодиночке забрались в сарай. Отец открыл подпол и заставил нас спуститься вниз по узкой лесенке. Присоединившись к нам, он аккуратно вложил половицу на место. В полутьме я разглядел фасоль, поросшую паутиной, и старую мебель. Обливаясь потом, отец собрал все вместе, чтобы заложить вход. Мы помогали, чем могли. Он обтер лицо.

— С Божьей помощью враг не найдет нас, мы должны в это верить.

Враг, враг. Я пытался представить его себе. Египтян времен фараона. Грабителей времен Амана. Крестоносцев под сенью икон, с лицами, искаженными ненавистью. Враг никогда не меняется. Не меняется и

еврей. Не меняется и сам Господь, хвала Господу.

В наше укрытие проникло несколько солнечных лучей. Мы инстинктивно отпрянули — если солнце может достать нас, то и враг сможет. Если бы только мы могли стать невидимками...

С Божьей помощью все возможно — с Божьей помощью. Два эти слова не сходили с языка моего отца. Он верил, он был убежден, что воля Божья возобладает. Но как определить, что хочет или чего не хочет Бог? Если враг обнаружит нас, будет ли это означать, что так захотел Господь? Бесконечные вопросы толпились в моей детской голове, но я не смел задавать их. Я должен был молчать, беззвучно дышать, погрузиться в тишину и напрячь все свои чувства. Тогда я еще не знал, гражданин следовательно, что молчание тоже может обернуться пыткой. Я думал об этом уже здесь, в этой тюрьме, несколько недель, несколько месяцев или несколько вечностей тому назад, когда вы сочли полезным и выгодным запереть меня в "изоляторе". Молчание как источник и прибежище враждебности и опасности: плотность тишины, ее давление, ее жестокость — все показалось мне знакомым. С той лишь разницей, что в том пыльном укрытии в Барассах, ныне Краснограде, я был не один и что тогдашний враг был врагом давнишним.

Я помню, как тишина надвигалась стеной, разделяющей две стороны. Я помню, как стена выходила из своих пределов и становилась вездесущей, превращалась в Бога.

На улицах пусто, ставни закрыты, занавески задернуты. Ночь при белом свете. То тут, то там появляется лениво бредущая кошка, провожаемая взглядами тысяч невидимых глаз. Ржет лошадь, и тысяча ушей прислушивается к ней. Трещит доска, и в тысяче глоток пересыхает. Как пересохло в моей.

Шли часы, медленно, тяжело, изнуряюще. Ожидание опасности порождает отчаяние — знаете ли вы, что это такое, гражданин следовательно? Знаете ли вы, что это такое — ждать, когда тебя уничтожат, вы, который никогда не ждет?

Моя мать раздала нам маленькие булочки, которые она изловчилась испечь неведомо когда. Трое учеников ели жадно. Отец мой не ел, как не ел и я, и мои сестры.

Позднее, когда солнце спряталось, мой отец прошептал:

— Время для *минхи*.

Мужчины шептали молитвы так тихо, что я ничего не слышал. Наступила абсолютная темнота, и я коснулся рукой своей матери, чтобы убедиться, что она не оставила меня.

— Палтиель, читай Шма Израэль, — приказал отец шепотом. — Бога не покидают только потому, что враг близко.

Я послушался. Эту молитву я знал наизусть — и все еще знаю — так как произносил ее каждое утро и вечер. Реб Гамлиэль провозглашал, что она прогоняет демонов — увидим, и очень скоро.

Странные звуки, порожденные и исторгнутые тишиной, приближались к еврейскому кварталу. Мы все мгновенно застыли. Мое сердце — или это было сердце моего отца? — билось так громко, что грозило разбудить весь город. Незнание скоро кончится для нас, скоро она завладеет моим воображением и никогда уже не отпустит его на волю. Скоро я узнаю, на что способны люди. Их безумие вскоре ворвется в наш мир — мрачное и полное ненависти свирепое безумие, жаждущее крови и убийства. Оно надвигалось медленно, коварно, мерным шагом, как стадо диких зверей, окружающее жертву, уже сраженную страхом.

И вот безумие вырвалось на волю. Рев первобытного человека огласил тишину и разогнал сумерки: "Смерть евреям!" Он был подхвачен множеством глоток и стал слышен везде в городе и за лесами, и в самых отдаленных уголках земли. Он проникал сквозь деревья, камни, реки, скалы, рай и ад; плачущие ангелы и улюлюкающие чудища подхватывали его и передавали дальше к вершине небесного трона в память о событии, которое близилось к своему завершению, об ошибке в системе Творения... Смерть евреям! И сразу — эти два слова среди всех слов, какими пользовались люди, стали что-то значить, что-то реальное, близкое, действительное. Пока я слышал их, терпел их, позволял им разрушать мой мозг, в ушах у меня звенело, в глазах горело, во всем теле была боль. Я не мог унять дрожь. Я прижался к матери, и без того крепко сжимавшей меня в своих объятиях. Моя дрожь передавалась и ей. Я хотел бы, чтобы отец положил свою руку мне на голову, но он был слишком далеко от меня. И к лучшему — мне было бы стыдно обнаружить перед ним свою слабость. Да и потом, что бы это дало мне? Гораздо лучше спрятаться. Лежать неподвижно или умереть. Зубы мои стучали, и я был уверен, что они производят больше шума, чем погромщики на улице.

Погром приближался к нашей улице: душераздирающие вопли, крики ужаса и предсмертные хрипы. Рев мародеров, убийц, тех, кто обирал уже мертвых. Их ненависть, их радость развевались над нашими домами. Кто еще остался в живых, кто уже расстался с жизнью? Я все еще думал о молитвах Судного Дня: некто — был ли это Бог? — просматривал свои записи, отмечая галочкой одно имя и вычеркивая другое.

Шум становился все ближе и ближе, и вот он уже в нашем дворе, внутри дома. Хаос — выбитые стекла, разбитая посуда, шкафы, разрубленные на куски топорами: "Смерть евреям! Смерть евреям!"

Голос разозленного пьяницы:

— Эй, жида! Где вы прячетесь? Выходите, дайте поглядеть на ваши уродливые рожи. Они удрали! Ах, труссы! Крысы!

И другой голос:

— Они хуже... хуже диких зверей. Здесь должно быть еще серебро!

Первый голос:

— Да они такие, эти жидаы. Единственное, что их интересует — это деньги и серебро!

Еще один голос:

— Такое нам сделать!

Четвертый голос:

— А может быть...

Пятый голос:

— Что может быть?

— Может быть, парни Ивана уже побывали здесь до нас?

Они обшарили весь дом и выскочили из него, ревя, как дикари. Когда они уже почти вышли со двора, чтобы направиться в следующий дом, один из них заметил сарай и закричал своим спутникам:

— Эй, ребята, давайте посмотрим здесь. — Они вошли в сарай с факелами в руках, заглянули во все темные уголки, перевернули вверх дном телегу без колес, распотрошили мешок с картошкой, потом мешок высохших орехов. Их главарь упрямо полез на сеновал и, разочарованный, спустился обратно. Он распластался на полу, прислушался и заорал:

— Эй вы, жидаы, выходите! Покажите, на что вы способны, не будьте трусами, где ваши мерзкие рыла!..

Мы почти слышали их дыхание. Зубы мои не переставали стучать, глаза вылезали из орбит, кровь шумела в висках и железный кулак бил меня в грудь без устали, мешая мне дышать, жить. Мне хотелось закричать от ужаса, от боли, от муки... Но отец мой протянул руку и положил свой палец мне на губы. Это прикосновение было таким же нежным и утешающим, как колыбельная песня моей матери: ты не должен, ты не должен сдаваться, ты не должен стонать, не должен даже моргать; ты должен исчезнуть в ночи, раствориться в тишине, быть преданным забвению. И на какое-то мгновение, которое казалось мне вечностью, враг, прижавшийся носом к земле, ловящий настороженно малейший звук, в ожидании, что пол издаст хотя бы легкий скрип, этот враг был для меня единственным обитателем неба и земли.

Наконец свора отступила. Мы еще помолчали немного, а потом раздался шепот моей матери:

— У всех все в порядке?

У всех все было в порядке. Будущий муж Маши воскликнул:

— Это чудо! Настоящее чудо, реб Гершон. Они были здесь, прямо здесь, и Господь сделал их глухими и слепыми...

— ...а нас Он сделал немыми, — сказал другой ученик.

— Как в Египте давным давно, — продолжал мой будущий дедьверь. — Спасибо, реб Гершон, что вызвали это чудо!

— Слишком рано радоваться, они еще могут вернуться, — ответил отец.

Я заснул и проснулся, когда погром был уже позади. Солнце во всем своем блеске освещало ужасную картину. На улице валялись груды растерзанных тел. В домах с настежь раскрытыми дверьми и окнами их обитатели лежали зарезанными, скрюченные, с вывалившимися внутренностями. Реб Гамлиэль — с кровавым крестом на лбу. Ашер, могильщик, — распятым. Его жена Маня — с перерезанным горлом. Их восемь сыновей и дочерей — забытыми насмерть.

С чего начинать? С кого начинать? Кому помогать прежде всего?

Три Дома учения, украшавшие нашу улицу, осквернены и разграблены. Священные свитки, испачканные и разорванные, валяются на земле. Шимон, сторож, лежит в луже крови.

С отцом, сестрами и тремя учениками, я хожу из дома в дом, от одной семьи к другой. Я смотрю, слушаю и плачу от ярости и горя. Я плачу от того, что еще совсем мал, что не в силах помочь жертвам, не в состоянии отомстить убийцам. И во мне зарождается огромная любовь к евреям моего города. Я хочу оживить их, утешить, сделать счастливыми; мне необходимо, чтобы они могли пережить чудо, каким Бог одарил нас.

Похороны жертв погрома произвели на меня жуткое впечатление: длинная вереница гробов, покрытых черной тканью, которые несли раввины и ученики, одетые в траур. Погребальная служба шла во дворе главной синагоги. На ней присутствовали высокие священнослужители, прибывшие издалека: из Харькова, Одессы и Санкт-Петербурга. Плотная толпа, стоя под серым небом, прослушала Кадиш и направилась на кладбище. Три синагогальных сторожа, похожие на пугала, шли во главе процессии, потрясая ящиками для сбора денег и выкрикивая: *"Цедака татцил мимавет"*, *"милосердие спасает от смерти, милосердие сильнее смерти..."*, и все робко подходили к ним, чтобы опустить какую-нибудь монету. Отец дал мне пять или десять копеек, но я не мог заставить себя приблизиться к ним. Я знаю, что это глупо, но эти три высоких худых мужчины, шествующие впереди мертвых, впереди самой смерти, парализовали меня. Этот ужас я чувствую и сегодня.

Что же до убийц и грабителей — я ненавидел их, я хотел видеть их на коленях, прикованными и выпоротыми — да, гражданин следовательно, я испытывал глубокую ненависть, звериную и беспощадную, ко всему населению Барасс, то есть Краснограду, ко всему русскому народу, ко всей России.

Да, гражданин следовательно, я любил свой народ и ненавидел ваш. Следовательно, я, Палтиель Гершонович Коссовер, житель Краснограда, проживавший по улице 28-го Октября, я, еврейский поэт, обвиненный в подрывной деятельности, уклоне и предательстве, признаю себя виновным: с пяти лет — или с четырех? — моя любовь сосредоточилась на одном народе, на моем собственном, который послушен только Богу, и Бог этот — не ваш. Другими словами: даже четырех- или пятилет-

ним я был уже виновен в участии в еврейских националистических заговорах и агитации против вашего закона, потому что ваш закон — враг моему закону.

КРАСНОГРАД ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ – что можно сказать о нем? Уроженцы клянутся, что теперь это крупный город, метрополия. В действительности же это провинциальный город, не хуже и не лучше, не уродливее, но и не привлекательнее, чем любой другой.

Может быть, более живописный. По ночам можно услышать отдаленный шум водопада. Летом молодые пары бродят глубоко в лесу. Те, кто посмелей, лезут на гору, вершина которой манит и бросает вызов, особенно детям. Если вас не привлекают ни гора, ни река, можно погулять в одном из пяти парков, они – гордость нашего горсовета. Площадь Горького – самое красивое место. Но она часто пустует, и не без причины: поблизости всегда ошиваются сотрудники органов госбезопасности. Люди предпочитают маленький, романтический, заброшенный парк, расположенный у подножья Холма семи раскаявшихся разбойников; они увидели сияние и перестали разбойничать.

Красноград насчитывает от ста до ста пятидесяти тысяч жителей самых различных национальностей. Это и не удивительно в таком регионе, ведь Красноград является одним из углов треугольника: между Жироневым и Тозахиным. Здесь говорят на пяти языках, и еще два существуют исключительно для мелких ссор.

Как и все советские городские центры, Красноград гордится трамваем, фабриками, ежедневными газетами, домами культуры, театрами, кинотеатрами и всевозможными учебными заведениями. Город имеет свою долю героев и мерзавцев, пьяниц и проституток. Есть две церкви и синагога: как-то же надо занять стариков. Молодежь предпочитает “профессиональные” клубы (большая часть которых находится под эгидой пионерских или комсомольских организаций), несмотря на поток лекций, которые им приходится там прослушивать. В эти клубы ходят играть в шахматы, встречаться с друзьями или просто послушать местные новости. Там довольно приятно – комнаты просторные, ассортимент в буфетах сносный.

Как это водится везде, люди имеют свой круг: старики общаются со стариками, молодые – с молодыми, это одинаково верно и в отношении инженеров, ветеранов войны, больных, пенсионеров, бюрократов и членов партии. Учителя общаются только с учителями, сотрудники тайной полиции только между собой, евреи только с евреями.

Евреев в Краснограде осталось мало. Очень много их было убито в начале немецкого вторжения; другие партизанили в лесу. Молодые сражались, старики занимались снабжением. Им приходилось защищать

ся как от оккупантов, так и от местных жителей. В те годы у евреев друзей не было вовсе. Их изоляция продолжалась и после оккупации. Одиночество евреев запало в самые ранние воспоминания Гриши и преследует его всегда, когда он возвращается памятью к прошлому.

Еще маленьким мальчиком он открыл для себя, что мир, в котором он живет, имеет стены и четкие границы. Одиночество матери еще усиливало его собственное одиночество. Она редко разговаривала с ним и еще реже поощряла его попытки поговорить с ней. Мать и сын жили как отверженные, парии общества. Когда они шли мимо, люди показывали на них пальцами и шептались. Отсутствие отца уже само по себе было достаточным, чтобы создать вокруг них вакуум: и правду сказать, не станешь же якшаться с семьей саботажника, шпиона, врага народа; никто не улыбнется школьнику, отец которого был участником политического заговора; никто не пожмет руку женщине, чей муж исчез.

Каждое утро Раиса, оставив Гришу у ворот школы, мчалась на фабрику, где она работала бухгалтером. Изо дня в день, глядя, как ее проглатывает утренняя толпа или уносит набитый до отказа трамвай, Гриша боялся, что потерял ее навсегда. Чтобы скрыть свои страхи, он прятал и свою радость, когда после школы находил ее на обычном месте. Весь остальной день он не выпускал ее из поля зрения: шел с ней в общественную столовую, в бакалейную лавку, даже в баню. Он оставался один только в своей кровати, в комнате, где они жили вдвоем.

Не очень весело было мальчику расти в обстановке постоянной тревоги, безродным. Он направлял свою энергию на то, чтобы утешить мать, а она занималась тем, что утешала его. Как они сносили это? Они и сами не знали. Просто не было иного выхода.

И вот однажды все, казалось, изменилось к лучшему. Хрущев, введя политику либерализации, открыл двери лагерей и тюрем, этого универсума медленной смерти. Дела пересматривали, приговоры отменяли. И Раису Коссовер посетили три важного вида чиновника.

— У нас для вас сообщение огромной важности.

— Садитесь, пожалуйста. — Она казалась взволнованной и встревоженной. — Не хватает стульев, я сейчас сбегаю и одолжу у соседей.

— Не беспокойтесь, на кровати тоже удобно.

Гриша пытался следить за разговором взрослых и понять, что происходит.

— Что такое, мам? Что они хотят?

Они сказали Раисе о цели их прихода — официальное сообщение о реабилитации — и она объяснила своему сыну, — хорошие новости, Гриша.

— Но кто они такие?

— Их послал... послал Центральный Комитет, — сказала Раиса.



— Зачем? — с тревогой спросил Гриша. В свои восемь лет он уже привык не доверять незнакомым людям.

Один из мужчин, тот, что вел разговор, с тяжелыми веками, с лицом, изображавшим доброту, притянул к себе Гришу и мягко пояснил:

— Мы пришли поговорить о твоём папе.

Гриша перепугался. Он бросил взгляд на книжную полку, чтобы удостовериться, что отец все еще стоит на месте, и вздохнул с облегчением: посетители не обнаружили его. И вдруг к его величайшему изумлению, мать встала на стул, достала запрещенное сочинение и победно протянула его главному.

Гриша запротестовал. — Не делай этого, мама! Ты не должна показывать им моего отца, не надо вытаскивать его из укрытия!

Главный улыбнулся ему:

— Почему не надо, Гришенька?

— Это опасно. Вы же знаете это, разве нет?

— О нет, мой дорогой Гриша Палтиелевич, это уже больше не опасно — времена изменились...

Он просмотрел книгу, передал ее своему помощнику, который внимательно, серьезно, со знанием дела полистал ее, прежде чем передать своему коллеге. Все трое печально и сочувственно покачали головами, издали звуки восхищения и глубокие вздохи.

— Да, да, никакого сомнения, прекрасное сочинение...

— Он был настоящим поэтом, об этом говорят в высоких инстанциях, знаете ли.

— Мученик. Какая трагедия, какая трагедия...

— И какой произвол!

Гриша был растерян. С чего бы такое возмущение? Его мать упивалась им. Гриша никогда прежде не видел ее такой радостной, такой воодушевленной. Гости попрощались, обещая прийти снова, чтобы обсудить практические вопросы: пенсию, компенсацию... Раиса проводила их до двери. Она вернулась возбужденная, почти в экстазе.

— Видишь, Гриша, видишь, они пришли! Они говорили о твоём отце, а это значит, что отныне ты тоже сможешь говорить о нем; это значит, что теперь мы можем держать его книгу прямо здесь, открыто.

В школе для Гриши тоже многое изменилось. Учителя и одноклассники не относились к нему теперь как к досадной помехе. Но все же стоило ему заговорить об отце, как снова все отворачивались от него.

В этот период своего детства он завел два важных знакомства: сначала с доктором Мозляком, а затем — с ночным сторожем при комплексе домов, где они жили, странным человеком по имени Виктор Зупанев, которому предстояло стать его защитником, наставником, союзником и лучшим другом.

Доктор Мозляк был так себе врач. Гриша был уверен, что он часами смотрится в зеркало, восхищаясь собой, и может быть, даже разговаривает со своим отражением. Несомненно, он считал себя неотразимым. Усатый, с холодными пронзительными глазами – глазами человека, вообразившего, что он все знает и на все имеет право.

Гриша не понимал свою мать: как она могла привязаться к такому человеку? Конечно, она была одинока, ей нужен был мужчина, а он, Гриша, только усиливал ее чувство одиночества.

Гриша презирал Мозляка и не делал из этого секрета. Поэтому по вечерам Раиса выскальзывала из комнаты и поднималась этажом выше. Чтобы не смущать ее, Гриша притворялся спящим. Зря старался, она ушла бы в любом случае. Часто от напряжения у него болели глаза и его мутило, но он упорно ждал ее возвращения: когда же, наконец, раздастся скрип двери? Его лихорадочное ожидание длилось бесконечно, но вот дверь открывалась... И тогда он закрывал глаза и притворялся спящим. Однажды ему это не удалось. Он не смог закрыть глаза: он старался снова и снова – но все напрасно. Раиса зажгла ночник над кроватью и увидела искаженное лицо сына.

– Что случилось, Гриша?

– Ничего, ровным счетом ничего.

– Ты не спал?

– Спал. Я только что проснулся. Я видел плохой сон.

Она потушила свет.

– Тебе надо больше общаться со своими сверстниками, завести друзей, – сказала она в темноте, – теперь это можно. И нужно.

– Это я знаю, – сказал он язвительно.

Она была поражена.

– Ты о чем?

– Ни о чем.

Она помолчала минуту и спросила:

– Ты сердись на меня?

– Нет.

– Доктор Мозляк хороший человек; знаешь, он бы тебе понравился, если бы...

– Если что?

– Если бы ты встретился с ним. Правда. Он бы очень этого хотел.

Гриша подумал немного и спросил:

– Что вы делаете у него в комнате, когда вы вместе?

– Ничего, – заторопилась она с ответом, – мы разговариваем, вот и все. Мы пьем чай и болтаем. Он хороший собеседник, Володя, я имею в виду доктора Мозляка.

– А мой отец?

– Что твой отец?

– Мой отец тоже был хорошим собеседником?

Враждебное молчание легло между ними, как пропасть.

— Твой отец был неразговорчив, Гриша. Он был поэтом. А поэтам, чтобы слагать песни, нужна тишина. И твой отец часто молчал.

Гриша пообещал себе, что когда-нибудь он тоже будет молчать. И что он научится понимать слова до того, как они родились, и после того, как исчезли.

*— Я никогда не смеялся, — говорил Виктор Зупанев, ночной сторож. — Я никогда в своей жизни не смеялся.*

*Мои родители старались заставить меня смеяться; мои соседи тоже старались; мои враги — и те старались заставить меня смеяться. Жизнь и смерть сплетались, как пьяницы, и делали все, чтобы заставить меня смеяться.*

*Родители водили меня к врачам, от которых меня рвало; потом к цыганкам, которые спаивали меня; потом к гадалкам, циркачам, монахам, мошенникам, ведьмам, акробатам, клоунам, факирам — но мое лицо всегда оставалось хмурым.*

*В интернате учителя клялись честью, что заставят меня смеяться; они били меня и оставляли без еды, без воды, без сна; смеялись они, но не я.*

*Мои одноклассники преследовали меня. Девчонки щекотали меня, их матери ласкали меня и фыркали от смеха. Ничего не помогало — я не смеялся.*

*У меня не было ни настоящих друзей, ни настоящих врагов, ни любовниц, ни незаконных детей — у меня не было никого, и я сам был никем. И все потому, что я не умел смеяться.*

*На работе я наблюдал за всем происходящим, я приглядывался, прислушивался и записывал — но и там тоже у меня не было желания смеяться.*

## ЗАВЕЩАНИЕ ПАЛТИЕЛЯ КОССОВЕРА

### 2

...ВСКОРЕ ПОСЛЕ ЭТОГО вспыхнула первая мировая война, но я не имел к ней никакого отношения, клянусь Вам. Несомненно, это удивит Вас, гражданин следователь, поскольку Вы убеждены, что все зло, происходящее в мире, сотворено, направлено и вызвано злой волей евреев. На этот раз нет. Сараево — это не моя вина.

По правде сказать, я был ошарашен всем этим. Эти имена, эти титулы, эти троны — чересчур много для головы еврейского ребенка. Взрослые волновались, волновался и я. Это была катастрофа, бедствие. Эти церковные колокола, звон которых целыми часами раздавался над полями и горами, возвещали мужчинам и женщинам, что настал их черед идти на встречу со смертью: одним — как ее посланцы, другим — как жертвы. Колокола звонили, они звенели; неужели они никогда не замолчат?

— Что это такое, война? — спрашивал я своего отца.

Он пытался объяснить: политика, стратегия, территориальные претензии, национальная гордость, экономические факторы. Но я понял только, что австрийцы любят своего короля, англичане — своего, а русские — своего царя, но все эти королевские семьи завидуют друг другу и ненавидят друг друга.

— Но тогда почему они сами не сражаются? — спрашивал я удивленно. — Почему короли посылают своих подданных убивать и быть убитыми вместо себя? Было бы намного проще...

Отец соглашался со мной:

— К сожалению, короли думают иначе, чем мы.

В другой раз он дал мне лучшее объяснение:

— Война — это вид погрома, но только бóльшего масштаба.

— Против евреев?

— Не обязательно. Видишь ли, на войне все люди становятся евреями, сами того не сознавая.

Барассы покидали все его граждане, способные держать оружие, и заполняли иногородцы. Сыновья и мужья, мобилизованные на фронт, с песнями уходили к вокзалу, а в центре города появлялись новобранцы, прибывшие из других мест.

Поначалу война представляла собой одно долгое путешествие, бесконечное перемещение, всеобщее переселение.

Поскольку мой отец был забракован на медосмотре, то жизнь нашей семьи текла без перемен. С другой стороны, мои дяди, как по материнской, так и по отцовской линиям, все надели военную форму и уже сражались во славу и за честь царя Всея Руси.

Я до сих пор все помню. Почти каждый вечер соседи и друзья собирались у нас в доме, в столовой зимой и под тополем — летом, чтобы обсудить положение на фронте. Трое учеников, наши товарищи по несчастью во время погрома, наносили нам частые визиты. Двое из них приходили поесть, третий — ради моей сестры.

Разговор часто заходил о будущем: что лучше для евреев — победа царя или триумф кайзера. Случилось так, что оба они, один за другим, проиграли войну и ни один не выиграл от поражения другого — не были в выигрыше и евреи.

В то время в наших семьях было много разговоров о высокопоставленном монахе, о его злой воле и огромном влиянии на императорский двор; о нищете в стране, о ее слабости, о солдатах, которые воевали плохо или совсем не хотели воевать, о богатых и знати, которые проводили время в кутежах и веселье, о недовольстве, растущем в народе...

Я узнал несколько новых слов: большевизм, меньшевизм, социализм, анархизм. Я спрашивал своего отца:

— “Изм” — как это точно определить?

— Это как ветреница, готовая наконец выйти замуж... — первое, что приходит на ум.

Речь шла также о вождях — отважных или безрассудных, в зависимости от точки зрения, — которые из подполья или из-за границы заявляли о своей способности и стремлении свергнуть царя.

— Это анекдот, — говорил кто-то, — свергнуть царя, ни больше, ни меньше. Разве это серьезно?

Потом разговор перешел на революцию, контрреволюцию, Брест-Литовское перемирие, мир, Белую и Красную армии. Почему в один прекрасный день мой отец решил оставить Барассы и переехать в Румынию? Наверное, он боялся гражданской войны так же, как коммунизма.

Переезд был мучительным и полным приключений; по дороге нам пришлось бросить большую часть своих вещей. Мать моя плохо переносила дорогу, но никогда не жаловалась. Маша была расстроена разлукой с женихом; зато Голда, годом моложе ее, была всем в помощь и всегда в добром расположении духа. Что до меня, то все это предприятие казалось мне удивительно увлекательным — разоренные города и деревни, бегущие в поисках крова мужчины и женщины, а пуще всего те истории, которые они рассказывали друг другу между приветственным и прощальным рукопожатием — никогда прежде я не слышал подобных историй. Я переживал это время переворота

каждой клеточкой своего существа. Иногда мне, с моим детским умом, представлялось, что война эта была объявлена специально для расширения моего жизненного опыта.

Гостеприимно встреченные в Ляново, маленьком городке на румынской границе, кузеном моей матери Шолемом — правоверным хасидом, мы очень быстро освоились. А чего же вы ожидали, гражданин следовательно, евреи остаются евреями, где бы они ни были: сплоченными, милосердными, гостеприимными. Каждый еврей знает, что в жизни очень просто поменяться ролями — тот, кто сегодня приютил бездомного странника в своем доме, может завтра с легкостью оказаться на его месте.

Вы клянете еврейский национализм за его интернационалистический характер и в какой-то мере Вы правы: между евреем-коммерсантом из Марокко и евреем-химиком из Чикаго, между евреем-тряпичником из Лодзи и евреем-промышленником из Лиона, евреем-мистиком из Сафед и евреем-интеллектуалом из Минска существует гораздо более глубокое и прочное родство (потому что значительно более давнее), чем между двумя неевреями, гражданами одной и той же страны, одного города, одной профессии. Еврей может быть один, но никогда не может быть брошенным, поскольку он всегда остается интегрированным какой-нибудь вневременной общиной, даже если она невидима и лишена географических и политических реалий. Еврей никогда не определяет себя в географических категориях, гражданин следовательно, он выражает и идентифицирует себя в терминах исторических. Евреи помогают друг другу, чтобы продлить свою общую историю, чтобы изучать и обогащать свое общее достояние, раздвинуть границы своей коллективной памяти.

Я знаю: то, что я говорю сейчас, является дополнительным свидетельством моей виновности; я просто признал, что я плохой коммунист, предатель рабочего класса и непримиримый враг вашей системы. Да будет так. Но мнение моего отца значит для меня больше, чем Ваше мнение. В действительности, только его мнение имеет для меня значение.

В мой смертный час его образ встает передо мной. Перед ним я должен оправдаться за свою жизнь. И в его присутствии я испытываю чувство, близкое к позору. Я слишком много лет потратил впустую, на поиски того, что никогда не могло стать неотъемлемой частью моего "я".

Чтобы он был доволен, мне следовало только избрать путь, начертанный Богом, быть послушным Закону Моисея, принять Божью милость. В этом плане я, должно быть, разочаровал его. Как, впрочем, и во многом другом.

В Ляново я был уже достаточно взрослым, чтобы серьезно учиться. Отец отдавал меня в лучшие школы. Он знакомил меня с извест-

ными знатоками религии, давал мне возможность вкусить радость и магию хорошего талмудического спора. Сегодня я уже не уверен, что его старания были напрасны.

Я полюбил Лиянов, а Барассы казались мне уже далеким прошлым. Я был экспатриантом, беженцем, принадлежностью Румынии. Воспоминания о погроме ушли в прошлое. Война, бегство — я больше не думал о них. Предполагалось, что моя учеба поглотит меня целиком, именно так и получилось. Коротко говоря, жизнь приходила в норму.

Мой отец вернулся к торговле мелким товаром. В лавке ему помогала Голда. Сияющая Маша считала дни до встречи со своим учеником Барасской иешивы и до замужества.

Я помню эту свадьбу. Помню потому, что она столкнула меня лицом к лицу с нищетой и отчаянием. Это было в 1922 году, в год моей Бар-Митцвы.

Бракосочетание было отпраздновано с радостью и помпой. Дяди, тети, двоюродные братья и сестры — я и не знал, что у меня их столько — все были приглашены, а также друзья, компаньоны, знакомые. К счастью, моему отцу это было по карману; другого вполне могло бы разорить многодневное застолье.

По обычаю отдельный стол был накрыт для бедных. Маша танцевала для них и с ними. Но осознавала ли она то, что делала? Да, осознавала. Она плакала, хотя, возможно, от любви, а не от жалости. Я наблюдал за ней, сдерживая слезы. Семена моих будущих коммунистических устремлений были посеяны на этой свадьбе.

Стол для бедных был накрыт в длинной просторной комнате. Но в ней можно было задохнуться. Жалкие смешные мужчины и женщины суетливо бегали по комнате, стараясь схватить кусок рыбы, белого хлеба. То и дело возникали ссоры. Люди плевались, кричали, оскорбляли друг друга, дрались. Этого можно было ожидать — они были голодны, эти дети нищеты. Одетые в отрепья, с сумасшедшим блеском в глазах, с лицами, искаженными жадностью и ненавистью, они казались людьми из иного, околдованного, проклятого мира. А в соседней комнате находились знатные гости, там шло такое празднество, пир, царил такой подъем, что все остальное, казалось, не имело никакого значения. Там все было так, как будто зло и страдания уже исчезли с лица земли.

Мужкой было ходить из одной комнаты в другую. Я уже не слушал песен, ни радостных, ни печальных. Раввины произносили благословения и принятые речи, но я даже не слышал их. Все, казалось, были так счастливы... Кроме меня. Я чувствовал себя растерзанным; мое место было среди бедных.

На моей Бар-Митцве, которая состоялась спустя несколько месяцев, я посвятил свою ритуальную речь позору социальной несправедливости в контексте еврейской традиции. Я цитировал из Вавилон-

ского и Иерусалимского Талмудов, из Маймонида и Нахманида, из Менахема Хареканати, Махарала из Праги, из поэтов Золотого века и из Виленского Гаона. Я негодовал, протестовал: "Давным давно стало принято считать, что если еврей беден, то виновато в этом общество; если он страдает, то виной тому изгнание; люди забыли, что это также и их вина, моя и ваша". И в заключение я сказал: "если человеку дано совершать несправедливости, то ему надлежит и искоренять их; если сотворение мира несет на себе печать Бога, то порядок в нем несет печать человека".

Моя речь вызвала переполох. Один пурист обвинил меня в искажении цитаты; другой заявил, что услышал в ней богохульную "инсинуацию". Отец же мой сразу попал в точку:

— Запомни, Палтиель — с Богом все можно сделать, без Него ничего не имеет цены.

На этой же неделе реб Мендель-Такитерн заговорил со мной в Доме учения и объявил, что выбрал меня себе в ученики. Это было посвящением — реб Мендель не принимал всякого в свой интимный кружок. Часто он отвергал кандидатов без какого-либо объяснения. Невроятным было и то, что он снизошел сказать мне, чем я снискал его расположение:

— Я беру тебя к себе, чтобы удержать от выбора ложного пути, — говорил он своим осипшим голосом, — ты ищешь кору, а не само дерево; ты ищешь понимания, а не знания; ты стремишься к справедливости, а не к правде. Но, бедняга, что ты станешь делать, когда узнаешь, что правда сама по себе несправедлива? Ты можешь возразить мне, что это невозможно, но кто это сказал? Нет, мы должны делать все, что в наших силах, чтобы это стало невозможным. И вот этому я стану учить тебя.

Начался самый пламенный, самый богатый, самый возвышенный период моей жизни; я познал безграничную покорность и томление по мистическому опыту. Я искал молчания в словах и слов в молчании. Я был полон решимости разорвать себя на части, если бы потребовалось, чтобы достичь самопостижения. Я смирялся, чтобы достичь вершины. Я укрощал себя, чтобы испытать светлую радость. Чтобы поверить в спасение, я танцевал на краю пропасти.

Ведомый, поощряемый и поддерживаемый ребом Менделем-Такитерном, я исследовал пути мессианизма. Я прилагал все усилия, чтобы отыскать и постичь их.

Я проводил дни и ночи в Доме учения. Когда я не молился, я учился; если я не учился, я молился. Если я давал усталости побороть себя и засыпал, то лишь для того, чтобы увидеть во сне Илью Пророка, который, согласно традиции, знает ответы на все вопросы.

Мои вопросы постоянно вертелись вокруг Мессии. Я до боли желал ускорить его приход, зная, что уж он непременно уничтожит



дистанцию между богатым и бедным, несчастным и счастливым, нищим и землевладельцем; он положит конец погромам и войнам; сольет воедино справедливость и сострадание, позаботившись о том, чтобы и то, и другое были истинными.

Вы улыбаетесь, гражданин следователь. Мне жаль Вас. Мне жаль, что Вам не пришлось увидеть такой сон. Однако, Палтиель Гершонович Коссовер, вы несправедливы к милому гражданину следователю, который читает ваши записи: он тоже видел этот сон, только его хозяева называют его другим именем — его Мессией был Маркс... Да, гражданин следователь, а вот у нашего нет имени. В этом величие нашей традиции: она учит нас, что среди десяти вещей, предшествовавших акту Творения, было и имя Мессии — имя, никому не известное, и никто не узнает его до самого его прихода.

Я и вправду, гражданин следователь, практически был коммунистом, сам того не зная. Я тоже хотел помочь бедным, голодным, проклятым заклейменным. Разница только в том, что полагал осуществить это одним только воззванием к Мессии: он и только он излечит человечество от позора несправедливости, уймет боль человеческого существования.

Но вот где Мессия? Как мы могли приблизить его приход? Реб Мендель-Такитерн знал как: нам надо пристальнее изучать наши священные тексты, углубиться в нашу эзотерическую традицию, выяснить имена неких ангелов и освободить некие силы. Такова волнующая красота мессиянской авантюры: только человек, для блага которого ожидается приход Мессии, в состоянии и достоин сделать его пришествие возможным. Какой человек? Любой. Кто бы ни пожелал, может захватить ключи, которые открывают ворота небесного дворца, и тем самым доставить могущество узнику. Мессия, видите ли, это тайна между человеком и им самим.

Однажды вечером дверь комнаты для занятий открылась и кто-то вошел. Я затаил дыхание, наблюдая, как мужчина, одетый в слишком большой для него кафтан, украдкой разглядывал комнату. Не видя меня, он осмелел и шагнул вперед. Илья Пророк, без сомнения, подумал я и поднялся, чтобы приветствовать его и просить о помощи. Я не мог справиться со своей радостью. Наконец-то, думал я, мои мечты осуществляются: пророк явился и он ответит меня туда, где один только свет. Ликуй, о Израиль! Час избавления настал! Но хоть он и был пророком, этот ночной гость не ожидал увидеть меня здесь так поздно. Его охватила тревога, даже паника. И только тогда я обнаружил свою ошибку.

— Эфраим, — воскликнул я, слегка разочарованный. — Что ты здесь делаешь?

— То же, что и ты, — сказал он раздраженно.

— Ты учишь Каббалу?

- Да, учу.
- Кто твой учитель?
- Этого я тебе сказать не могу.
- И ты тоже ищешь абсолютную тайну?
- Конечно.

— И ты пытаешься добиться Алият-нешама, того, чтобы душа твоя воспарила в небеса?

- А чего же еще?

Его ответы взволновали меня. Значит, не я один хочу нарушить планы Творения. А реб Мендель-Такитерн — не единственный знаток в этой области. Я пристальнее вглядывался в Эфраима. Он был известен как эрудит и человек очень набожный, ему предсказывали блестящее будущее — вероятно, он заменит своего отца на должности даяна — раввинистического судьи. Я был доволен, что он пришел. Мы могли бы стать друзьями, изучать одни и те же труды и вместе преодолевать опасности. Но почему он ведет себя так странно? Он прятал под кафтаном какой-то крупный предмет.

- Что это у тебя? — спросил я из простого любопытства.
- Так, ничего.

Обманщик, подумал я, наверное, он напал на редкий трактат.

- Не дури, Эфраим, — покажи мне, что у тебя?

— Нет, нельзя. Да и потом я, правда, должен идти. Я тороплюсь, меня ждут.

Я не настаивал больше. Он повернулся на каблуках и некулюже налетел на стол. Он вытянул руку, чтобы ухватиться за что-нибудь и не упасть, и выронил свой сверток. Вам никогда не отгадать, гражданин следователь, что было в этом свертке. Pamфлеты и брошюры отнюдь не мистического свойства.

Да, это так, первый урок коммунизма был преподан мне Эфраимом в тот вечер в Доме учения. Смешно, не правда ли? Эфраим — агитатор коммунизма. Эфраим, будущий даян, еврейский законник — распространитель подпольной литературы.

- Дай посмотреть!

Эфраим пожал плечами и дал. Я сел на ступеньки, ведущие к скамьям, и принялся читать. Жуткие кровавые рассказы, прославляющие террористическую деятельность революционеров в начале века. Покушение на царя и его семью, бомбы, взорвавшиеся в автомобиле губернатора, убийство министра полиции... Как глупо, думал я, как по-детски. Все эти авантюристы, преступники неминуемо кончат свою жизнь в Сибири — что общего у меня может быть с ними? Царь мне лично не причинил никакого вреда; его тайная полиция, охранка, никогда не трогала меня; никому не приходило в голову запереть меня в крепость. Я читал эти памфлеты, повествующие о давних

событиях, не понимая их реальной сути. И хотя их авторы писали на идиш, язык их все равно был мне чужд.

Я смущенно посмотрел на Эфраима, не зная, сердиться или смеяться.

— Ты что, спятил, Эфраим? Ради этого ты забросил священные тексты?

В явном замешательстве он схватился обеими руками за голову и ничего не ответил.

— Нет, серьезно, Эфраим, это так ты намерен приблизить спасение?

— Да, — сказал он вызывающе.

— Мой бедный друг! Наши мудрецы были правы, запретив изучение мистицизма до определенного возраста: это опасно для рассудка.

— Я не потерял рассудка, Палтиель. Теперь слушай меня внимательно. Я все еще хочу спасти человечество и избавить общество от его язв; я все еще хочу прихода Мессии. Но я нашел новый путь к этому, вот и все. Я испробовал медитацию, пост, аскетизм, но безуспешно. Есть только один путь, ведущий к спасению —

— Какой?

— Путь действия.

— Действия? Но и я верю в него. Что же такое молитва, как не действие? И что же такое практика мистицизма, как не акт веры в Бога?

— Я говорю тебе о действии, имеющем отношение не к Богу, а к истории, к событиям, которые историю создают, короче говоря, к самому человеку.

Сидя на скамье между двумя столами, я со своим молитвенником по рабби Ицхаку Лурия, и он со своими идиотскими памфлетами, мы представляли собой прекрасную пару, гражданин следовательно.

— Хочешь принять участие в настоящей дискуссии? — спросил Эфраим.

— Почему нет?

— Тогда прежде всего обещай никому ничего не рассказывать.

— Обещаю.

— Одного обещания не достаточно, поклянись.

— Клянусь.

— Нет, так просто не достаточно — клянись перед алтарем на священном свитке.

Я, разумеется, отказался. С Торой не заводят интрижку.

— Если ты мне не веришь, очень жаль, — сказал я. — Тогда давай бросим эту тему.

— Я-то тебе верю. Если я требую от тебя клятвы, то только для твоей же безопасности, и для моей тоже: ты должен следить за собой,

иначе что-нибудь может слететь у тебя с языка в неподходящем месте и не вовремя.

— И что тогда будет со мной?

— Этого лучше не знать, Палтиель. Ты слышал о тайной полиции? Так вот, они существуют, и для них пыточное дело стало наукой. Если они поймают тебя в свои сети, то тебе конец. Они никогда не поверят, что ты не был замешан в... во всем этом.

— Замешан в чем? — вскричал я.

— В революции, — сказал он абсолютно серьезно.

Эфраим попытался прочесть мне ускоренный курс политической науки в манере урока по Талмуду, но я не воспринял его всерьез, по крайней мере в тот вечер. И тем не менее, страх его был неподдельным, хотя казалось — он больше боялся своих родителей, чем тайной полиции. Несмотря на все его аргументы и увещевания, я твердо стоял на своем и отказался клясться перед святым ковчегом. Достаточно было и моего слова — хочешь, бери, нет — не надо. Он встал; я решил, что он уходит. Ничуть не бывало. Неторопливо и методично он принялся работать: в каждый стол по памфлету, а трактаты в сумки с талесом. Не веря глазам своим, я молча, застыв на месте, наблюдал за ним. Зато он, совершенно спокойный, имел наглость (и хитроумие) попросить меня помочь ему, иначе, мол, он не успеет закончить вовремя. И, как идиот, я не нашел ничего лучшего, как согласиться.

И вот так, сам того не сознавая, даже не подумав об этом, я сделался его сообщником. Он был так добр, что обещал прийти на следующей неделе, чтобы продолжить нашу дискуссию — и нашу работу. И, конечно же, сдержал свое слово.

Его объяснения и аргументы мог бы воспроизвести самый младший из наших пионеров. Простые и примитивные, да — но искренние. И очень убедительные для романтически настроенного подростка шестнадцати лет, каким я был, поскольку они задевали меня за живое. Акцент делался на человеческие беды, а не на религиозное неповиновение. Если бы Эфраим прибег к подлинно марксистским провозглашениям, я отвернулся бы от него. Но, вместо того чтобы цитировать Энгельса, Плеханова и Ленина, он взывал к мессианской надежде, которую я разделял с ним. А это я мог только одобрять. Он требовал справедливости для жертв и признания человеческого достоинства рабов, аминь!

— Мой отец — один из праведников, — говорил он. — Он никогда не обидел живое существо, и он бедняк. Мы часто ходим голодными, тебе это известно? Горячую пищу два раза в неделю — вот все, что мы можем себе позволить. Почему мы обречены на голод, на нищету?

— Такова воля Божья, — отвечал я. — Кто мы такие, чтобы постичь тайну Его путей? Вот придет Мессия и...

— У меня четыре старших сестры; у нас нет денег, чтобы выдать

их замуж. Ты хочешь, чтобы мои сестры остались старыми девами?

— Воля Божья непостижима. Не нам призывать ее к ответу, ты прекрасно знаешь это. Пусть придет Мессия и...

— Мессия, Мессия! Две тысячи лет люди подстойнее нас молят его объявиться и установить свое царство, и век за веком длится несправедливость. Ты знаешь Ханана-кучера? У него нет ничего; нет даже своей лошади или повозки; ни своей хибары, даже тела своего нет. Он трудится с утра до ночи, а иногда и поздно ночью. То и дело видишь, как он, с глазами, красными от недосыпания, с пересохшими губами, возит в коляске Йону Давидовича. Подумай о Йоне, удобно развалившемся в коляске позади Ханана и посмей отрицать, что такая несправедливость повелевает нам не заниматься больше ожиданием. Посмей сказать Ханану, чтобы он набрался терпения! А Брокха Лаундресс? Ты знаешь ее? Набожная и скромная, она потеряла мужа и теперь убивает себя работой, чтобы прокормить семерых своих детей, трех сыновей отдать в школу и купить все необходимое для Субботнего стола. Она делает всю домашнюю работу, стирает и готовит для Ксиля Мессивер, зеленщика. У Ксиля есть время и средства, чтобы ждать Мессию — но Брокха Лаундресс! Подумай о ней, прежде чем отвечать.

Эфраим говорил страстно, он лишил меня покоя. Мы, как всегда, были одни в Доме учения. На улице шел снег. Пока он говорил, свечи одна за другой догорали и тухли. Говоря, Эфраим покачивал торсом вперед и назад, как если бы мы штудировали путаный комментарий, предложенный рабби Элизером, сыном Гуркана, о чистоте и нечистоте некоторых предметов.

— Ты скажешь, что все во власти Божьей, — продолжал он. — Ты прав, но только частично. Конечно, человеческие страдания небезразличны Богу, но они касаются и нас. Почему люди заставляют страдать своих ближних? Палтиель, этот вопрос касается тебя и меня!

— Кто заставляет страдать своего ближнего? Негодяи и подлецы. Судьба их жертв волнует меня, их собственная — оставляет меня равнодушным. Существование негодяев в мире — это проблема философов, а я им не являюсь. Как мы можем объяснить несовершенство Творения? И зло, его притягательность и силу? Если ответ мистиков не удовлетворяет тебя, читай Маймонида. Что до меня, то я предпочитаю ждать Мессию.

— Ну так мне жаль тебя, ждать тебе придется долго.

— Почему? Разве ты не веришь в пришествие Мессии?

— Я верю, Палтиэль, верю. Каждое утро я молюсь за его приход, за его скорый приход. Как и ты, я произношу молитвы. Но он не торопится, а пока что изгнание — это тяжкое бремя, особенно для бедных: для тружеников, нищих. Это ты понимаешь, Палтиэль? Я готов ждать год, сто лет — но менее удачливые не могут ждать.

Мало-помалу, медленно и последовательно он внушал мне свою концепцию мироздания. Только коммунизм дает человеку возможность преодолеть подавление и неравенство в близком будущем. По Эфраиму выходило, что коммунизм является мессианизмом без Бога, советский, социальный мессианизм, приемлемый до прихода подлинного Мессии.

— Оглянись вокруг, Палтиель, посмотри, что делается здесь, в Лиянове. С одной стороны богатые, с другой — бедные. С одной стороны власть имущие, с другой — эксплуатируемые. Богачи богаты потому, что бедняки бедны, и наоборот. Если бы богатым не было кого эксплуатировать, то от их состояния ничего бы не осталось. Вывод: состояние богатых такой же позор, как и нищета бедных.

Наши ночные встречи становились все более частыми. Я помогал ему распространять его трактаты; иногда само собой получалось, что я делал это вместе с ним и в других синагогах. Мы были в одной упряжке, но он все еще не признавался мне в принадлежности к подпольной партии. Мы говорили о мистицизме, литургии, об истории и поэзии, обо всем, кроме идеологии. Я помогал ему потому, что он стал моим другом; он был моим другом потому, что он давал мне возможность действовать. Мы были друзьями потому — потому, что мы были друзьями

Оба мы верили, что конечное спасение зависит только от нас, как всегда утверждали наши древние тексты. Бог сотворил вселенную и сделал человека ответственным за нее — нашим делом было дать ей ту или иную форму, сделать ее великолепной. Помогая соседу, мы помогали Богу. Поднимая рабов на борьбу, пробуждая в них гордость и достоинство, мы совершали Божье дело вместо Него. Именно так мы примиряли божественное присутствие со свободой человека. Своим присутствием Бог сделал нас свободными, и наше дело восстановить первоначальное равновесие, вернуть бедным то, что они уступили богатым, своим эксплуататорам; на нас возложена задача изменить порядок вещей, иными словами — совершить революцию.

— Неужели ты не понимаешь? — кричал Эфраим, сверкая глазами. — Мы обязаны совершить революцию, это наказ Бога! Бог хочет, чтобы мы были коммунистами!

Несмотря на все разъяснения Эфраима, я все еще не понимал, что означает это слово, так же, как просто не знал, что оно связывает нас с Советским Союзом. Я даже не знал, что в Лиянове среди наших богобоязненных евреев было коммунистическое подполье.

Я был очень наивен, гражданин следователь. Я уже был коммунистом и не подозревал об этом.

МОЯ ПОСУДУ в коммунальной кухне, Раиса разглядывала своего сына, стоящего в дверях и готового к новой атаке:

— Ну, пожалуйста, мама, — расскажи мне об отце. Теперь нам можно говорить о нем, ты сама же сказала.

— Разве ты не видишь, что я занята?

Она, как всегда, была раздражена. Ее раздражение передалось и ему.

— Ты всегда занята. А если свободна, то идешь наверх, к доктору Мозляку.

— Ты опять начинаешь?

Похоже было на то, что Гриша сейчас убежит, но он передумал. Что толку сердиться? Так не заставишь ее говорить.

— Ну пожалуйста, мама. Я почти не знаю своего отца. Я совсем его не знаю. Это не нормально. Сын должен знать своего отца, даже если его уже нет в живых.

— Что ты хочешь знать?

— Все.

С кастрюлей в руке и косынкой на голове Раиса готова была уступить. Она казалась Грише хорошенькой, беззащитной. По губам ее пробежала печальная улыбка, как мимолетное воспоминание о юности.

— Все? — спросила она с улыбкой. — А что значит все?

Гриша помедлил. Уверенность покинула его. В присутствии матери он в последнее время чувствовал себя одновременно и обвинителем, и обвиняемым. Почему она заставляла его страдать? Почему она была так уклончива? И — почему он был так настойчив? Потому, что любил ее, или потому, что не любил?

— Так что же все, Гриша?

Гриша покраснел. Мать была права. Все — какое глупое слово — все о живых, все о мертвых; все о Мозляке и опять же все о Коссовере, всякий раз оно обретало новый смысл. Для живых все могло означать солнечный луч, пляшущий на кухне, играющий с пылью; или звук от передвижения стульев в квартире первого этажа; или всякие умолчания, мучившие брошенного ребенка.

— Скажи, он был счастлив?

— Думаю, что да. Временами. Почему ты спрашиваешь?

— Я же сказал тебе, что хочу знать все о своем отце.

Вдруг для Гриши стало жизненно необходимо знать, был ли его отец счастлив. И только Раиса могла сказать ему об этом.

— Да, Гриша, он был счастлив. Как большинство людей.

— Мне не нравится такой ответ. Мой отец был не таким, как большинство людей.

— Это верно, Гриша. Он был не таким во всем, кроме счастья; он был и счастлив, и несчастлив, как и все остальные.

- Что делало его счастливым?
- Все или ничего. Улыбка. Журчащий ручеек. Слово. Доброе слово.

во.

- А что делало его несчастным?
  - Улыбка. Журчащий ручеек. Слово, дурное слово.
- Раиса замолчала. И после недолгой паузы добавила:

- Да, он не был похож на других.
- Он любил тебя?

Грише необходимо, крайне важно было знать, любил ли его отец Раису.

- Да, он любил меня.
- Откуда ты знаешь? Он говорил тебе это?
- Да, говорил.
- Когда?
- Не помню.
- Постарайся вспомнить. Подумай!
- Я не помню.

Эти последние слова Раиса произнесла уже повышенным тоном. Вошла соседка, посмотрела на них сердито, взяла чайник и вышла.

- А ты, ты любила его? — спросил Гриша.
- Зачем все эти вопросы? К чему они теперь?
- Ты любила его? Отвечай мне. Я имею право знать, любила ли ты моего отца.

— Какое право? Кто дал его тебе? Я не позволю тебе... — начала было Раиса резко.

Но она взяла себя в руки:

— Ты все еще маленький, Гриша. Ты не можешь понять. Мужчины и женщины могут любить друг друга по-разному.

Она глубоко вздохнула. — Тебя, вот тебя он любил по-настоящему.

Она кончила мыть посуду, убрала ее, тряпки, полотенца.

— Ты не понимал, — продолжала она, — не мог еще понять, но он так любил тебя... так сильно любил, что я даже ревновала.

Гриша не отозвался, и она поспешила прекратить разговор. — Все это так сложно. Кто-нибудь другой смог бы объяснить тебе все это. Не я. Например...

— Ты имеешь в виду доктора Мозляка?

Гриша вышел, не дожидаясь ответа. Эта мысль преследовала его: его отец был несчастлив, несчастлив, несчастлив. А его сын? Несчастлив, тоже несчастлив. Почему? Может быть, из-за матери?



КАТЯ ОТОШЛА ОТ ОКНА и пошла открыть дверь.

— А, это ты? Заходи.

Это стало ритуалом: он стучал в окно, она открывала дверь. Как всегда, она внимательно оглядела его.

— Ты выглядишь подавленным, — сказала она. — Ах да, я забыла, что ты можешь делать все, что захочешь, и чувствовать, что хочешь, ничего не объясняя. Ты расстроен, вот и все. Ладно. Обойдусь без твоего рассказа, что мне еще остается.

Гриша опустился на диван, свое обычное место.

— Пить хочешь?

Нет, пить ему не хочется.

— Каких-нибудь фруктов?

Нет, он не голоден.

— *Что-нибудь другое?*

Она улыбнулась ему. Нет, он не расположен сегодня даже к *чему-нибудь другому*. Не в этот вечер.

— Ты уверен?

Да, он уверен.

— Ладно, давай смотреть телевизор.

Политика, литература, сплетни: всего было понемножку. Ора-торы, как правые, так и левые, обещали своим гражданам счастье и благополучие. Скептически настроенные журналисты отвечали односложно: "О да! О нет!" Последние новости: восемьсот туристов прибыло вчера, вдвое больше ожидается завтра, в Судный день. Австрия: правительство закрывает транзитный лагерь для русских иммигрантов. А что же с теми, кто уже там? Гриша вскакивает с места. Как же его мать? Она прибудет сюда, не волнуйся. И к тому же Голда Меир делает все возможное, чтобы это решение было пересмотрено. Она ездила на встречу с Крайским, который не предложил ей даже стакана воды. Представитель правительства: "Все прекрасно, все переменится к лучшему..."; представитель оппозиции: "Все очень плохо и станет еще хуже, деньги тратятся впустую, молодежь теряет веру и если... Избирательная кампания в самом разгаре. Люди высмеивают ее. Речи просто анекдотичны. Начнем сначала, все начнем сначала. Верьте нам, помогите нам помочь вам. А политики — это еще один анекдот. И только армию можно принимать всерьез: помните победу 67 года? Израильская армия всегда на страже. Она сильна, сильнее, чем когда-либо. Она все видит, все знает. Арабы повержены, они не посмеют совершить какую-нибудь глупость. Завтра Йом-Киппур".

— Счастливого праздника, Гриша, ты постишься?

Да, он собирается поститься.

— Неужели? Разве ты верующий?

Нет, он неверующий, но ведь он еврей. Если народ его постится, то и он будет держать пост. Как же это объяснить ей? К счастью, она

не требует объяснений; она задает вопросы и отвечает на них сама.

Когда Гриша дает ей понять, что *нет, не в этот вечер*, она начинает бродить по комнате, потерянная, угрюмая, волоча ноги. Она всегда медлительна, эта Катя. Была ли она такой же *до...*? Наверное, нет. Жизнь остановилась со смертью Йорама. Никаких планов, никаких интересов. Катя апатична. Даже в любви она медлительна.

— Иногда мне кажется, что я завидую тебе, — говорит она. — Ты нем. Люди задают тебе вопросы, и тебе достаточно только нахмурить брови, чтобы они поняли твой ответ: извините, но это окошко закрыто, пройдите к следующему...

Она подходит и садится рядом на диван.

— Прости, Гриша, но ты уверен, что ты...

Да, он уверен. Он пишет на клочке бумаги: "Моя мать прилетает завтра". Как будто это что-то объясняет в его поведении. Катя не видит связи, но не настаивает. Гриша снова пишет: "Я хотел бы, чтобы ты поехала со мной в аэропорт завтра".

— С радостью, если это сделает тебя счастливым.

И снова она заводит разговор на свою любимую тему — о счастье. Она прицепилась к ней, и ее уже не остановить.

— Йорам был счастлив, — говорит раздумчиво Катя. — А еще раньше не стало Эйтана. Этот был безмятежен. А до него — моей подруги Мириам. Мириам — такая хрупкая, такая изящная, созданная для радости и счастья. Всех, кого я любила, всех, кто любил меня... Я говорю о них, я думаю о них в прошедшем времени. Смерть ревнива — потаскуха! Она отняла у меня всех, кто был мне дорог. Ты правильно делаешь, Гриша, что ведешь себя так сдержанно. Ты не должен... не должен очень сближаться. Смерть всегда где-то поблизости, сука. Я чую ее — затаилась в ожидании, шпионит за нами. Я чую ее, Гриша. Кто станет ее следующей добычей? Ты или я? Может быть, твоя мать? Я чувствую, что она вооружена и готова к атаке, как на войне...

Она встает и идет посмотреть на себя в зеркало, как будто надеется найти в нем кого-то другого, отражение утраченного образа. Она негодующе покачивает головой.

— Сегодня вечером ты не хочешь меня, — говорит она. — Я понимаю, Гриша. Ты не должен заниматься любовью в присутствии смерти.

Она что, обиделась? Почувствовала себя отвергнутой? Гриша еще мало знает ее, а она его — еще меньше. Она знает только, что он еврей, русский еврей, и что он немой.

— Не пытайся стать счастливым со мной, — говорит Катя. — Это опасно для тебя. Потаскуха-смерть ревнива, она завидует счастью, которое я тебе даю.

Счастливым? Вряд ли такое можно сказать о Грише. Он думает о своей матери, которая убила в нем всякий вкус к счастью. Был ли он вообще когда-нибудь счастлив? Да, по-своему был, наверное, в

Краснограде, после того несчастного случая с ним. Он чувствовал себя счастливым с этим необыкновенным стариком, которого он считал посланцем своего отца и который стал потом его лучшим другом, единственным другом. О, эти вечера, проведенные с Виктором Зупаневым, ночным сторожем, и его рассказы о тысяче и одной ночи одиночества. Повести, воспоминания, которые тот заставил Гришу выучивать наизусть. Секретные места, в которых они встречались. Миссия, которую определил и возложил на него Зупанев, и которую Гриша принял. Да, он был тогда счастлив. Неопубликованные стихи его отца, главы Завещания, агония вынужденного молчания, тайный, скрытый от всех смех и взрыв его высвобождения. Гриша улыбается, вспоминая разные этапы их замысла. Победа над доктором Мозляком и Гришиной матерью. В состоянии ли Катя понять, почему немому юноше хочется улыбаться, когда она рассказывает ему о печальных событиях?

Катя тоже обзирает прошлое, ее собственные битвы и поражения. Она вызывает их к жизни ради Гриши: те светлые годы в Кибуце с родителями — уже покойными, солнечные годы ее счастливого брака с Йорамом — уже покойным, идиллическую дружбу с Эйтаном — уже покойным, захватывающую, яркую и крепкую дружбу с Мириам — уже покойной. А Гриша думает о своей жизни, своих родителях, о матери. Разве нормально ненавидеть свою мать? Причинять ей боль во имя мертвого человека?

На дворе ночь. И город вдруг устремляется в небо, как будто хочет вклиниться между звезд, которые все видят и все хранят.

— Ты понимаешь, Гриша? — спрашивает Катя как во сне, со сводящей с ума медлительностью. — Ты понимаешь, дорогой мой немой возлюбленный? Иногда мне приходит в голову, что я сообщница смерти, что она использует меня, чтобы очаровывать избранные ею жертвы. Сначала я делаю их счастливыми, а потом вручаю ей... Ты в опасности, Гриша. Завтра ты расстанешься со мной. Ты вновь увидишь свою мать. Пусть она живет вместе с тобой. Твой друг-писатель не будет против, уверяю тебя. Тебе нужна твоя мать, а ей нужен ты. А я... меня ты забудь. Так будет безопаснее. Вдали от меня ты сможешь оставаться в живых...

Через окно город кажется нереальным, повисшим между облаками и холмами, между памятью о прошлом и предчувствием будущего.

## ЗАВЕЩАНИЕ ПАЛТИЕЛЯ КОССОВЕРА

### 3

Я ПРОДОЛЖАЛ УЧИТЬСЯ. Между моими мистическими поисками, старыми спорами о богослужении в Храме и моей "политической" работой с Эфраимом не возникало никакого конфликта.

Мой отец, казалось, был доволен и горд своим сыном. Если я буду продолжать столь же упорно, то скоро получу посвящение, женюсь на интеллигентной и красивой девушке, хорошо воспитанной и добродетельной, из хорошей уважаемой семьи. У нас пойдут дети, которые вырастут хорошими евреями; и, если будет на то воля Божья, все мы сподобимся приветствовать Мессию у ворот Лиянова, а потом — не будет никакого потом.

По наивности отец поздравлял себя с моей удачной дружбой с Эфраимом, которая стала широко известна. А почему бы и нет? Мы вместе изучали захватывающие дух тексты Талмуда. Это отнюдь не запрещалось. Наши мудрецы убеждали учеников выбирать себе не только наставника, но и компаньона.

Приличия соблюдались: Эфраим, мастер совращения и развращения умов, втягивал меня в чтение нечестивой литературы осторожно. Сначала он заставил меня читать религиозных авторов, а уж потом вольнодумцев. Поэмы, новеллы, эссе. Ману, Менделе Мойфер Сфорима, Фришмана, Переца, Бялика, Шнера... У Эфраима была нелегкая задача. Талмудист во мне, выросший корнями в Традицию, сопротивлялся ему. Я не мог заставить себя заинтересоваться драмой и психологическими конфликтами воображаемых живых существ в то время, как еще ощущал себя лично вовлеченным в каждый урок, преподанный рабби Йохананном бен-Заккаей или Гиллелем старшим. Память влекла меня сильнее воображения. Но Эфраим, терпеливый ментор, не сдавался. Мы разбирали социальный роман, как если бы это была страница из Аггады, анализируя его изнутри. И в конце концов я поддавался этим чарам. И уже признавал, что и впрямь существуют стоящие книги и помимо "Трактата о супружеской измене и разводе". И, не откладывая, я принялся пожирать русских и французских классиков, разумеется, в переводе на идиш. Виктор Гюго и Толстой, Золя и Гоголь — мой горизонт раздвигался. Я покидал Сафед, чтобы побродить по Парижу. Я следовал по стезе эмансипации.

Следующая фаза была более медленной и трудной. Чтобы раскре-

постить меня до конца, Эфраим принес мне философские сочинения: Спинозу, Канта, Гегеля — все еще на идиш. Я артачился: “Что?! Да как они смеют подвергать сомнению существование Бога, отрицать подлинность Библии, божественное происхождение всего живого — Творения?” Эфраим спокойно принимался доказывать мне, что слепая вера недостойна человека, что позволительно задаваться вопросами. Даже Маймонид делал это. А Иегуда Галеви? А дон Ицхак Абарбанель? Чтобы опровергнуть безбожников, надо знать их аргументацию. Так написано в “Этике Отцов”. Тебя пугает критика Библии, Палтиель? Но почему? Это же и есть научное изучение Писания. Ты что, науки боишься? Ведь наши самые великие мыслители, самые блестящие комментаторы были учеными... Эфраим знал, как подойти к делу. Он все больше втягивал меня, и я поддавался. Он давал мне книги Шлегеля, Фейербаха и Маркса. Мы все реже и реже обсуждали изгнание Шхины и все чаще и чаще “Критику чистого разума”. Вы не поверите, гражданин следователь, но в тот год я выучил наизусть целые куски из “Капитала” и комментариев к нему.

Эфраим своей методичностью сумел пробудить во мне любовь бездомного к отечеству — я имею в виду эту страну. И я, имевший отдаленное представление о географии или экономике, был вынужден выучить все о городах и республиках, о степях и горах Советской России, о революции, о ее правительстве, о ее устройстве, социальной системе и о пользе, какую она принесет всему человечеству. Газеты, журналы, школы, герои войны, революционные писатели — я уже лучше знал жизнь в Советском Союзе, чем в Румынии, стране, которая меня приютила. Я теперь знал Советский Союз так же хорошо, как Небесный Град — Иерусалим. Если верить Эфраиму, то Мессия уже вышел из Иерусалима и направился в Москву.

— Ты понимаешь? — бывало, спрашивал он неистово. — Ведь они же осуществили пророчество Исаяи, оправдали утешения Иеремии. Нет больше богатых и бедных, эксплуататоров и эксплуатируемых, преследователей и преследуемых. Нет больше безграмотности. Нет террора. Нет нищеты. Ты слышишь меня, Палтиель? Там у них все люди — братья в глазах закона: они лишены права не быть ими. Только подумай, что это значит. Евреям больше не угрожает смерть; они больше не живут в страхе и неопределенности; они не должны больше покупать себе право на счастье или образование. Они свободны и равны. Они не запуганы, им не завидуют, они не изолированы. Они живут как хотят, поют песни на родном языке, строят дома по своему вкусу и мечтают каждый о своем. Только это и важно, Палтиель: если есть хоть одна страна, где евреи чувствуют себя дома и живут в безопасности, то это Советский Союз. Почему? Потому что победила революция. Она породила нового человека — коммуниста, — который преодолел силу капитализма, диктатуру богатых, фанатизм суеверных...

Поскольку дома, в Лиянове и его окрестностях, антисемитизм был яростным и поскольку страдания и беды его жертв разрывали мне сердце, и поскольку реб Мендель-Такитерн умер, так и не научив меня, как ускорить наступление мессианской эры с помощью мистических медитаций, и поскольку душа моя жаждала равно как романтики, так и идеализма, и поскольку друг мой умел убеждать так же хорошо, как и совращать, я поддался ослеплению и соблазну. Я откликнулся на то, что он называл зовом революции.

Однажды вечером в доме у товарища из буржуазной семьи я встретился с другими приятелями: двумя учениками иешивы, швеей, парикмахером и Фейвишем, работником моего отца. Увидев последнего, я пережил смешанное чувство негодования и печали. Как и остальные, Фейвиш проклинал алчных капиталистов, которые пьют кровь рабочих. Я чувствовал, что краснею. Мой отец пьет кровь? Мой отец? Я поднял руку и попросил слова.

— Ты врешь, Фейвиш! Мой отец мягкий и добрый человек. Он работает больше и дольше тебя и любого другого. И он делится с вами тем, что заработал сам. Он дает, он любит давать. И ты это прекрасно знаешь. Ты знаешь, что мы никогда не садимся за Субботнюю трапезу, не пригласив к столу бедных. И после молитвы отец обходит все синагоги, чтобы удостовериться, что ни один бродяга или нищий не остался без крова и еды. И каждую среду у нас во дворе устраивают кухню для всех нищих Лиянова или для голодных путников. Ты это знаешь лучше кого-либо, Фейвиш. Так почему же ты клеветешь на него? Это и есть ваш коммунизм? Злоба и ложь?

На обратном пути Эфраим старался выправить положение:

— Это я виноват. Мне не следовало сводить вас с Фейвишем.

— Не это огорчает меня, — сказал я, снова испытывая горечь. — Суть в том, что Фейвиш лжет, а ты поощряешь его. Говорит ли он неправду в моем присутствии или когда меня нет, ничего не меняет по существу. Факт остается фактом. А если Фейвиш лжет, то и другие товарищи тоже, возможно, лгут. В этом и состоит сущность вашей коммунистической *правды*?

— Ты взбешен, я понимаю, — сказал Эфраим, — но ты преувеличиваешь. Не воспринимай обобщения кого-нибудь из товарищей как личную обиду. Коммунизм имеет ценность только как объективная система; индивидуализировать его — значит исказить.

Он был прав, но прав был и я. Я переживал за своего отца. А против Фейвиша я теперь затаил зло и уже никогда не разговаривал с ним больше. Было очень жаль, что я не мог выгнать его из дому: мне было трудно жить с ним под одной крышей. Моя мать знала о моей неприязни к Фейвишу, она часто смотрела на меня украдкой, как бы призывая признаться ей во всем. Догадывалась ли она о природе и тяжести моих преступлений? В глазах ее никогда не было ни тени по-

рицания. Даже в тот день, когда я пришел сказать ей, что собираюсь за границу, она печально посмотрела на меня, но не произнесла ни единого слова неодобрения.

Я уже достиг призывного возраста, но не имел не малейшего желания стать солдатом Его Величества короля Великой Румынии. Поэтому мы с Эфраимом сговорились убежать и отправиться за границу: в Берлин, Париж и, если на то будет воля Божья, — в Москву.

— Когда ты уезжаешь? — спросила меня мать, бледная.

— Через несколько дней.

— А отец знает?

— Нет, я поговорю с ним сегодня вечером.

Она покачала головой: "Постарайся не доставлять ему слишком много горя". На что она намекала? Я откашлялся и спросил ее об этом. Она ответила вопросом, который, казалось, не имел к моему никакому отношению: "Где твои тфилины?"

— Мои филактерии в Доме учения.

— Ты не забудешь взять их с собой?

Сам факт, что она задала мне подобный вопрос, подтвердил мне, что она догадывалась о моей тайной жизни: я все еще выполнял основополагающие предписания Торы, еще исповедывал нашу религию, еще изучал священные тексты, но я уже уезжал от них. Мой отъезд означал неизбежный и бесповоротный разрыв — и моя мать понимала это.

— Ты что, всерьез думаешь, что я перестану быть евреем, когда уеду?

— Нет ничего невозможного, сынок. Вдали от родителей с тобой может случиться все что угодно. Вот почему я говорю тебе сейчас: что-бы побороть злой дух, помни своих родителей.

Она знала — моя мать знала. Она знала, что нам предстоит долгая разлука, но она сумела не показать своего горя. Я помню этот разговор, как будто это было вчера. Мы были на кухне. Мать раздвигала стол и ставила приборы. Она улыбалась, этой улыбкой я никогда прежде не видел на ее лице, она расстроила меня, мне хотелось просить у нее прощения, но я не попросил. Не знаю почему.

В этот вечер отец пришел домой позднее обычного и вместе с Фейвишем.

— Я хотел бы поговорить с тобой, отец.

— Сейчас, — ответил он, — я еще не прочел маарив.

Фейвиш выглядел испуганным, он боялся, что я выдам его, и вышел, оставив меня на кухне вдвоем с матерью.

— Не скрывай ничего от отца, но не огорчай его. Скажи ему, почему ты должен уехать. Скажи, что получил повестку и должен прибыть на призывной пункт на следующей неделе; скажи, что ты и я, мы оба считаем, что не следует тратить несколько лет на службу в ар-

мии, где ты не сможешь блюсти еврейский закон — но не говори об остальном.

О да, она знала. Она знала, что я переменялся и изменюсь еще больше.

Мой отец пришел к нам на кухню.

— Пойдем в гостиную, — сказал он мне.

Я пошел за ним. Он взял свои любимые комментарии к Библии и положил их на стол перед собой; он никогда не расставался с ними. Даже в магазине он держал их перед собой на прилавке.

— Ну, я слушаю тебя, — сказал он, садясь.

В нескольких словах я ввел его в курс дела. Он выглядел опечаленным, но не удивленным. Слушая меня, он рассеянно листал книгу. Мы уже не раз обсуждали с ним проблему военной службы. Режим был продажным, и за взятку можно было получить освобождение или даже нанять себе замену. Но такое решение было для него неприемлемым. Подкупать кого-нибудь было еще хуже, чем быть продажным самому, говорил он мне твердо. Оставалась только одна возможность — бежать за границу и выждать там до первой амнистии.

— Когда ты думаешь ехать?

— Через несколько дней. В начале следующей недели.

— Ты поедешь сначала в Бухарест?

— Да, на день или на два. Только чтобы выправить необходимые документы, а потом поеду в Вену или в Берлин.

— Тебе кто-нибудь помогает? Кто он?

— Эфраим и его друг, — ответил я.

Отец сидел, положив правую руку на открытую страницу книги, погруженный в свои мысли. Где он был? С каким предком он мысленно беседовал? Когда он снова заговорил, это звучало так, будто он вернулся откуда-то издалека:

— У меня трое детей. Ты — мой единственный сын. Ты прочтешь Кадиш по мне? Ты ведь останешься евреем, правда?

Боль, прозвучавшая в его голосе, поразила меня. Значит, он тоже знал, что происходило!

— Конечно, — произнес я, заикаясь, — конечно. Почему — почему ты спрашиваешь меня об этом?

Он сидел, не поднимая глаз от раскрытой книги, непрерывно поглаживая ее рукой, и этой позой давал мне понять, что я зря скрывал от него свою деятельность в последние месяцы. Он отнюдь не был одурочен. Он давным давно понял, что Эфраим и я заняты нелегальной деятельностью. Он не вмешивался только из уважения ко мне. Тем более, что там, где речь шла о моих религиозных занятиях и обязанностях, ему не на что было пожаловаться.

— Ты надеешься изменить природу человека? — сказал он. — Очень хорошо. Ты хочешь переделать общество. Великолепно. Ты надеешься



искоренить зло и ненависть. Замечательно. Я полностью согласен с тобой.

Он говорил медленно, с большим усилием; я слушал, затаив дыхание, забыв обо всем на свете. Вдруг он переменял тему:

— Ты помнишь Барассы?

— Да, папа, помню.

— А погром?

— Я все еще чувствую запах затхлости, вижу тьму, помню ужас тишины.

— А похороны — ты помнишь их?

— Они останутся в моей памяти до конца моих дней.

— Гробы...

Картина эта не поблекла. Черные гробы, убитая горем толпа, трое мужчин в черном с ящичками для сбора денег.

— Те трое синагогальных служек, что шли впереди гробов и кричали "Цедака татцил мимавет" — Милосердие спасет вас от смерти. Что они хотели сказать? Какая странная мысль! А что если человек заберет себе в голову раздать свое состояние нуждающимся, что если день за днем, вечер за вечером он станет подавать милостыню — означает ли это, что он никогда не умрет? Значит, таким образом, богатые, вдобавок к своим деньгам получают еще и уверенность в бессмертии? Конечно же, нет. Это увещевание означает нечто иное: помогая бедным, заботясь и прислушиваясь к тем, кто в нас нуждается, мы только пользуемся дарованной нам привилегией прожить отведенную нам жизнь, прожить ее в полной мере. Зато как же велика эта привилегия! Без нее мы не чувствовали бы себя живущими. В этом смысл данной формулы: милосердие уберегает человека от смерти... до его смерти! Это тебе мой прощальный подарок, сынок. Теперь ты понимаешь, почему я не положил конец тому, что ты делал? Я не знаю твоих друзей-коммунистов, вроде Эфраима. Но я знаю одно — их цель сократить число несчастных в мире, и только это важно, это единственное, что имеет значение. Говорят, что они восстают против Господа. Об этом пусть позаботится Он сам. Важно, что они борются за тех, кто не имеет ни сил, ни средств бороться за себя.. Главное, чтобы ты был чувствителен к страданиям других. Пока ты будешь продолжать бороться с несправедливостью, защищать страдальцев, даже если они жертвы самого Бога, ты будешь чувствовать себя живым, живущим, иными словами, ты будешь чувствовать в себе Господа, Бога твоих отцов, Бога твоего детства. Ты будешь носить в себе любовь человеческую и Божью. Настоящая опасность, сынок, это равнодушие.

Никогда прежде отцу не случалось преподать мне так много в столь немногих словах. Мои глаза были прикованы к его руке, гладившей пожелтевшую страницу книги. Я должен был сделать усилие, что-

бы не поклониться и не поцеловать эту руку, как я делал это обычно в Судный День.

— Сказав тебе это, — продолжал отец, — я должен просить тебя запомнить одну только вещь и помнить ее всегда: ты — еврей, прежде всего, еврей; и ты станешь помогать человечеству как еврей. Если же ты будешь заботиться о других в ущерб своим братьям, то неизбежно в конце концов отвергнешь всех. Если хочешь, можешь считать это моей предсмертной волей, моим завещанием.

Он замолк. Рука его неподвижно покоилась на открытой книге:

— Обещай мне, что останешься евреем. Обещай мне каждое утро надевать филактерии.

— Обещаю.

— Старайся не есть свинины. Не оставляй своих религиозных занятий. Отмечай праздники. И ты будешь соблюдать пост в Судный День, это я знаю.

Его убежденность растрогала меня. Как мог он быть так уверен? На следующей неделе я буду уже в столице, затем в другом городе, потом в третьем; я встречу новых людей, услышу новые речи. Возможно, я отрекусь от себя, отрекусь от него. Откуда ему знать, что я буду делать?

Он закрыл книгу и вынул платок. Больше он не сказал ни слова. Молчал и я. Потом мы пошли на кухню к матери. Она улыбнулась нам, она была рада видеть нас хоть и понурыми, но примиренными.

Неделя и пролетела слишком быстро, и тянулась слишком медленно. Я должен был подготовиться к своему путешествию и в то же время старался как можно больше быть со своими родителями. Наконец наступил день отъезда. Чемодан мой был собран, мне оставалось только взять его. Конверт с банкнотами ждал меня на столе. В кухне мать готовила чай. Мы пили его стоя, обмениваясь тривиальными фразами, переполненные сдерживаемой нежностью: Будь осторожен. — Я буду осторожен. — Не забывай поесть. — Не забуду. — Писать будешь? — Буду. — Скажи Маше... детям... Голде... ее жениху... Объясни, что...

Никогда прежде я не испытывал такой близости к своим родителям, столь беспомощным и безоружным перед собственным сыном, перед жизнью вообще. Никогда прежде я не любил их так сильно. Если это преступление, гражданин следовательно, то я признаю себя виновным в нем. Виновным в любви к своим отцу и матери, двум добрым, справедливым людям, искренним и честным, которые, тем не менее, принадлежали к проклятому среднему классу; они верили в Бога и исповедывали религию предков. Они были чистыми идеалистами, хотя и не были коммунистами. Я признаю себя виновным в том, что любил их больше, чем наших обожаемых вождей, больше всех на свете — я виновен в том, что все еще люблю их, и в тысячу раз сильнее, в шесть миллионов раз сильнее, чем при их жизни.

Отец напомнил мне, что пора идти; надо прощаться. Я проглотил комок. Где-то плакал ребенок, наказанный матерью.

— Разумнее будет, если ты поедешь на станцию без нас, — сказал отец, — лучше не привлекать внимания.

Он был прав. Среди нас не было недостатка в доносчиках. Эфраим понесет мой чемодан, а я пойду рядом, как будто это он едет провести неделю-другую с ребе из Вардейна.

Я поцеловал руку матери, потом отцу. Сердце мое колотилось. Я был рад, что в это время пришел Эфраим. "Без слез, Палтиель", — скомандовал он тихо. Я быстро вышел. Стыдно плакать, когда ты уже достаточно взрослый, чтобы носить военную форму, и достаточно сильный, чтобы отправиться на войну против сил зла во имя красоты, справедливости и человечности — иными словами, во имя революции.

Тысячи бликов золотого и медного цвета плясали на деревьях, окаймлявших улицу. Прохожие приветствовали друг друга, щебетали птицы, тени набегали одна на другую, толкались дети. Предчувствия теснились во мне. Я медленно шел, прилагая все силы, чтобы не повернуть назад. Я ясно видел горящий взор отца и опущенные глаза матери. У меня было чувство, что, не двигаясь с места, оба они идут впереди, и до самого конца будут следить за мной.

Знал ли я, что никогда больше их не увижу?

— Говорят, с тобой случилась беда, — сказал ему ночной сторож Зупанев. — Они вынуждены были отправить тебя в больницу. Ты не плакал. Bravo, маленький Гриша. Мне это нравится. Ты умный мальчик и храбрый к тому же. Пойдем со мной, поговорим. Ох, я знаю — ты не можешь говорить. Неважно. Мы все-таки поболтаем. Пойдем ко мне, там нам будет удобнее. Ты меня не знаешь? А я тебя знаю. Такая у меня работа: я всех здесь знаю, знаю, что происходит в каждой квартире, в каждой семье. Я знаю твою мать, твоих соседей. Я знаю и того, которого ты ненавидишь, и поверь мне, я тоже ненавижу доктора Мозляка. Странный врач... Ну, ладно, пойдем. Нам вольготнее будет побеседовать у меня дома. Как я сумею понять тебя, раз ты немой? Не беспокойся, я справлюсь. Я научился понимать слова, которые люди оставляют недосказанными, читать то, что человек обещает себе никогда не произносить вслух, а думает только про себя. Просто заставь себя поверить, что ты говоришь со мной, а я уж тебя услышу. Поверь, что ты разговариваешь, и ты заговоришь. Ты веришь мне?

ДА, ГРИША ВЕРИЛ ЕМУ, и они стали друзьями, наперсниками, союзниками. Грише нужен был отец, а Зупаневу — сын.

Впервые они встретились летом, вечер был невыносимо жарким. Красноград едва дышал. Малейшее движение требовало усилий. Даже мухи и комары жужжали с ленцой.

Раиса ушла купаться с Мозляком. Один в комнате, Гриша был преисполнен жалости к себе. Он поссорился с Ольгой, своей одноклассницей. А кроме того, немота сделала его еще более одиноким. В четырнадцать лет он чувствовал себя загнанным, разбитым и готовым к новой беде.

Чтобы наказать свою мать? Но Мозляк очень скоро утешит ее. С этим можно подождать. Завтра, на следующий год.

Он поднял с полу газету: нечего читать в ней. Взял книгу с ночного столика: скучища. Он листал страницы, не задерживаясь ни на одной строчке; он даже не понимал, о чем был этот роман, написанный самым известным из модных теперь писателей. Он собирался сходить за стаканом воды, когда кто-то постучал в дверь. На пороге стоял маленький лысый мужчина.

— Можно?

Гриша утвердительно кивнул.

— Я увидел тебя и сказал себе... Прости, я не представился: я —

Зупанев, Зупанев — ночной сторож. Можно мне сесть?

Гриша указал ему на стул и жестом спросил, не хочет ли он пить.

— Нет, спасибо. Я просто пришел поговорить. В это время никого нет во всем доме. Все отправились купаться или в парк. Тебя беспокоит мой приход?

Гриша покачал головой. Ничего не беспокоит его, ничего не раздражает, ничего не радует.

— Ты не хочешь пойти ко мне? Там нам будет удобнее, — сказал сторож.

Гриша рассматривал его. Этот человек говорит, что он сторож. Почему же тогда я его никогда не видел?

Зупанев догадался, о чем он думает:

— Ты, наверное, тысячу раз проходил мимо меня, но никогда не обращал внимания. Тебя это удивляет? Но со мной всегда так — я не привлекаю внимания. Я человек-хамелеон или что-то в этом роде. Я сливаюсь с окружающим. Во мне нет ничего, притягивающего внимание. Все во мне так обыкновенно, что люди смотрят на меня, не видя. Но я их вижу. Ведь это обязанность сторожа — наблюдать.

Сколько ему могло быть лет? Шестьдесят? Больше? Меньше? У него не было возраста. Еще ребенком он мог иметь то же круглое бесцветное лицо, те же блеклые невыразительные глаза. Он прав — с его покатыми плечами, лысой головой и тяжелой походкой он едва ли вызывал интерес к себе. Черты его лица были так стерты, что взгляд скользил, не останавливаясь, с его лба к глазам, от глаз к носу, с носа на губы, и ни единая морщинка или черточка не задерживала взора. Анонимность.

— Пойдем, мой мальчик, — сказал Зупанев. — Я буду говорить за двоих. Я расскажу тебе кое-что, чего ты не знаешь, а должен знать.

Они спустились вниз, на первый этаж. Зупанев открыл дверь, пригласил Гришу войти, предложил ему стакан лимонада, который Гриша пил маленькими глотками, разглядывая комнату. Койка, стол, два стула, сундук, книжная полка с несколькими книгами, названия которых быстро пробежали молодые глаза. Шок: одна из книг была "Я видел во сне своего отца" — сочинение отца Гриши.

— Что такое, мальчик, что случилось?

Он увидел, как Гриша смотрел на книжную полку.

— А, понимаю! Сборник стихов. Ты удивлен. Но почему? Разве я не вправе любить поэзию? Она на идиш, так что? Я понимаю идиш.

Он снял книгу с полки и открыл ее наугад; это было стихотворение "Искры". Он начал неуверенно читать; Гриша готов был расплакаться. Столько вопросов мелькало у него в голове: Кто ты, Зупанев? Как к тебе попала эта книжка? Сколько времени ты уже работаешь здесь сторожем? Знал ли ты моего отца?

Казалось, Зупанев понял его.

— Когда-нибудь я расскажу тебе больше. Ты придешь опять. Я расскажу тебе все; тебе надо все это знать.

Он резко опустил свою лысую голову, как будто хотел вдавить ее в грудную клетку. Чтобы спрятать свою боль? Гришу вдруг охватило невыразимое беспокойство.

Зупанев сдержал слово. Его рассказам не было конца. Зачарованный Гриша слушал его, не пропуская ни единого слова или интонации; если бы обо всем этом ему рассказывал сам отец, Гриша не мог бы слушать с большим вниманием.

Кем был Зупанев? Почему он не видел его прежде? Что он делал в свободное время? С кем встречался? Кто сообщал ему обо всем? И кому сообщал он?

Позднее Гриша понял, что его друг никогда не открывал свою душу. Он говорил о других, избегая рассказывать о себе.

— Давид Габриэлевич Биламер — это имя говорит тебе что-нибудь? — шептал Зупанев. — Писатель, большой писатель. Еврей, коммунист, друг важных шишек. Слушай: однажды вечером его вызывают в Кремль; он приходит рано. Его принимают вежливо, приглашают в приемную, просят подождать. Он так напуган, что его тянет по нужде, но двери, к сожалению, заперты, и нет никого, чтобы открыть их. Случается неизбежное: он мочится в штаны. В это время открывается дверь и чиновник просит его следовать за ним: Он ждет вас. И вот они оказываются перед ним — самим Сталиным. Какой кошмар, думает Биламер, они убьют меня. Он чувствует у себя на спине огромную ледяную руку. И вдруг слышит знакомый голос: "Товарищ, я хотел сказать вам лично, как мне понравилась ваша статья о мифах в литературе". И вот Биламер снова оказывается в коридоре и потом на улице, где у него от ветра перехватывает дыхание.

Болезненная улыбка, скорее, гримаса появляется на лице Зупанева, он замолкает на минуту, прежде чем перейти к кульминации своего рассказа: во время кампании против космополитов Биламер был арестован. Его обвинили в несоблюдении приличий и в оскорблении Главы партии. И конечно, он был расстрелян.

Откуда Зупанев все это знает? — недоумевал Гриша. Но сторож знал еще гораздо больше. Целая процессия людей, знаменитых и никому не известных, обыкновенных и необычных, проходила в его рассказах. Гриша уже мог отгадать, о каком человеке пойдет речь, глядя на правую руку своего собеседника: если он поглаживал стакан с чаем, значит, собирался говорить о людях презренных; если крутил в руке сигарету, значит, будет говорить о замечательном человеке.

— Ты знаешь историю Макарова? — спросил Зупанев однажды вечером, вынимая из внутреннего кармана свое курево. — Нет, пожалуй, ты слишком мал для этого. Ах, Макаров! Огромный как бык, доб-

рый как овца, он и вправду верил в то, что историю можно пришлопить. В этом и состоит революция, верно ведь? Век за веком ничего не меняется, а потом вдруг падают горы и все происходит мгновенно. Вместо того чтобы тратить время на приобретение специальности или на ухаживание за женщиной, Макаров вступает в партию и вот он уже на высоком посту, прошу прощения — на очень высоком посту. Он перешагнул через несколько рангов, сам того не подозревая. Поздравляем, Макаров. К тому же он и работник прекрасный. Слава не вскружила ему голову, он по-прежнему скромен, стиль жизни его не меняется, он продолжает бывать у старых друзей, пьет с ними и даже позволяет себе защищать их своим авторитетом. И вот в одно прекрасное утро происходит его падение, такое же мгновенное и непредвиденное, как и взлет. Однажды ночью его вытаскивают из постели; он сопротивляется, протестует; ему говорят: “Потом. Все это вы скажете потом”. У следователя он разгневанно кричит, грозит пожаловаться в высокие инстанции. А следователь смеется ему в лицо: “Какие же инстанции выше тебя, идиот!” И он переходит прямо к существу дела: “Мы знаем, что вы верны партии. Но вам поручено особое задание, его можете выполнить только вы”. Он сообщает ему некоторые подробности: говорит ему, что речь пойдет об Антонове. “Антонов должен быть полностью разоблачен. Он ваш друг с детства, мне это известно, и потому никто лучше вас не может сорвать с него маску”. — “Но в чем его обвиняют?” — “Он принадлежит к банде Зиновьева”. — “Это невозможно! Я знаю Антонова так же хорошо, как себя. Я поручусь за него. Вы никогда не заставите меня поверить, что мой друг Алексеич, Антонов, предал рабочий класс. Ведь он отдал ему всю свою жизнь. Вам никогда не заставить меня назвать его врагом партии, после того как он проливал свою кровь за торжество нашего дела”. Макаров начинает кричать — его отправляют обратно в камеру. Допрос повторяется десять раз, сто раз. Применяются обычные методы — напрасно. Вызываются специалисты — впустую. Тогда следователь взывает к идеологии, патриотизму, диалектике, ссылается на конфликт между личной и общественной совестью, средствами и целями, самопожертвованием и коммунистическим идеалом. В течение всей своей речи следователь продолжает вертеть на столе острый черный карандаш. Макаров не может отвести от него глаз — и это его спасает. Он отвечает: “Моя жизнь и мое сердце принадлежат партии, но я стану себе мерзок, если уничтожу своего лучшего друга, я буду недостоин партии”. — “Короче, вы отказываетесь выполнить приказ партии?” — “Отнюдь. Партия требует от нас правды, и я говорю правду”. — “А если партия утверждает одно, а вы — другое, кто же прав?” — “Партия”. — “Послушайте, партия осудила Антонова, партия объявила его виновным. А вы заявляете, что он невинен!” — “Это невозможно! Партия не может заклеймить моего друга Антонова, потому что Партия не может лгать!” Следователь разгневан. Макарова,

не интеллектуала, мало заботила логика. И — этот случай уникален в анналах — дело не завершилось расстрелом. Десять лет тюрьмы вместо пули в затылок, приказ на которую уже получил “джентльмен из четвертого подвала”. Почему такой необычный ход вещей? Просто ни Макаров, ни Антонов ни разу ничего не подписали. Их досье валялись незакрытыми так долго, что в конце концов боги поменяли как орудия, так и жертвы.

Удивление Гриши растет. Откуда Зупанев черпает все эти истории? Знал ли он лично героев, о которых рассказывает?

— В один прекрасный день, — продолжал Зупанев, — Макаров и Антонов встречаются во дворе тюрьмы. Они бросаются друг другу в объятия. “Как тебе удалось выстоять?” — спрашивает Макаров. “Очень просто. Они пытались убедить меня, что я должен сознаться для блага человечества. На что я отвечал: “Как я смею сделать что-то для блага человечества, если для этого я должен стать предателем? Это было нелегко. Допросы шли непрерывно. Но ты видишь — я здесь. А как тебе удалось устоять?” — “О, это было еще проще: я не сводил глаз с карандаша следователя, повторяя себе, что я не карандаш, человек — не карандаш...”

О да, этот сторож знал многое. О тюрьмах и долгих пытках, о судьях и клоунах — как будто он заставил открыться потаенные двери, чтобы воскресить в памяти тайные события, о которых никто не смел говорить. Но почему он раскрывал все это своему юному другу? Откуда у него доступ к запрещенной памяти целого народа, который заставляет молчать? Что видят его ничего не выражающие глаза, когда он вдруг усмехается посреди фразы? Зупанев часто усмехался, он усмехался постоянно, издавая звуки, готовые перейти в смех. Он качал головой, облизывал губы, производил руками движения, обрисовывающие странные формы, и потом издавал насильственный гогот: “Ха, ха, ха, ты понимаешь, что я хочу сказать?” Гриша понимал не всегда, но слушал.

Иногда голова у него шла кругом. “Тюремный мир — это как мир иной, — говорил Зупанев. — В нем ничего нельзя понять, все кажется ненастоящим. Часто осужденные оказываются рядом со своими судьями. Прокуроры и узники, палачи и пытаемые, лже- и истинные свидетели, все они оказываются там, вперемешку, превращенные в недочеловеков...”

Гриша и Зупанев встречались часто. Для Гриши жилище сторожа стало прибежищем, которым не могли завладеть ни его мать, ни доктор Мозляк.

— Кто же ты, сторож? Из какой тюрьмы ты родом? На скольких языках ты говоришь? И почему ты говоришь со мной? Почему ты учишь меня идиш? И почему тебе так важно, чтобы я услышал твои рассказы?



— Я рассказывал тебе историю Герша Талнера, историка? В камере он продолжал заниматься своей историей; ему запрещали писать, и он обычно повторял — иногда громко, иногда шепотом — то, что он хотел бы поведать бумаге. Однажды ночью случилось чудо: кто-то подбросил ему огрызок карандаша и лист белой бумаги. Попробуй представить себе это, мой мальчик, просто попробуй представить: наконец он напишет свое “Я обвиняю”, и оно останется записанным навечно. Ему так много надо сказать, слишком много для одного листа. Как он может поместить на двух его страницах все кошмары и агонию целого поколения? Схватившись обеими руками за голову, он думает; это хуже пытки. Его память перегружена: слишком много событий, слишком много образов. Как передать их в словах, не исказив их сути? Осознавая свою миссию, он тщательно взвешивает факты: измученные лица, разбитые тела, признания и отрицания, свидетельство мертвых и мольбы умирающих; он опрашивает их, советуется с ними, судит их: кого он должен спасти от забвения? Рассветает; он не написал еще ни одного предложения. И тут, охваченный паникой, он разразился рыданиями; значит, историк не справится со своей задачей? Он плачет так тяжело, что надзиратель входит в камеру и забирает карандаш и бумагу. Миссия не состоялась, уникальная возможность утрачена. Позднее историка снова приводят на следствие. В слабо освещенной комнате суда кто-то, увидев его, подавляет крик: рыжие волосы Герша Талнера стали абсолютно белыми. Ты можешь понять это, мой мальчик? Один лист чистой бумаги превратил его в старика.

Глаза сторожа увлажнились, и Гришины — тоже. А мой отец? — размышляет мальчик. Он тоже состарился? Знает ли это сторож? Кажется, что Зупанев знает все.

— Послушай, мой мальчик, — обратился к нему Зупанев своим монотонным голосом, возвращая его назад в его время, в его собственный мир, где люди молятся и теряют надежду по одним и тем же причинам. — Постарайся понять то, о чем я рассказываю тебе. Каждое поколение формирует свою собственную правду. Кто расскажет о нашей правде, если очевидцы ее были уничтожены? — Он замолчал и снова начал, гримасничая. — Я знаю кто. Безумные историки, парализованные акробаты. И знаешь, кто еще? Я скажу тебе: немые ораторы. Да, мой мальчик, немые поэты будут громко кричать о нашей правде. Ты готов?

Подросток смог только кивнуть: конечно, готов. Я хочу быстро повзрслеть.

## ЗАВЕЩАНИЕ ПАЛТИЕЛЯ КОССОВЕРА

### 4

БЕРЛИН 1928. МНЕ БЫЛО ПОЧТИ ДЕВЯТНАДЦАТЬ, и жизнь моя была прекрасна. Мир, меня окружающий, рушился, но меня это не волновало. Напротив: я чувствовал себя живым и, как говорится, жил припеваючи.

Я начал писать стихи, много стихов. Они не многого стоили, и теперь я не люблю их; я предпочитаю те, что написал позднее, здесь, в тюрьме. Но тогда мне было важно что-то делать, как-то выражать себя, высказать то, что я думал о людях, что чувствовал к ним — не ко всем людям, разумеется, не к промышленным магнатам, кичливым и низким, а к их несчастным рабам, к бедолагам, как я сам — а таких было множество.

Жизнь — смешная штука. Хотя домохозяйки уже не ходили за покупками с чемоданами, набитыми банкнотами, а торговцы не возвращались домой, катя перед собой тачки, полные денег, бедняки по-прежнему были бедными и голодными.

Я отдавал. Я продолжал отдавать, сколько мог, временами меньше, как правило — много. Сумма, которую я привез с собой из Лянова, все еще оставалась целым состоянием. В сравнении с моими новыми друзьями я был Ротшильдом. В сравнении с Ротшильдом я безусловно был... Но с какой стати мне сравнивать себя с Ротшильдом? В то время это было модным. Люди обыкновенно говорили: "Ох, если бы я был этим" или "если бы я был тем". У меня это вызывало смех. Однажды я ответил цитатой из раввина Зусии, знаменитого ученого хасида, который, бывало, говорил своим друзьям и ученикам: "Когда я предстану перед небесным трибуналом, ангел-обвинитель не спросит меня: "Зусия, почему ты не стал Моисеем?" или "Зусия, почему ты не стал Авраамом?", или "Зусия, почему ты не сделался пророком Иеремией?" Нет, он спросит: "Ну, Зусия, почему ты не стал Зусией?".

В ответ мои новые друзья смеялись надо мной: "Ну вот, теперь ты цитируешь раввинов? Здесь? Что с тобой, бедный наш Зусия?"

Все они принадлежали к той фантазмагорической среде Берлина, где интеллектуальные и артистические шуты, политические и антиполитические деятели порхали по жизни от одного занятия к другому, от одного любовника, любовницы или духовника к другим.

Мы встречались в кафе Шез Блюм в Новом Парнасе или в других

клубах и шумели, предаваясь порывам исступленного, но деланного восторга, ссорились до драк, но и мирились в тот же день. Мы обсуждали Версальский договор, Розу Люксембург, безумие Ницше и склонность Платона к гомосексуализму. Политика, современная литература и философия, теории искусства или коммунизма, фашизма, пацифизма — мы говорили непрерывно. Мы пьянели от слов, неизменно одних и тех же: прогресс, преобразования, реализм, пролетариат, святое дело, дело, которое ставило под сомнение все другие дела.

Я был счастлив, мне не стыдно в этом признаться. Т. е., я был счастлив, как и все вокруг. В Берлине 1928 года даже самые несчастные были счастливыми.

Счастливыми? Я преувеличиваю, конечно. Скажем, я был в хорошем настроении. Это было веселое время, и мы развлекались. Мы жили в самый разгар фарса. Тон задавали кабаки, юмористы и карикатуристы: тот, кто не смеялся, был осмеян сам.

Потерпевшая поражение Германия производила впечатление страны, где все было дозволено, нельзя было только воспринимать себя всерьез. Идолы были повергнуты, священнослужители лишены сана, святые осмеяны, а чтобы можно было смеяться, смех был освящен.

Мои друзья считали себя коммунистами, одни больше, другие меньше, или хотя бы попутчиками. Они приняли меня в свой круг благодаря Бернарду Гауптману, всемирно известному эссеисту и специалисту по средневековой поэзии, которому Эфраим написал о моем приезде. Где они встречались? Были ли у них общие друзья или воспоминания? Непохоже, немислимо. Эфраим в своем кафтане и Гауптман со своим фуляровым платком были такими разными. И все же ученый принял меня дружески.

— О, так вы тот самый, кого дорогой Эфраим прислал нам из Лянова? Добро пожаловать! Вы нужны в Берлине.

Насмехался ли он надо мной? Он взял мой чемодан и отнес его в мою будущую комнату. — Проходите, — сказал он, — чашка плохого кофе — это как раз то, что вам нужно. И небольшой бутерброд к тому же, я полагаю.

Мы пили кофе в гостиной. Гауптман, одетый с такой элегантностью, будто собирался в оперу, оглядывал меня с головы до ног. — Ваши пейсы, — сказал он минутой позже. — Я вижу их или, вернее, вижу следы их. Правильно, что остригли.

Я покраснел. В Бухаресте, прежде чем сесть в поезд, я зашел в привокзальную парикмахерскую:

— Как вас подстричь?

— Ну, модно, очень модно.

Несколько движений ножниц, и я уже больше не выглядел евреем, т. е. религиозным евреем. Я знал, что отец не увидит меня уже, но все-таки чувствовал себя виноватым — я предавал его. Но ведь у меня

не было выхода, отец; не мог же я выйти из поезда в Берлине с бородой и пейсами, в кафтане и в черной меховой шапке. Я ехал на чужбину не для того, чтобы отстаивать еврейскую ортодоксию или углублять свои знания рабби Шимона бар-Йохая.

— Что, так заметно? — спросил я смущенно.

— Нет, нет! Пейсы ваши незаметны, просто это я их вижу. Забудьте о них, дорогой путешественник из Лянова. Увидим скоро, что возьмет верх над вами — Берлин или Лянов.

Проницательный и красноречивый, Бернард Гауптман с самой ранней юности был предан целиком поглощавшей его страсти — отворачивать молодых религиозных евреев от их веры — на осуществление этого он тратил все свое состояние, время, интеллект. Со мной задача эта оказалась и простой, и сложной. В теории я охотно воспринимал его марксистское атеистическое влияние, но на практике сопротивлялся; я не забыл обещания, данного отцу. Результат был довольно странным: вечером Гауптман вел меня слушать громовые речи Хаима Варшавера против Бога, а назавтра утром я навязывал мои филактерии и молил Бога защитить меня от Его врагов и благословить меня жаждой к знаниям и к божественной истине, а главное — восстановить святой и вечный город Иерусалим в Иерусалиме.

Откуда такое раздвоение личности? Из верности Моисею? О, нет — я и не думал о Моисее; я покинул его в пустыне. Но я тосковал по моим родителям. И детский голосок нашептывал мне на ухо, что если я перестану навязывать филактерии, они будут наказаны — так рисковать я не желал. Разумеется, Гауптман высмеивал меня и по логике вещей он не был так уж неправ. В его глазах я был образцом человеческой слабости, которая стоит на пути личности к ее спасению; мои давние привязанности делали меня чуждым ему, я был недостойн его дружбы. Я чувствовал себя виноватым и перед ним, и перед моим отцом. Этот конфликт во мне углублялся. Не в силах справиться с ним, я собрал все свое мужество, чтобы бежать. Я переехал на улицу Азилум, в комнату на чердаке, где мог молиться и петь, как хотел, без того чтобы объясняться и защищаться.

Однако Гауптман с цепкостью полицейского, хотя и дружелюбно, не выпускал меня из виду. В кафе Шез Блюм или на сборищах с нашими закадычными друзьями он часто дразнил меня. Я помню один случай в кафе:

— Ну как, господин рабби? Беседовали ли вы сегодня с вашим Богом? Что Он думает о нынешней ситуации? Не забываете держать нас в курсе дела.

Напуганный, я пожимал плечами. Я уже знал все его аргументы, доказывающие губительность власти религии, бесплодность отмерших ритуалов, парализующее действие наших обычаев и обрядов, равно как

и его идеи относительно опасного влияния пророков, мудрецов и праведников.

— Я предпочитаю не говорить на эту тему, — ответил я.

— Вы слышите? Он предпочитает не говорить об этом. И при этом он называет себя марксистом! Ну а как же диалектики — ты когда-нибудь слышал о них?

— Я не хочу обсуждать этого, — повторял я упрямо.

— Ты просто уваливаешь. Ты не желаешь видеть, не желаешь слушать, не выносишь, когда тебе противоречат. И ты считаешь себя интеллектуалом? Делаешь вид, что сочувствуешь коммунистической партии? Брось, Палтиель, ты все еще в Лиянове со своими слепыми, фанатичными, безграмотными евреями! Признайся, Палтиель. Признайся, что никогда не расставался с Лияновым, что по утрам и вечерам ходишь в си-нагогу, что ты восхищаешься отсталыми дураками, которые верят в чудотворцев! Признайся и перестань притворяться!

Он замолчал, чтобы перевести дыхание.

— Вам недостает понимания, Гауптман, — заговорил я срывающимся голосом, — и тонкости чувств. Вы вольны нападать на Бога и оскорблять учителей, но вы не смеете издеваться над их последователями, которым нужно хоть немного тепла и надежды. В чем вы обвиняете их, Гауптман? Они несчастливы в изгнании, они не читали книг, на которых вы вскормлены, они никогда не посещали школ, где вы преподаете, они даже не знают об их существовании. Разве это их вина? За чем же издеваться над ними, Гауптман?

— Ну что вы на это скажете, он и вправду любит их! — вскричал Гауптман. — Он страстно любит их. Что я вам говорил? Поезд ушел из Лиянова, а наш друг остался стоять на платформе.

Эти нападки на меня были встречены взрывом смеха. Как оратор, как полемист Гауптман не имел себе равных. Я должен был противостоять ему в одиночку. Я был один против всех них.

Нет, не совсем один.

— Идиоты! Над чем вы насмехаетесь? Вы, сборище испорченных пьяниц! Куда подевалось ваше чувство товарищества? Позор!

Потрясенный, я с трудом вернул себе самообладание. Кто-то вступился за меня? Я поднял глаза — это была Инга, подруга Гауптмана. Все молчали.

— Одно из двух. Либо Бог этих несчастных евреев существует, и в таком разе они правильно делают, что обращаются к Нему. Либо Его не существует, и тогда наш первостепенный долг проникнуться к ним жалостью и просветить их — они-то живые, существуют. По какому праву вы презираете их? С каких это пор марксисты презирают людей?

Все вокруг смотрели на нее недоверчиво, но покорно. Связываться с Ингой было рискованно: ни у кого, кроме Бернарда Гауптмана, не хватило духа на ответный выпад.

— Из тебя выйдет первоклассный талмудист, — пробормотал он, стараясь скрыть раздражение. — Если бы еще ты говорила на идиш, то свободно могла бы ехать с миссией в Лянов.

На этот раз его стрела пролетела мимо. Не знаю, была ли это их первая ссора, но она безусловно стала последней. Она определила их разрыв и возникновение новой пары. Инга — моя первая страсть, мое открытие любви, моя первая любовь. Я думаю о ней сейчас и улыбаюсь. Ей тогда было тридцать, может быть, чуть меньше. Достаточно красива — нет, самая красивая из женщин. Дя, я влюбился — как могло быть иначе?

Почему она выбрала меня? Был ли это материнский инстинкт, побудивший ее вступить за юношу, осмеянного злыми взрослыми? Все равно, я был ей благодарен. Я бы никогда не осмелился начать ухаживать за ней по собственной инициативе. Об этом уж Инга наверняка догадывалась. Инга, мой поводырь, мое первое пристанище, ангел и демон моей юности. Образованная, своевольная и в то же время женственная, она терроризировала людей: они боялись ее вспышек, ее язвительной находчивости. Что до меня, то мне нравились ее темные волосы, черные глаза, чувственные губы; при взгляде на нее я ощущал себя в первобытных джунглях, где все дозволено.

Мне нравилась небрежная, почти неопрятная манера, с которой она причесывала волосы и одевалась. Никому никогда не приходило в голову критиковать ее или делать ей комплименты. Никому не дозволено было судить ее. Она считала себя свободной и была ею. Таким был и я. С ней я проделывал то, что со всякой другой вызвало бы у меня отвращение. Ей достаточно было только взглянуть на меня, прикоснуться к моей руке или ко лбу, и все табу отменялись. Если кому-нибудь и удалось заставить меня забыть Лянов, так это ей.

Гауптман поведал мне позднее, что его бывшая любовница просто выполняла партийное поручение. Ей, по-видимому, было дано задание завершить мое политическое образование, которое, честно говоря, составляло желать лучшего. Может быть, и так. Был бы я меньше увлечен ею, знай я об этом? Факт, что я любил ее даже в те минуты, когда она пыталась обучать меня теориям Энгельса и компании. И мне думается, что она тоже по-своему любила меня. Она любила во мне мою невинность, мое невежество, полное отсутствие жизненного опыта. Она любила заставлять меня делать то, что было мне впервой.

Впервой...

Мы возвращались с политического митинга, где Бернфельд, со смешной маленькой козлиной бородкой, горячо защищал теорию революции Троцкого, которого он сам всячески копировал. Гауптман возражал ему. В вестибюле кафе Шез Блюм, где дым стоял коромыслом, напряжение нарастало, как в цирке, когда зрителям кажется, что акробат вот-вот сорвется и сломает себе шею. В воздухе носилась

ярость. Все друг друга перебивали, освистывали, оскорбляли: обе стороны были предельно возбуждены. И, заметьте, гражданин следовательно, я аплодировал Гауптману. Но когда мы принимались кричать, чтобы потопить в шуме ответы Бернфельда, мне это было не по душе. Я признаюсь: моя проклятая застенчивость в очередной раз помешала мне выполнить свой долг. Вместо того, чтобы оглушительно реветь вместе со своими товарищами, я выражал свое негодование, бормоча себе под нос одну лишь фразу: "Нет, нет, хватит". К счастью, мои товарищи были слишком заняты, чтоб видеть или слышать меня. И тут я почувствовал, что кто-то толкает меня в бок. Это была Инга; лицо ее пылало страстью, и было очевидно, что она наслаждается всем этим скандалом и, казалось, дирижирует им. Она крушила наших оппонентов, заставляя их признать свою неправоту, уничтожая их...

— Палтиель, громче! — скомандовала она. — Давай — громче!

— Я... я не могу.

— Ты что, немой? Кричи — это приказ. Кричи, вопи! Хоть как-то шуми!

— Я не умею, Инга, прости, но...

— Ты должен! Твое молчание — это акт саботажа.

Она сердито схватила мою руку и сжала ее с силой, с такой силой, как будто хотела сделать мне больно. Но я при этом испытал боль, смешанную с удовольствием. И был я так смущен, что уже не мог издать даже слабого звука. Бернфельд пел хвалу Льву Давыдовичу, Гауптман — Владимиру Ильичу, а Инга — самому Гауптману. Я же в этот момент сожалел, что уехал из дому, покинул своих родителей, мой маленький провинциальный городок, где мужчины и женщины не стали бы ненавидеть друг друга и драться из-за какого-то слова или имени. Инга продолжала сжимать мою руку, и у меня закружилась голова. Вместо того, чтобы подбодрить меня, Инга вызывала у меня слабость. Потом ее ладонь соскользнула к моей, наши пальцы переплелись, а то, что я почувствовал тогда, к делу не относится, гражданин следовательно. Я был, мы были в сердце вселенной. Желание, огненное, но и убажжающее, пронзало меня, обжигало, возбуждало. Инга продолжала кричать, а я продолжал молчать. Мои товарищи и их противники ссорились теперь из-за истории и назначения человека; они предсказывали потоки крови, победу или смерть во имя революции, а я способен был только ощущать свою собственную плоть и близость Инги. Я не смел взглянуть на нее из страха потерять. И из-за этой боязни потерять ее я подавил свой страх и свой стыд, погасил свое желание и принялся кричать громче и громче, как дикарь. Бернфельд так и не смог закончить свою речь; он проиграл битву, а с ним вместе проиграл ее и Троцкий. Я же в тот вечер открыл для себя те узы, какие могут существовать между революцией и женским телом.

Вместе с Гауптманом и всей остальной группой мы отправились

праздновать свою победу в Таверну Горбуна, где у нас еще был довольно устойчивый кредит. Я глотнул вина и тут же опьянел.

— Это от возбуждения, — говорил чей-то голос, — его первая баталия.

— Парень еще ничего не видел в жизни.

— Тебе плохо?

— Слишком много эмоций, — заметил Гауптман.

— Я неважно себя чувствую, — сказал я слабым голосом, — мне лучше пойти домой.

— Я тебя провожу, — твердо сказала Инга.

Гауптман пытался отговорить ее:

— Ты что разыгрываешь роль сестры милосердия? Честное слово, это не в твоём стиле, моя дорогая.

Инга метнула в него взгляд, полный такого презрения, что он тут же смолк. С большим трудом я встал со стула. Инга повела меня к выходу. Свежий ветер хлестнул меня по лицу. Я сладострастно дышал.

— Пойдем? — сказала Инга.

Она была сильна, мой ангел-хранитель, сильнее меня. Я не мог бы и мечтать о более надежной поддержке.

— Идем.

Что скажет моя хозяйка? Я храбро решил, что отложу заботу об этом до другого раза. Сейчас мне предстояло нечто более приятное. Опираясь на Ингу, насмерть перепуганный, я, как никогда прежде, с особой остротой реагировал на все окружающее. Мои глаза шарили по маленьким пустым улочкам, уши улавливали звук наших шагов, ноздри чужли множество затхлых запахов, шедших из закрытых ресторанов. Я чувствовал в себе расцветающий и манящий новый страх, страх перед познанием этого тела, тянувшего, подталкивавшего, мучившего и воспламенявшего мое собственное. Что скажет моя хозяйка? К дьяволу хозяйку. Но сама Инга — что скажет Инга, если... если я попрошу ее остаться у меня? А я — что скажу я, если она согласится?

Моя хозяйка не сказала ничего. Она спала, спал весь дом, вся улица, вся округа. Мы остановились у парадной двери. Я вынул ключ, но медлил открывать: открыть дверь как ни в чем не бывало и пригласить ее войти? Или пожелать ей доброй ночи, сказать “до свидания”, “до скорой встречи”? Решение за меня приняла Инга. Она взяла у меня ключ, сунула его в скважину и повернула.

— Какой этаж? — прошептала она.

— Четвертый.

Она уже потянулась к выключателю, чтобы зажечь свет на лестнице, но я остановил ее. Хозяйка, что скажет хозяйка, если мы разбудим ее? Не имеет значения. У Инги всегда были при себе спички. Пошли наверх. Тише, тише, сначала я, давай подниматься. Против своей двери я остановился. И снова Инга взяла ключ у меня из рук. Она нащупала



выключатель и зажгла свет. Беспорядок не отпугнул ее. Она сняла с меня куртку, ремень, расстегнула сорочку и без тени смущения сказала:

— Ложись!

Я смотрел на нее ошеломленный: что она хочет сказать? В постель, вот так просто, когда она рядом? Я, сын Гершона Коссовера, в голове которого все еще носились божественные заповеди, полученные на Синае, лечь в постель в ее присутствии и может быть, может быть?..

— Отдохнешь за ночь и придешь в себя, — произнесла она рассудительно. Она сбросила свое пальто и принялась раздевать меня дальше. Потрясенный и смущенный, я раздумывал над выпавшей мне ролью: воспрепятствовать или помочь ей? Закрывать глаза или смотреть на нее? Говорить или стоять молча? Прижать ее к себе или оттолкнуть? В голове моей проносились тысячи противоречивых мыслей. Что если она останется — сумею ли я справиться? А как потом, глупейший вопрос, такой глупый, что я готов был застонать: как я стану навязывать филактерии, если Инга будет в комнате или — Господи прости — в моей постели? К этому времени я уже лежал в постели. Один, пока один. Инга что-то делала в другом углу.

— Что ты ищешь?

— Электроплитку.

— У меня ее нет.

— Завтра я принесу тебе. Тебе бы надо выпить чашку чая. Или стакан молока.

— Но я не хочу пить.

— Правда, не хочешь?

— Не хочу.

Она в последний раз оглядела комнату, кровать. — Ладно, тогда я не буду мешать тебе спать.

Она подошла к двери и потушила свет. Я задержал дыхание. Спать? Я не хотел спать. Я страдал от разочарования. Ну вот, а я вообразил себе невесту что. Придумал все эти ситуации. Лиянов, подумал я — Гауптман прав. Я так и не уехал из Лиянова. Я все истолковал вкривь и вкось. Я — имбецил, деревенский дурень. У меня хватило наглости читать ее мысли... Сам виноват. Надо было попросить ее остаться и провести со мной ночь, сославшись на то, что я плохо себя чувствую и нуждаюсь в помощи. Ведь не мог же я ожидать, что она унижится до того, что предложит себя сама? Слишком поздно. Инга ушла и, возможно, навсегда; ушла женщина, которая возбудила меня настолько, что я испытывал настоящую боль. Ушла — вернулась к Гауптману.

Но странно, я не слышал, чтобы дверь открылась и закрылась снова... не так уж и странно... Инга! Рука Инги в темноте... рука Инги у меня на лбу... жгучее чувство... Абсурд, но я вдруг подумал о старом раввине из Дрогобыча. Что он здесь делает у меня в комнате, в Берлине? В последний раз я видел его у его брата в Барассах, я был тогда ребен-

ком. Он спрашивал меня о моей учебе и благословил, положив обе руки мне на голову. Тогда я тоже испытал это жгучее, обжигающее чувство... Видимо, Инга встала на колени, ее лицо трется о мое, дыхание смешивается с моим. Я болен, я дрожу, лихорадка сведет меня в могилу. Старый раввин из Дрогобыча говорит со мной о Боге, но Бог молчит; молчу и я. Инга тоже молчит, и ее молчание пронизывает мое. Я не смею пошевелиться или вздохнуть — да я и не могу дышать, легкие мне не подвластны; и губы тоже, они теперь запечатаны губами Инги. Так вот что такое любовь, говорю я себе. Мужчина и женщина любят друг друга, и присутствие старого раввина из Дрогобыча им не мешает. Два человека обнимаются, и их жизни летят в бездну. Мужчина и женщина переплетают тела, и человеческим мучениям положен конец. Это просто, так просто. Не надо слов, никаких сотрясающих мир планов: человечеству можно помочь значительно проще. Другие мысли, столь же наивные, носятся в моей голове, пока Инга учит меня целовать ее с нежностью. Инга искусна, проворна. Не отодвигаясь, ни на секунду не прерываясь, она снимает блузку, сорочку и все остальное, и вот она уже в моей нищей, скрипящей, узкой, неудобной кровати — со мной, на мне, подо мной; она делает мне больно, она разбивает меня вдребезги, она делает меня сильным; ее пальцы, губы, язык зажигают тысячу костров в моем теле — и я не знаю, что делать дальше. Я извиваюсь, верчусь, я подражаю ей, изобретаю что-то свое, в темноте я обретаю смелость, в темноте я становлюсь зрячим, вижу два слившихся тела, они сплелись в узел и высвободились. А что скажет раввин из Дрогобыча? А моя хозяйка? К черту хозяйку, к черту всех. Я один и свободен; один с Ингой, свободен, как свободна она; мы объединены нашей свободой, а все остальное не имеет значения: мы едины в пережитой боли и наслаждении, в агонии освобождения; я покинул один мир ради другого, более глубокого и захватывающего. Меня озаряет мысль: значит, рай существует.

Что заставило меня вспомнить о рае? То, что вчера в своей речи — только вчера — Гауптман сказал, что Троцкий обманывал себя, стремясь превратить рай в ад, а следовало как раз ад превратить в рай? Нет, Троцкий, Гауптман и их аргументы не имели к этому никакого отношения. Если я вспомнил о рае, то только благодаря Адаму и Еве: не зря же я учил Талмуд; все возвращает нас к Писанию. Я только что пережил радость первого мужчины, который познал себя, познав женщину.

— Чему ты улыбаешься? — спросила Ева — Инга.

— Я думаю о нашем прадеде Адаме.

— Твоего прадеда звали Адам?

— И твоего тоже, Инга.

Мне пришлось объяснить ей. Она приподнялась и начала гладить мне лицо, как будто я был ребенком, может быть, ее ребенком.

— Мой бедный маленький Палтиель, ты ведь действительно ве-

ришь во все это? Библия, священная Библия, ты слишком долго читал ее одну; пришла пора читать еще что-нибудь.

И вот тогда в постели, между двумя поцелуями, она прочла мне краткий курс: Дарвин и эволюция, исторический материализм, происхождение вселенной, миф о божественности. Я слушал молча, я слушал не слыша. Бог — изобретение капиталистов? Авраам — крупный землевладелец? Моисей, Давид, Исайя — враги рабочего класса, т. е. враги народа? Странное время и место учить меня философии наук, думал я, посмеиваясь. Но Инга учила меня и другому, кое-чему получше. К счастью для меня.

Я заснул в ее объятиях только к утру. Проснулся в панике: как же я навяжу тфилины при ней? Я смотрел на нее и испытывал невыразимый стыд: я согрешил, я нарушил одну из Десяти Заповедей, а теперь, как лицемер, собираюсь навязывать свои филактерии.

Инга улыбалась во сне: кому? и чему? Наверное, она смеялась надо мной. Я покинул Лиянов, но Лиянов преследовал меня. Я хотел помыться, очиститься, умертвить в себе плоть, спрятаться, но Инга открыла глаза и притянула меня к себе без лишних слов. Мое тело напряглось от желания, я уже думал о другом, а потом и вовсе перестал думать.

Ближе к полудню она ушла. Едва за ней закрылась дверь, как я кинулся к шкафу, где у меня хранились филактерии. Я размотал кожаные шнурки и обвязал ими левую руку, навязал на лоб и прочел утренние молитвы. Я с облегчением вздохнул: чудом спасся — что бы я делал, если бы она захотела оставаться в постели весь день? Благодарю Тебя, Господи, что ты позволил мне служить Тебе теперь, когда я люблю Твоего супостата.

Потом Инга, вероятно, догадалась о том, что я изменяю ей с религией. Она часто пыталась удержать меня подольше рядом с собой или оставить у себя, чтобы помешать мне остаться одному, т. е. наедине с Богом. Она была слишком проникательна и умна, чтобы целиком помешать этому; она давала мне свободу на час или два, но потом неожиданно возвращалась, как будто для того, чтобы поймать меня с поличным. Боясь этой неприятной перспективы, я стал молиться все более и более торопливо. Я вел себя, как маленький мальчик, которого поймали на том, что он крадет сладости, или как мужчина, скрывающий свою связь от жены. Да, я обманывал Ингу и обманывал в разных областях. Она думала, что заставила меня поверить в идеал атеиста — коммунистическую революцию. Она ошибалась, я обманывал ее. Смейтесь, если хотите, гражданин следователь, смейтесь: я любил Ингу, любил страстно и предавал ее ради Бога, которого уже не любил.

Но это уже другая история, вне вашей компетенции.

И все-таки Инге удалось повлиять на мою жизнь. Однажды вечером я пошел с ней и группой товарищей сражаться с нацистами в кабач-

ке возле зоологических садов. Нас было двадцать, а их в три раза больше. До этого я никогда не участвовал в потасовках: я не был создан для этого. Тщедушный, кожа да кости, непригодный для спортивных состязаний и еще меньше для кулачных боев, я был слишком малодушен и негоден для подобного рода мероприятия. Но чего не сделаешь для женщины, влюбленной в тебя и любимой тобой? И вот я оказался участником драки. Но ненадолго — уже через секунду я вышел из игры. Я очнулся на улице, на мостовой — лицо у меня распухло, я сплевывал кровь, полуслепой, полуглухой и, возможно, мертвый. Товарищи помогли Инге отвезти меня домой. Она ухаживала за мной. Она баловала меня. Она любила меня. Уже на следующий день, вымотанный, на следующий день! — мне стыдно в этом признаться — я забыл о своих молитвах. Потому ли, что Инга не оставляла меня ни на минуту? Делала ли она это сознательно, чтобы заставить меня порвать с ее соперницей? Факт состоит в том, что я вспомнил о филактериях только через два дня. Слишком поздно, думал я, возобновлять свои привычки.

Таким образом, мой разрыв с религиозной жизнью произошел не в результате принятого после зрелых размышлений решения, а вследствие случайного провала в памяти, которого я так никогда и не смог простить себе. Порвать с Богом куда ни шло — но просто забыть о Боге?

Нет, я не забыл Его. Я остался Ему верен, надеясь, что Он не слишком осудит меня за то, что в ту ночь я ушел от Него, чтобы встретиться с Ингой. Мне нужны были ее уроки, ее близость. Что же касается Бога, то Он обойдется и без моих молитв.

А мои филактерии? Я засунул их подальше, в угол.

— ЙОРАМ ПЕЛ О ЖИЗНИ, — говорит Катя тягуче и монотонно. — Нет, это жизнь пела в нем. Вот на этот вопрос ты в состоянии ответить: поют ли немые, хотя бы без слов? Йорам пел, и я пела вместе с ним. И если Бог есть, то и Он пел с нами.

Катя встает, снова садится; она много говорит, это нормально: вдовы говорят много, если есть с кем поговорить. Временами она останавливается у окна и смотрит в ночь, якобы обращаясь к ней, а не к Грише. Потом ее глаза поворачиваются в сторону двери, и она замолкает. Она боится продолжать, как боится и умолкнуть. Тогда на лице ее появляется загнанное, слегка безумное выражение.

— Во времена нашей юности, в кибуце, мы все участвовали в хоре, — говорит Катя, — но я пела фальшиво. Я раздражала всех, кроме Йорама. Он любил меня, и ему было все равно. Люди жаловались: почему нельзя любить, не действуя другим на нервы? Но Йорам отвечал: лучше любить друг друга правильно и петь фальшиво, чем наоборот.

Гриша думает о своей матери, которая никогда не пела, и об Ольге, которая только и делала, что пела. Его мать и Ольга. Вчера. А завтра?

Ольга в школе — хорошенькая блондинка, легко возбудимая и возбуждающая. Она превращалась в огненный смерч, если ей не удавалось добиться своего. Вначале Гриша старался избегать ее. Безуспешно. Идя в школу, бегая по поручению матери или за газетой, он неизбежно встречал Ольгу на своем пути. Это забавляло маленькую ветреницу — она заливалась смехом.

Однажды она загородила ему дорогу:

— Держу пари, что ты никогда не целовал девочку в губы.

— Девочку? Ты хочешь сказать — какую-нибудь одну? Как ты можешь быть такой отсталой?

— А скольких ты целовал?

— Кто считает?

Закрыв рот руками, она с вызовом смотрела на него:

— Если ты целуешься так же плохо, как врешь, то мне жаль этих девочек.

— Ты хочешь, чтобы я тебе показал?

— Ты не сможешь, даже если захочешь.

— Да или нет?

— Да.

Гриша медлил: как выйти из положения?

— Не здесь.

— Трус!

— Прямо при всех? А твои отец, мать — что если они видят нас?

— Меня тошнит от тебя, — прошипела она.

— Дай мне пройти, — сказал Гриша.

У него не хватило смелости оттолкнуть ее; он не знал, как это сделать, не прикасаясь к ней; ему хотелось бы прикоснуться к ней, не затрагиваясь до нее. В голове у него полное смятение. Хотелось ли ему прервать или продлить этот разговор, эту встречу? Не по летам развитая и дерзкая, Ольга сделала презрительный жест.

— Мужчины так глупы, — сказала она, вздыхая.

Она посторонилась. Он сделал шаг вперед, она за ним. Они пошли дальше вдвоем молча. Подойдя к дому Ольги, они остановились.

— Ты не слишком галантен, — сказала Ольга. — Открой мне двери.

Он подчинился. Она прошла и снова обернулась к нему:

— А эту?

Гриша открыл дверь во двор.

— Спорю, что ты никогда не смотрел в глаза женщине, — сказала Ольга.

Школьник не осмелился ответить вызовом на ее замечание; у него кружилась голова, отяжелевшая от прогоняемых видений и образов, связанных с его матерью и доктором Мозляком: они разговаривают друг с другом, вместе молчат, обнимаются.

— Пожалуйста, Ольга, мне нужно идти. Они ждут меня.

— При одном условии: посмотри мне в глаза.

Не имея больше сил сопротивляться, Гриша сдался. Голова у него шла кругом, он чувствовал себя вознесшимся на вершину горы. В глазах девочки было столько веселья и так велика была зазывность, которая от нее исходила, что он почти грохнулся наземь. Чтобы сохранить равновесие, он оперся на нее.

— Видишь, — поддразнила она его, — ты падаешь в мои объятия.

Он пошел домой, дрожа и задыхаясь. Мать спросила его, что случилось, и он по обыкновению ответил уклончиво, потому что никак не собирался признаваться в том, что маленькая девочка вскружила ему голову. Маленькая нахалка — он отказывался признавать, что она одержала над ним верх, т. е. унизила его. Он всегда припоминал ей это, думая о ней. Он провел бессонную ночь, вторую и третью.

Они были соседями и ходили в школу вместе. Встречаясь случайно, разумеется. Большая любовь рождается безо всякой на то причины, а умирает по совершенно определенной. Перед Гришей и Ольгой встали проблемы национальности и религии, страх антисемитизма. Оль-

га не была еврейкой. Для Гриши это не имело значения, но вмешалась мать:

— Похоже, ты встречаешься с Ольгой?

— Что ты имеешь в виду?

— Ты прекрасно знаешь, о чем я.

— Нет, не знаю. Ольга моя одноклассница, и я вижусь с ней, как и со всеми остальными ребятами.

Она вышла в кухню и вернулась.

— Ольга не для тебя, а ты не для нее, — сказала она. — Подумай о своем отце и о ее. Гордостью твоего отца было его поэтическое призвание и еврейское прошлое; ее же отец — пра-пра-правнук помощника Богдана Хмельницкого, прославившегося участием в тринадцати погромах, которым подверглись девять еврейских общин в течение трех дней. Ты знаешь об этом? Ты думал об этом?

— Поздравляю — ты все знаешь. Ты так же хорошо знаешь все и о своем друге?

Их взаимоотношения день ото дня ухудшались. Им стало трудно разговаривать и понимать друг друга.

— Если ты будешь разговаривать со мной в таком тоне, то я предпочитаю, чтобы ты молчал, — сказала Раиса.

— Как хочешь.

Теперь Гриша чувствовал себя неуютно в ее присутствии. Из-за Мозляка, конечно, который занял место его отца. Если Раиса и доктор жили порознь, то только из-за Гриши. Это усиливало его ощущение, что он нелюбим, что он незваный гость. Он как бы представлял покойного поэта.

— Ты подавлен чем-то? — спросила Ольга однажды, когда они возвращались из школы.

— Немного.

— Почему?

— Пройдет, — ответил Гриша уныло.

Он никогда не рассказывал Ольге о своей матери. Он сменил тему:

— Если бы твой отец знал, что мы, ну скажем... близки, он задал бы тебе трепку.

— Он никогда не посмел бы. Это противозаконно. Советский закон очень суров в отношении дегенератов-родителей, которые подняли руку на члена комсомола.

— Антисемитизм тоже запрещен законом и тем не менее...

— Это не одно и то же. Слабые беспомощные несовершеннолетние нуждаются в защите, это естественно, а евреи? Евреи могущественны, на самом деле, считается, что они всемогущи.

Она залилась смехом.

— Правда, Гриша, все это неважно. Одобряет ли мой отец или

нет — это его дело, а нас с тобой это не касается. Твоя религия? Знаешь что? Я рада, что ты еврей — и если моего отца это раздражает, то тем хуже для него. Каждый из нас стремится быть предельно независимым. Что до меня, то моя независимость проявляется в любви к тебе.

Происхождение Гриши ее ни в коей мере не смущало. Как коммунистка, она признавала неравенство только между социальными классами. Коммунисты борются с дискриминацией, хорошо! Коммунисты борются с невежеством, суеверием, мракобесием, фанатизмом и религией отдельных личностей и общества в целом — прекрасно! Они борются против личности для пользы общества — еще лучше. Ольга и ее друзья-комсомольцы твердо верили лозунгам.

— Ты мне и вправду надоел со своим иудаизмом, — говорила она раздраженно. — Что такое этот твой иудаизм? Религия? Но ты не религиозен, насколько я понимаю. Евреи — это раса? Но ты не расист, слава Богу. Это — болезнь такая? Но ты совершенно здоров. Значит — это предлог? Вот в чем дело: ты хочешь порвать со мной и ищешь предлог...

— О нет, Ольга, нет! Ты неправа в отношении меня и иудаизма. Это — нечто большее, чем предлог — это что-то другое.

— Что-то другое, ты говоришь, что-то другое, но что? Культура? Ты ничего о ней не знаешь. Цивилизация? Ты не живешь по ее законам. Философия? Ты ее не исповедуешь. Родина? Но ты не живешь в Израиле.

У Ольги хорошая голова. Как объяснить ей, что значит быть евреем?

— Считаю, что для еврея быть евреем — это дело совести.

— Вот это уже из области поэзии.

— Считаю, что для еврея быть евреем — значит творить поэзию.

— А что ты об этом знаешь? Тебе ведь не приходилось быть поэтом?

— Мне нет, — ответил Гриша, — но вот отец мой был поэтом.

— Можно мне почитать его стихи?

— Нет, они написаны на идиш.

— Но ты бы мог перевести их мне, разве нет?

И опять он сдался. Однажды майским днем, сидя под деревом, он показал ей сборник стихов Палтиела Коссовера. Он прочел:

Мне снится окаянный день,

И я боюсь.

Мне снится огненный восход,

И мучим жаждой я.

Потухшее солнце снится мне,

И боль нестерпима моя.



Мне снится сон о бедняке,  
И голод чувствую я,  
И холод.  
И тогда я день благословляю;  
И рассвет обращаю в подарок.  
Потому что зажгу я свет солнца снова  
Искрой души моей.

— Это написал твой отец? — спросила Ольга.

— Да, он.

— Он что — безумец?

— Может быть.

Я слышу, как ветер  
Свирепствует  
На исчезнувших континентах.  
Я слышу, как ночь уносит  
Нерожденных младенцев.  
Я слышу молитву  
Осужденного,  
Что не может молиться больше.  
Я слышу, как жизнь оставляет  
Одинокого,  
Близкого к смерти.

— И это тоже написал твой отец? — спросила Ольга после долгого молчания.

— Да, весь этот сборник написан им.

— Он действительно был так несчастен? И так одинок?

— Он был безумцем. И евреем.

Ольга перестала задавать вопросы. Она взяла его руку в свои и поцеловала. Гриша никогда не забывал этого. Несколько раз потом она просила его почитать ей стихи. Она умела оценить их по достоинству. Она слушала их с закрытыми глазами, опустив голову на руки. Она находила что сказать о каждом стихотворении. Говорила о них полуиронически, полувосторженно, что еще больше сближало ее с Гришей.

Эти их чтения были прерваны несчастным случаем, который произошел в кабинете доктора Мозляка. Ольга встретилась с Гришей только спустя две недели, когда он уже был нем. Не зная об этом, она попросила его почитать еще из Палтиеля Коссовера. Гриша покачал головой. Она допытывалась у него, почему он молчит, но Гриша продолжал только качать головой. Тогда впервые он увидел, как она плачет.

— Я не заслужила этого, — сказала она.

Как он мог объяснить ей, как сказать, что с ним произошло? Единственное, что он мог — это качать головой.

— Ну ладно, — сказала Ольга, — встретимся завтра в школе.

Но он уже никогда больше не ходил в школу. С этого дня он все время проводил у Зупанева, ночного сторожа, который проявлял повышенный интерес к еврейской поэзии.

ЙОРАМ ВСЕГДА ПЕЛ, и знаешь почему? — спрашивает Катя голо- сом, натянутым как струна, будто каждое слово давалось ей с усилием. — Я скажу тебе — он пел потому, что родители его никогда не имели причин петь. Видишь ли, его родители прошли через концентрационные лагеря. Йорам был их единственным сыном. Им повезло: им не пришлось оплакивать его смерть. Они умерли до него; умерли с сознанием, что он счастлив; они унесли его счастье с собой в могилу.

Она внезапно замолкает; она должна прекратить это. Она должна изгнать Йорама из своих мыслей.

— Иди, Гриша, — говорит она. — Иди сюда, поближе ко мне.

Но Гриша, сражающийся со своим собственным прошлым, дает ей понять, что он не может быть с ней сегодня.

И вдруг его сознание пронизывает безумная, бредовая мысль: а может быть, Катя права? Эта ночь неповторима: почему не отметить ее необычайность особо? А что если сказать Кате “да”? Да, давай любить друг друга. Я стану отцом твоего ребенка, сына, который будет похож на меня, на моего отца...

Бедный Йорам — он умер, не оставив наследника. С его смертью прекратилась вся его ветвь. А вдруг я тоже умру, не оставив потомства? И придет конец мне, моему отцу, конец отцу моего отца.

Катя почувствовала произошедшую в нем перемену. И не упустила момент.

— Иди, — сказала она снова.

Как всегда, она ведет его в свою неприбранную комнату, растягивается на своей незастеленной постели и ждет. А Гриша, обуреваемый желанием, безумным порывом, видит перед глазами Ольгу. Он знает, что не должен делать того, что собирается, но тем не менее сделает это. Катины влажные глаза... Катины влажные губы...

— Иди, — говорит ему Ольга.

И Гриша, глядя на юную девственницу, дочь судьи-антисемита, которую он так страстно желает, просто подчиняется ее зову. Он ложится на Катю, не видя ее, не чувствуя ее тела, думая только о девочке там, в Краснограде, которую он каждое утро провожает своим мысленным взором, с нетерпеливо бьющимся сердцем и закипающей в жилах кровью. Он не слышит легких звуков наслаждения, издаваемых Катей, он ничего не слышит, не отвечает, когда Катя спрашивает его нежно

и ласково, хорошо ли ему с ней, нравится ли ему то, нравится ли ему это; когда он любит ее, хочется ли ему сказать что-нибудь, радостно ли ему любить ее или немота, неспособность выразить свою радость в звуках мешает ему чувствовать.

Он теряет себя в ней, сжигаемый солнцем пепла.

## ЗАВЕЩАНИЕ ПАЛТИЕЛЯ КОССОВЕРА

### 5

ШАЛЬНЫМИ, БЕЗЗАБОТНЫМИ, ЛИШЕННЫМИ ВСЯКИХ ТРЕВОЛНЕНИЙ, а главное, безответственными были эти годы золотого века удивительной бурлящей Веймарской Республики. Мы были бедны, лишены материальных благ, но какое это имело значение? Будущее манило нас и нам принадлежало. Я писал своим родителям: "Более чем когда-либо прежде, я убежден, что нам предназначено спасти мир". Кому нам? Отец мой, должно быть, думал: нам — евреям. Я же считал: нам — идеалистам, молодым революционерам.

Берлин неспешно скользил по морю слез и гримас, плясал на краю пропасти, переходя от избытка наслаждений к крайней бедности, подстрекаемый абсурдными восторгами и близившимся террором. Что из них было более опасным — слепота фанатиков или близорукость свободных людей? Мы отказывались заглядывать вперед, мы вообще не желали видеть. Может быть, именно поэтому Бернард Гауптман покончил с собой?

Инга и я теперь жили вместе, но продолжали видеться с ним. Он был старше нас, он был нашей путеводной звездой; товарищи были ему привержены, и мы тоже. Мы восхищались его огромными аналитическими и умственными способностями. Внешне наши отношения не изменились. Он не выказывал по отношению к нам ни враждебности, ни возмущения; казалось, он вообще не держал на меня зла за то, что я похитил у него Ингу. Он часто добродушно наблюдал за нами, слегка поддразнивая.

Известно было, что у него были новые любовницы, но ни одна не делала его счастливым — это было очевидно. Он говорил больше прежнего, но радости от всего получал меньше. Лекционные курсы, ученики, товарищи, публичные дебаты, драки с нацистами — он был вездесущ. Он принимал участие в каждом мероприятии, даже самом незначительном, только чтобы заполнить свою жизнь; казалось, он боится одиночества.

Признаюсь, что в его присутствии мне было не по себе. Он не осуждал меня, но я его предал. Бесплезно было Инге убеждать меня, что это она сделала первый шаг и потому вина лежит на ней. Я все рав-

но чувствовал себя виноватым. И чем великодушнее вел себя Гауптман, тем больше я огорчался — и тем активнее искал его общества. Мазохизм, потребность искупить вину, оправдаться? Просто я еще не был свободен от своих лияновских запретов.

И все же Берлин был идеальным местом для самораскрепощения. Столица, живущая в нескончаемом бурлении, напоминала библейские города греха. Талмудист во мне краснел и отворачивался. Проституция, порнография, разврат ума и плоти, все возможные виды извращений; город, скинувший с себя все одежды, подмалевав лицо, жил в скверне, щеголяя своим вырождением как идеологией.

В нескольких шагах от кафе Шез Блюм, в частном клубе, танцевали обнаженными: мужчина с женщиной или женщина с женщиной. В других местах курили наркотики, секли друг друга, валялись в грязи, отбрасывая все принятые нормы поведения; мне все это напоминало нравы последователей Саббатая Цеви, самого печально известного из всех лжемессий. Произошла полная переоценка всех ценностей, все запреты были сняты. Чувствовали ли люди надвигающийся шторм? Прежде, чем их поглотит мрак, они хотели испробовать все, оживить и придать смысл всем своим галлюцинациям.

Наша группа в этот общий поток не включилась. Мы были более дисциплинированы, у нас были иные цели. Наше социальное сознание спасало нас от коррупции. Наша жизнь проходила на ином уровне: мы играли в идеи, мы стремились сбросить с них маску, но при этом уважали тех, кто их отстаивал. У нас все начиналось и кончалось словами. Мы обсуждали все подряд: последнее эссе Тухольского, последнюю пьесу Брехта, сценические постановки Станиславского и Вахтангова, новую экономическую политику Москвы, ход революции. Что же до нацистов, то мы говорили о них, как о неприятной болезни, не слишком серьезной и уж, конечно, не смертельной. Мы говорили себе: всякое общество создает своих неудачников, имеет их и наше; наступит день, когда их сбросят со счетов, выбросят в мусорный ящик истории. Угрозы, бессвязные речи и непотребный бред Геббельса или Геринга, или их смехотворного фюрера даже не раздражали нас. Мы думали: они хотят лаять, пусть себе лают, когда-нибудь им надоест, они устанут. Гауптман называл нацизм побочной сектой. Не имея образования и поддержки масс, они вряд ли могли влиять на события. Историю нельзя изменить парой антисемитских речей. Бороться с ними всерьез значило бы придавать им слишком большое значение, оказывать слишком много чести. Лучше не воспринимать их как противников. Наши реальные соперники представляли куда более близкую угрозу, ими были тредюнионистское движение, социалисты, социал-демократы. Нацисты на их фоне были просто досадной помехой.

Противоположной точки зрения держался эссеист по фамилии

Трауб, социалист одновременно и по Мейстеру Эккарту\* и по Гегелю. Высокий, худощавый и такой томительно унылый, как день голодовки в тюрьме, этот друг прославленного революционера Поля Гамбургера страстно взывал к нам своим надтреснутым срывающимся голосом, стремясь убедить нас, что нацизм означает падение цивилизации, свободы и морали и что его нужно уничтожить на корню, пока не поздно.

По чести говоря, я должен признаться, что моя позиция была ближе к гауптмановской. Предостережение Трауба звучало пустой угрозой. Для меня нацисты были сбродом, негодяями, которым, чтобы жить, надо было ненавидеть. Там, откуда я родом, их называли погромщиками, здесь их зовут нацистами. Сходство у них полное. И те, и другие садисты, омерзительны, кровожадны, способны на любое преступление. Но допустить, что эти люди могут прийти к власти, нет, это немыслимо. А где же тогда разум немецкого народа, его культура, рационализм, здравый смысл, его вклад в духовное развитие человечества. Никогда в стране Гете и Шиллера эти неотесанные ублюдки не смогут прийти к власти.

Казалось, сами факты подтверждали правильность наших рассуждений. На выборах 1928 года нацисты получили только 800 000 голов. Трогательно — и убедительно. Поздравляем, Веймар. Поздравляем, Германия. Нацисты с треском провалились.

Особенно наглядным это было в Берлине. Казалось, что в Берлине евреи были в преобладающем большинстве, такие, как я, или, по крайней мере, как Гауптман. В газетах и издательствах, театрах и банках, универсальных магазинах и литературных салонах — везде преобладали евреи. Утверждение французских антисемитов, что евреи вездесущи, было справедливым в отношении Германии. В науках, медицине, в искусстве евреи задавали тон, навязывали его остальным.

Как не похоже на Лиянов. У меня дома евреи, чтобы выжить, должны были таиться, унижать себя, пряча свои таланты, скрывая достижения. Чтобы не умереть, они должны были притвориться мертвыми. Еврей — член кабинета министров, профессор университета, главный редактор влиятельного обозрения — такого невозможно было даже вообразить в Лиянове. Чтобы занять какое-либо положение в политике или искусстве, евреям приходилось отворачиваться от своих еврейских предков, отрицать свое еврейство. Чтобы поступить в консерваторию или академию, еврей должен был предъявить свидетельство о своем крещении. Ничего похожего не было в Берлине, где евреи не только бы-

---

\* Мейстер Эккарт — глава всего направления немецких мистиков XV века. Его представления о божестве, сложившееся под сильным влиянием неоплатонических учений, было принято и его виднейшими учениками и последователями: Иоганном Таулером и Генрихом Сеузе, так же, как и неизвестным автором "Немецкой теологии" (Примечание переводчика).

ли составной частью пейзажа, но и окрашивали его в соответствующие тона, были его культурным слоем. Можно было еще представить себе Берлин без нацистов, но никак — без евреев.

Так говорил Гауптман, и я его поддерживал. Я помню его весомые слова и эффект, который они возымели на Трауба. Этот друг Поля Гамбургера кричал как одержимый. Бурные дискуссии, страстные дебаты шли обо всем, что стояло на повестке дня: пацифизм или война? Патриотизм или интернационализм? Откуда придет спасение? Официальные коммунисты отстаивали тезисы преобразований, провозглашенные Москвой; их попутчики, осторожные и трезвые, обращали свои взоры к Парижу, традиционному прибежищу политических эмигрантов. Гауптман принял линию Москвы; так же поступила и Инга. Но не я. Я не принадлежал ни к одной партии. Я склонялся к коммунизму из-за Эфраима и еще больше из-за Инги. Знай Инга, как порассуждать о Мессии, я бы последовал за ней прямо в Кремль.

Гауптман был типичным верным негибачимым коммунистом. Он был знаком с Куртом Эйзнером и Эрнстом Толлером\* в период провозглашения Баварской красной республики, в образовании которой он принимал участие. Как ему удалось спастись? В момент ее разгрома он нашел пристанище у рабочих, которые прятали его в критические месяцы. "Я верил массам, — часто повторял он, — и был прав". Он все еще верил в массы; они были его религией. Элегантный интеллигент ощущал глубокую гармонию, единство с анонимными бесформенными массами; он был целиком увлечен ими и верил, что они наделили его высокой миссией. Поэтому его решимость была отражением их воли. Когда бы он ни произносил слово "массы", тон его становился серьезным и торжественным.

Инга тоже была коммунисткой типа Гауптмана и такой же пламенной, готовой пожертвовать собой ради партии и революции. В чем же они расходились? Гауптман мог временами говорить о партии не слишком восторженным тоном; Инга же — никогда.

Я с еще несколькими нашими закадычными друзьями обычно сопровождал их везде: на публичные митинги, где выступавшие проповедовали, читали лекции, учили, громили, бранились, проклинали и выдвигали требования, в зависимости от лозунгов сегодняшнего дня. Я любил смотреть на толпу и смешиваться с ней. Мне нравился спокойный и уверенный "дух масс", их манера встречать коммунистическую проповедь поднятым кулаком; мне нравилось братство, чувство общности судьбы, которое они излучали; я завидовал им.

Я спросил Ингу, может ли она помочь мне вступить в ряды партии. Она мне отсоветовала: "Позднее, — сказала она, — ты еще недоста-

---

\* Курт Эйзнер и Эрнст Толлер — еврей-коммунисты, деятели Третьего Интернационала (Примечание автора).

точно созрел". — "Когда же позднее?" — спрашивал я. — "Позже", — постановила она. А раз уж она приняла решение, изменить его было невозможно.

Наверное она была права. Я все еще был очень предан своим родителям и Лиянову. Я уже не отправлял религиозных обрядов своих предков, но мне их недоставало. Иногда в субботу я вдруг ловил себя на том, что распеваю что-то себе под нос на хасидский манер или цитирую древнюю притчу, или воскрешаю в памяти какую-нибудь мистическую фигуру, которой поверяю свои беды или смятение. Инга знала об этом.

Я производил впечатление человека, ведущего жизнь коммуниста, но внешность обманчива. Инга часто напоминала мне об этом. "Ты не коммунист, я хочу сказать, не по-настоящему".

— Ты права. Я слишком много думаю о Мессии. Многие люди ждут его прихода; коммунист бежит ему навстречу. Вы помогаете мне бежать.

Такие речи раздражали ее: Мессия для нее был чем-то вроде раввина, а их она ненавидела. Она ненавидела их с той же силой, что и священников.

— Видишь, — говорила она огорченно, — ты еще не готов.

— Это потому, что я сказал о Мессии? А ты знаешь, Инга, что существует традиция мессианской неожиданности? Она повествует о спасителе, который объявится неожиданно, как раз в тот момент, когда человечество меньше всего ожидает этого.

— Мне не нравятся такого рода сюрпризы и такое спасение. Коммунизм — это нечто иное, он состоит в том, чтобы вызывать перевороты не силой магических формул, а путем их подготовки и с помощью политической акции. Тебе еще многому надо учиться.

Чтобы она была довольна, я много работал. Я отдавал партии — т. е. некоторым ее членам — деньги, которые отец посылал мне на мои нужды и на оплату "занятий". Чтобы быть более точным, я субсидировал нуждающихся приятелей и товарищей. Если в редких случаях у меня оставалось немного денег, я отдавал их Инге, которая вручала их Гауптману для его особого фонда.

Приближались выборы 1932 года. Эта кампания стала моим личным делом, как будто от нее зависело мое будущее. Я почти не спал. Я писал статьи и редактировал трактаты на идиш, которые Инга помогала переводить на немецкий; я бегал с митингов на демонстрации; я кричал вместе с массами, столь дорогими Гауптману, боролся вместе с ними сначала с помощью лозунгов, а потом и кулаков. Возглавляя их марши, я нес красное знамя, совсем как мой отец в Лиянове носил священные свитки — с любовью и решимостью.

Я ждал решающей победы. Как ждали ее, так думал я, Инга и Гауптман. Гауптман изменился — он худел, как бы пожираемый тай-



ным пламенем. Неужели он сомневался в результатах? Был ли он еще более светлого ума, чем мы полагали? Он боролся так же активно, как и все мы, но с приближением выборов он становился все более беспокойным.

Однажды вечером, когда мы собирались на демонстрацию за город, я сказал ему, что очень за него волнуюсь.

— Что с тобой, Бернард, ты на себя не похож?

— Я устал, вот и все. Перетрутился.

— Еще несколько дней, и ты сможешь отдохнуть.

— Еще несколько дней, и начнется настоящая работа.

— Что это значит?

— Мы ведь победим, народ одержит победу, и тогда мы должны будем принять на себя все полномочия власти, — ответил он улыбаясь.

Если у него и были сомнения, то только в отношении его личной способности взять на себя полномочия власти, ибо он был убежден, что массы поведут его за собой. Мы разделяли эту его уверенность. Мы вели серьезную борьбу за народ, за воинствующий рабочий класс, и наш триумф был неизбежным. История шла в этом направлении, и только мы одни — не социал-демократы, никакая другая партия — маршировали в ногу с историей.

В высших партийных кругах без сомнения дискутировались коалиции и альянсы с другими партиями, кроме нацистской. Для нас же все обстояло проще — нам выпало видеть только контуры платформы, которую избиратели намеревались сформировать в результате голосования. Беднякам, безработным, бездомным, исчислявшимся миллионами — им не оставалось ничего иного, как избрать нас, коммунистов, кто выступал за них и провозглашал их право на человеческое достоинство.

Я помню речь, которую Гауптман произнес незадолго до выборов.

— Рабочие! Жены рабочих! Остановитесь и задумайтесь. Спросите себя, предпочитаете ли вы позор жертвований хорошей зарплате, ненависть солидарности! Остановитесь и задумайтесь, товарищи, прежде чем решить свою судьбу.

Инга тоже выступила в тот вечер.

— Мои родители богаты, они, как и их друзья, не провели в труде ни единого дня в своей жизни. На них работают другие. Я от них отвернулась и, знаете, почему? Чтобы разорвать цепь зла. Чтобы помочь сковать братство рабочих. Я выбираю вас, товарищи, я предпочитаю вас своим родителям...

И я ей аплодировал, я хлопал ей до изнурения. Сам же я никогда не выходил на трибуну. Только однажды я произнес речь — на идиш — перед группой сионистов. Я уже не помню, был ли я освистан за мои политические идеи или за мой язык — они ожидали, что выступление

будет на немецком. Я спасся бегством, но не избежал насмешки от Инги:

— О да, это был триумф — для сионистов!

Наступил день выборов. С утра засев в кафе Шез Блюм, мы после бессонной ночи глотали черный кофе, ожидая результатов голосования. Гауптман то и дело бегал в штаб-квартиру партии и возвращался, качая головой: слишком рано, чтобы определить, как идут дела. Шли часы. Инга, которой не сиделось на месте, отправилась в редакцию журнала "Вельтбюне" ("Мир сцены"), где она знала одного из политических комментаторов, — ничего. Она помчалась назад в румынское кафе на Будапешт штрассе и вернулась запыхавшаяся и огорченная: первые результаты обнаружили поразительные достижения нацистов. Гауптман одним движением руки удержал нас от паники — в этом избирательном округе тщательно поработал Геббельс; результаты голосования в нем ровным счетом ни о чем не свидетельствуют...

После второй бессонной ночи у нас уже были все основания для паники — это несомненно был звездный час Гитлера. Цифры неуклонно шли вверх; они уже целиком вышли из-под контроля. Прошло всего два года его политической активности, а он уже завоевал шесть миллионов голосов.

Инга пала духом; она рыдала безутешно. Гауптман, сам мертвенно-бледный, обнял ее за плечи, и поразительно — меня больше тронул этот его жест, чем слезы моей возлюбленной. Неужели он все еще любил ее? Совершил ли я ошибку, разлучив их? Будь они вместе, возможно, им удалось бы добиться победы... И снова я оказался во власти своих лияновских комплексов, моего старого чувства вины. К счастью, никто не обращал на меня никакого внимания.

По какой-то ускользнувшей от меня причине Инга решила не ходить со мной домой и отправилась отдохнуть на виллу своих родителей, затененную старыми липами. Расставшись той ночью, мы все трое пошли разными путями.

Это было концом нашей группы. Мы снова собрались назавтра в кафе Шез Блюм; мы продолжали вести себя как прежде, но наши сердца были уже не здесь. Мы чувствовали, как неотвратимо надвигается на нас проклятие. Вскоре оно обрушилось на каждого из нас по очереди.

Инга переехала — она сняла комнату в квартире актрисы, игравшей в одной из пьес Рейнхарда. Она уже больше не любила меня. Так по крайней мере считал я и сказал ей об этом.

— На фоне того, что сейчас происходит, мы не имеем права думать о любви, — заявила она в ответ.

На что мне следовало бы возразить: "На фоне того, что сейчас происходит, именно о любви нам и следует думать".

Бернард говорил все меньше и меньше. Я спрашивал его: "А как же массы, что ты будешь делать с ними? Их мудрость, их благодар-

ность, что все это — вдруг исчезло? Объясни мне, как могло случиться, что шесть миллионов жалких бедняков оказались способными проголосовать за еще более отчаянное убожество, еще более нестерпимую нищету! Объясни мне, Бернард, как сброд мог одержать верх над порядочностью и разумом?

Гауптман смотрел на меня, не мигая, своим пронизывающим взглядом. Он не сказал ни слова, да и что можно было сказать... Инструкции Москвы были категоричны: единого фронта с другими партиями, находящимися в оппозиции к нацистам, быть не должно. Почему? Этого никто из нас не понимал, и Бернард не был исключением.

Потом наступил роковой канун Нового года. Одна из изысканных подруг Гауптмана предложила отпраздновать Новый год у нее дома — хотя что было праздновать? Мечту, развеявшуюся как дым? Это была наша последняя совместная вечеринка. Мы пили, чокались, мы заставляли себя веселиться. Громкий смех, шумные поцелуи, деланно веселые песни, обещания любви и верности: мы были актерами, решившими переиграть все роли, прежде чем покинуть сцену.

Кто-то настоял, чтобы Гауптман произнес тост. Он поднял свой бокал и хрипло произнес:

— За поражение!

Мы были слишком шокированы, чтобы хоть как-то ответить. Инга, готовая расплакаться, молила его взглядом добавить еще хоть одну фразу, хоть одно слово надежды. Гауптман улыбнулся ей и потом каждому из нас по очереди. И, не отпив ни капли, поставил свой бокал на стол.

В эту ночь он пустил себе пулю в лоб.

## ЗАВЕЩАНИЕ ПАЛТИЕЛЯ КОССОВЕРА

### 6

МНЕ НЕ МОГЛО ПРИЙТИ В ГОЛОВУ, что когда-нибудь я буду счастлив и горд оказаться в числе подданных Его Величества Короля Великой Румынии. Однако именно так оно и было. А может быть, я преувеличиваю. Но безусловно это оказалось полезным. Благодаря румынскому паспорту, действительному и надежному несмотря на мой незаконный военный статус, я смог покинуть Третий Рейх без помех.

Мои немецкие друзья могли уехать со мной или вслед за мной. Это был 1934 год, и границы охранялись еще так вяло, что все евреи могли перейти их; полиция на самом деле поощряла их к этому.

Я снова и снова пытался убедить Ингу и Трауба бросить все и отправиться в Прагу, Вену, Париж, уехать куда-нибудь, все равно куда... Шумные споры кончались ничем. Каждый оставался при своем.

Инга упорно твердила, что ее долг оставаться в Берлине. Партии нужны жизненные силы ее воинствующих членов. Нацистский режим не сможет просуществовать долго, поэтому надо остаться, чтобы ускорить его падение.

Трауб возражал, что она принимает желаемое за действительное. Своей победой нацисты обязаны не политическому или экономическому положению в стране, а некой мистической ситуации. Гитлер воплотил в себе жажду власти и господства, таящуюся в сердцах немецкого народа. Возможно, Германия не являет собой Гитлера, но Гитлер являет собой Германию. Нужно быть слепым, чтобы не видеть этого. И в заключение он провозгласил: нацистский режим устоит, он удержится на протяжении жизни целого поколения.

Трауб, мыслящий достаточно трезво, чтобы не питать надежд, все-таки тоже отказался уехать. Париж, Вена, Прага? Когда его друзья, все близкие ему люди все еще в Берлине? Более того, несмотря на все издевательства, жестокость и публичные оскорбления, которыми сопровождалось становление гитлеровской эры, евреи продолжали жить своей обособленной жизнью, как и прежде, а может быть, даже стали еще более сплоченными. Подвергнутые остракизму христианским миром, они снова вернулись к своему еврейству. В результате начался беспрецедентный в истории немецкого еврейства размах его культурной деятельности. Вынужденные отказаться от своих ассимиляционных амбиций, многие евреи теперь посещали семинары и вечерние школы,

чтобы вернуться к своему еврейскому прошлому; уже ради этого одного стоило оставаться в Германии.

Не знаю, время ли сейчас говорить об этом, но позже, значительно позже, я узнал, что отец мой, Гершон Коссовер, благословенна будь его память, столкнулся с той же дилеммой в Лиянове. Его друзья приглашали его к себе в Бухарест; оттуда при наличии денег он мог бы уехать в Палестину. Но он никак не мог решиться. Обсуждал это с матерью и сестрами, с соседями и друзьями. Может ли он бросить общину? Или должен остаться и посмотреть, как развернутся события? В чем состоит его долг еврея, ответственность человека? Оставаться жить в неопределенности здесь или отправиться навстречу неизвестности куда-нибудь еще? Моя мать считала, что ему надо ликвидировать дело, продать дом и бежать; отец же упрекал ее, что она думает только о них одних. И они остались. Остальное, я полагаю, Вам известно.

Накануне моего отъезда у нас с Ингой произошел последний спор. Она укладывала мой чемодан, а я умолял ее уложить и свой тоже. У нее не было убедительной причины оставаться. Ее родители искали покупателей на свой магазин и роскошную квартиру; у них были деловые связи в Англии и они собирались туда. Ее друзья были в бегах или в тюрьме. Партия, переживавшая смятение, практически не функционировала. Участвовала она в подпольной работе? Несомненно. Она сама намекала на это.

— У меня здесь есть дело.

— У тебя сейчас везде будет дело. Во Франции то же, что и здесь. То же самое дело.

— Нет, не то же, — ответила она и переменяла тему.

Она не стала бы мне говорить об истинном характере своей работы, да и не должна была. Я понял, что она имела в виду, но не принял ее аргумента.

Чувство поражения подавляло нас. Мы потерпели крах во всем: и как борцы, и как друзья, и как индивидуальности. С момента самоубийства Гауптмана Инга и я отделились друг от друга, хотя и продолжали ежедневно встречаться. Тень нашего друга, его насмешливая, снисходительная улыбка преследовали нас. Мы избегали думать о нем, но он был с нами всегда. Память о нем терзала нас, как угрызение совести, как раскаяние.

И в тот вечер он опять присутствовал в наших мыслях. Почему он покончил с собой? Был ли это страх перед грядущим, или отвращение к событиям, какими закончился этот год? Трауб утверждал, что Бернард давно уже заигрывал с мыслью о самоубийстве и часто цитировал Сенеку, поощрявшего самоубийство: "Мудрый человек живет столько, сколько должен, а не столько, сколько может". По Траубу выходило, что Бернард боялся старости, импотенции, немощи. Инга же настаивала на том, что поступок Гауптмана был связан с судьбами мира, а не с

его собственной. Он убил себя потому, что считал события, свидетелями которых мы только что стали, — падением, смертью человеческой расы.

И мне пришло в голову, что Инга остается в Германии не из-за партии, а из верности Гауптману. Я спросил ее:

— Это Бернард удерживает тебя здесь?

— По существу, нет.

— Инга, когда ты говоришь: "по существу, нет", это означает "да".

— На этот раз это может значить и "нет".

В первый и последний раз мы говорили открыто и честно о нашем покойном друге, т. е. о наших с ним отношениях. Вели ли мы себя дурно по отношению к нему? Были мы виновны в его отчаянии, а значит, и в его смерти? Что бы ни рассказывал Трауб, самоубийство было не в характере Гауптмана; оно безусловно не могло явиться трезвым решением, принятым революционером-интеллектуалом, отличавшимся неумолимо логическим мышлением. Такой человек, как он, способный противостоять любым импульсам, всему иррациональному, бесстрашно противоборствовавший самому глубокому отчаянию и даже учитывавший его в своей системе ценностей, не стал бы искать выхода в самоубийстве. И тем не менее... Как объяснить этот акт, перечеркнувший всю его жизнь? Могло это быть вызвано отношением Инги ко мне, нашей любовью? Я склонен был думать именно так, Инга так не считала. Она склонялась к объяснению, лежавшему на поверхности: разочарованный выборами, преданный своими "массаами", он утратил иллюзии и сделал наиболее радикальный вывод из возникшей ситуации. Самоубийство стало для него своеобразным способом заявить немецкому народу и немецкой истории: я сыт вами, вы предпочли пляски с дьяволом, валяйте, развлекайтесь — но только без меня.

Сегодня, в этой камере, откуда все кажется таким далеким и вместе с тем более отчетливым, меня мучает этот вопрос. Есть люди, чье влияние оказывается более сильным, когда их уже нет в живых, и Гауптман принадлежит к их числу.

Что может заставить мыслящего, активного, творческого человека решить убить себя однажды вечером? Почему сделан именно этот выбор, откуда эта загипнотизированность самоуничтожением? Отчего такое нежелание жить, такой безжалостный, бесповоротный отказ от жизни? Чтобы не страдать, не унижать своего достоинства? Наказать тех, кто остается жить, заставить их тем самым почувствовать себя в ответе за все? А сам я, безвинно, беспричинно арестованный, человек, которому уже нечего терять, почему я не заигрываю с идеей самоубийства? Почему я даже никогда не думаю о ней? Я мог бы, как Аттик, друг Цицерона, отказаться от еды и лучше умереть от голода и одиночества, чем от руки палача. Почему мысль об этом никогда не искуша-

ет меня? Потому ли, что у меня жена, которая...? Но не будем говорить о Раисе, гражданин следователь. Это не она привязывает меня к жизни; это мой сын, Гриша. Увижу ли я его когда-нибудь снова? Смогу ли когда-нибудь рассказать ему о своем отце, чье имя он носит? Он или мой отец, кто из них удерживает меня от того, чтобы стать палачом самому себе? Иногда во время допросов — мягко выражаясь, мучительных — я ловлю себя на желании умереть — но никогда не самому лишить себя жизни. Убить себя — значит совершить убийство, а я самым решительным образом отказываюсь служить смерти.

В нашем разговоре — в нашем последнем — Инга и я не углубились в суть дела. Она стала скрытной. Ей надоело гнаться за словами, сказала она, которые неизбежно оказываются пустым звуком, как только она хватается за них. Чтобы сгладить впечатление, она объявила, что хочет провести ночь у меня. Я был рад. Я думаю, я все еще любил ее. Она казалась мне красивее, чем когда-либо; ее меланхоличность делала ее более соблазнительной, более сдержанной. Я начал раздеваться, она отвернулась.

— Тебе не хочется?

Ей не хотелось. Она предпочла лежать на кровати одетой. Ладно — я последовал ее примеру. Молча мы созерцали ночь. С нами в этой комнате были и другие. Мой отец убеждал меня не бросать мои тфилины, моя мать — заботиться о моем здоровье. Эфраим смеялся. Хозяин кафе Шез Блюм требовал с меня семьдесят марок, которые я задолжал ему за три месяца. Бернард разъяснял мне, что, говоря философски, история означает движение, а значит, и преобразования, а значит... — Значит что? — спросил кто-то. Но ответа я уже не услышал, потому что заснул. Я знаю, что Инга так и не сомкнула глаз всю эту ночь. О чем, о ком она думала? Этого я не знаю; этого я не узнаю никогда.

Мой поезд уходил только вечером. Инга, чем-то очень озабоченная, наверняка каким-нибудь подпольным заданием, решила расстаться со мной с утра. Так было лучше. В дверях мы обнялись.

Я повторил свое приглашение. — Приезжай во Францию, Инга. Там ты будешь полезнее, чем здесь.

Она, казалось, даже не услышала меня.

Я настаивал:

— Если ты надумаешь, если решишь приехать, ты знаешь, как связаться со мной?

Она смотрела на меня не видя.

— Инга, так ты знаешь как?

— Товарищи будут знать, — ответила она без всякого выражения на лице.

Она уже жила в ином мире, в мире Бернарда Гауптмана. Она повернулась и ушла не оглядываясь.

А я, вспоминая ее первый визит в эту комнату, испытывал почти физическую муку; мне хотелось кричать, плакать. Мне хотелось побежать за ней, заставить ее вернуться, поехать со мной, жить со мной, заставить ее жить, еще хоть немного: если бы я встряхнул ее как следует, если бы взял ее достаточно решительно и властно, возможно, она и согласилась бы. Но я не мог пошевелиться. Жребий был брошен с неумолимой определенностью, необратимо. Инга останется в Берлине, а я с головой окунусь в сюрреализм парижской жизни. Я пытался урезонить себя: Инга приедет, ты встретишься с ней снова. Рано или поздно, они все приедут: Трауб, Блюм и другие товарищи, либералы и анархисты, коммунисты и евреи, они будут задыхаться здесь и они пробьют себе путь к свободе... Но в глубине души я все же знал, что это детские мечты. Инга останется в Берлине. Инга умрет в Берлине. А я останусь жить где-нибудь в другом месте. Давай перевернем страницу, Инга. Спасибо тебе, что помогла мне открыть для себя любовь, спасибо, что вовлекла меня в политическую деятельность. Спасибо, что дала мне наслаждение и боль, спасибо тебе, Инга.

Мой последний день в Берлине: прощальные визиты; погашение долгов в кафе Шез Блюм; последний разговор с Траубом, который настоял на том, чтобы угостить меня кофе, и сказал, что написал Полю Гамбургеру обо мне; последнее письмо моим родителям. В следующий раз, отец, я напишу тебе уже из Парижа, с Божьей помощью, конечно же, с Божьей помощью. Не волнуйся, отец, — твой сын будет по-прежнему навязывать филактерии.

Последняя прогулка. Великолепный апрельский день. На многолюдных улицах жизнь бьет ключом. Коричневые, серые, черные мундиры. Бесчисленные свастики. Счастливые лица. Город доволен собой и безмятежен. В каждом окне портрет Гитлера: его народ любит себя им с явной, нескрываемой гордостью, с любовью. Бедный Бернард Гауптман: массы иногда делают невероятные глупости, но разве этого достаточно, чтобы идти на самоубийство? Бедная Инга: эти люди отвергли тебя; они плюют на тебя и на то, что тебе дорого, а ты упорствуешь в желании пожертвовать собой ради них. Ты и вправду веришь, что они стоят этого — стоят тебя?

Неожиданно возле цирка из толпы вынырнула странная фигура: царственный еврей. Одетый с изысканной элегантностью, высокий, он вышагивал твердой поступью. Горделивый, величественный, он двигался вперед в толпе пешеходов без страха и опаски. Что заставило меня подумать, что он еврей, не могу сказать. Но я знал, что это так и что он не из Берлина. Он привлекал внимание. Нацист, увидевший его, пришел в негодование; люди останавливались и глазели на него; казалось, он явился с другой планеты, из другого времени. Может быть, он принц Израиля? Посланник Бога? Аккуратная борода, в глазах светится ум, от него исходит какая-то сверхъестественная сила,



она настораживает прохожих. Еще секунда и весь район оцепенеет: все глаза устремлены на этого благородного, высокомерного еврея, прогуливающегося по Берлину, как будто столица не отдана во власть нацистов.

Я ловлю себя на том, что весь дрожу за него — он в опасности и, видимо, не подозревает об этом. А что если какой-нибудь хам нападет на него? Что если толпа сейчас окружит его и избыет? Кинусь ли я спасти его? Хотелось бы думать, но кто знает? Во всех случаях этот вопрос имеет для меня уже чисто теоретический смысл. Люди так поражены, что застыли на месте; они дают ему свободно пройти. Он сворачивает за угол и к тому времени, когда толпа приходит в себя, исчезает. Что, бежать за ним? Какой толк? Кроме того, уже поздно. Мне надо торопиться домой. Быстренько, фрау Браун, я тороплюсь. Сколько я вам должен? Будьте столь добры, перешлите мне мою корреспонденцию, я пришлю вам свой адрес, хорошо? Заранее благодарю, спасибо за все и до свидания. О, дорогая фрау Браун, не смотрите так печально, мы когда-нибудь снова встретимся — дома у нас говорят, что только горы никогда не встречаются. Скорее. Где чемодан? Все ли уложено? Сорочки, книги, филактерии. Мой портфель. Паспорт, где же мой паспорт? Проклятье, я потерял его. Нет, он у меня в кармане. А где билет? В паспорте. А паспорт я держу в руках. Я совсем растерян, я теряю рассудок в этой сумасшедшей стране. Скорее в такси. Такси нет? Неважно, я пойду пешком. А вон и такси. “Скорее, на вокзал”. — “На какой вокзал?” — “Мне нужен поезд на Париж”. — “На Париж? — спрашивает шофер недоуменно. — Вы опоздали”. И со смешком добавляет: “Подождите несколько лет, и мы все там встретимся”. Но его шутка не смешит. “Ну ладно”, — говорит он. “Ну ладно”, — говорю я. И он нажимает на газ. Тяжко. Мелькают уличные огни. Полицейские-регулируровщики машут руками. Окна магазинов сверкают. В тюрьмах мучители бьют и вешают, а их жертвы шепчут: “Это только сон, страшный сон”. Меня охватывает тоскливое беспокойство: кто придет проводить меня? Кто ждет меня на вокзале? Инга? Трауб? Я бегу на платформу номер одиннадцать, поезд стоит на месте. Я влезая в вагон, проталкиваюсь через толпу пассажиров, нахожу свое место, бросаю на него чемодан и начинаю искать глазами знакомые лица. Из всех моих друзей, всех соратников ни один не пришел проводить меня. Я несколько разочарован, хотя не должен бы. Они все боятся, а я еду в мир, свободный от страха. *Увижу ли я их снова?* Долго еще этот вопрос будет мучить меня: *Увижу ли я их когда-нибудь?* Равнодушный гнусавый голос объявляет: “Поезд на Париж отправляется”. Мое сердце разрывается, ему больно, и я знаю отчего. Бывают мгновения, когда человек знает все, и сейчас я переживаю именно такой момент: я думаю о своих товарищах, счастливых и несчастных, умных и дубоватых. Я

знаю, что их унесет ураган крови и огня, а я, счастливец-дезертир, останусь жить.

Поезд мчится прочь от Берлина. Прижавшись к окну, не смея оглянуться, я смотрю в ночь. Наконец, сморенный усталостью, сажусь. Мужчина в соседнем углу улыбается мне: это таинственный принц, которого я видел сегодня утром у цирка.

Измотанный и опустошенный, я закрываю глаза и тут же открываю их снова, чтобы улыбнуться ему в ответ. И тут понимаю, что сейчас заплачу — заплачу об Инге и ее мрачном будущем, о Гауптмане и его похороненных иллюзиях, о Траубе и его товарищах, о Берлине и его евреях. Мне хочется всхлипнуть, но мой спутник улыбается мне. Вот так я покидаю Третий рейх, сдерживая слезы и улыбаясь против воли, как идиот. Что это было? Слабость, трусость, дезертирство? Я признаю себя виновным, гражданин следовательно. Я признаю себя виновным в том, что сбежал от тюрьмы и смерти в Берлине.

**КТО ТЫ, ЗУПАНЕВ, ДРУГ МОЙ?** Откуда ты взялся? С какой планеты забросило тебя в мою жизнь? Что ты делал, кого встречал до того, как стал осуществлять надзор за этим районом по ночам? Что ты за человек, друг сторож? Что за тайны и чьи тайны ты охраняешь? И по чьему приказу? Эти неопубликованные стихи Палтиеля Коссовера — как они к тебе попали? Кто дал их тебе? Ты говоришь, что кто-то доверил тебе передать их мне. Как этот незнакомец знал, что мы должны с тобой встретиться? Ты рассказываешь мне так много всего, а я недоумеваю, почему ты это делаешь? И узнаю ли я когда-нибудь, что ты утаиваешь от меня?

Заинтригованный личностью сторожа, Гриша снова и снова задавал себе одни и те же вопросы. Должно быть, Зупанев знал его отца — может быть, в тюрьме? Лишенный возможности облечь этот вопрос в слова, Гриша всеми силами старался выразить его глазами, надеясь, что сторож прочтет и поймет его взгляд. Понял ли Зупанев? Его ответы так же много утаивали от его юного посетителя, как и открывали.

Они встречались по выходным дням или вечерами. Сидя на своей койке или на табуретке, с записями на коленях, сторож становился учителем: он учил мальчика тому, чего тот не мог узнать в школе. Он объяснял ему текущие события: зигзаги русской политики в отношении еврейских граждан, то, что происходило в Израиле, проблемы эмиграции. Он учил Гришу начаткам идиш и рассказывал ему о главных эпизодах еврейской истории. В целом, он готовил его к великому событию в жизни, к выезду.

— Меня они не выпустят, — говорил он, — а тебе разрешат уехать. Кое-кто из детей писателей уже уехал; придет и твой черед. И ты должен быть готов к этому.

Готов к чему? — удивлялся Гриша. Но Зупанев менял тему разговора. Приставать же к нему было совершенно бесполезно.

Однажды он удивил своего юного протеже.

— У меня есть для тебя подарок. Несколько неопубликованных стихотворений твоего отца. Он написал их в тюрьме.

Зажигательные, пламенные стихи. Гриша представлял себе, как отец, скрючившись в своей камере, озарял огнем этот померкший мир силой простых повседневных слов. Обрушивая гнев на этот обезумевший век, слова его как бы отдаляли спасение — мир спасения не заслуживал.

— Итог всей жизни, — сказал Зупанев. — Агония, дружба, разлука: слова. Все начинается и кончается словами.

Скоро, ликовал Гриша, скоро я буду знать своего покойного отца лучше, чем когда-то знала мать.

— Видишь, — сказал Зупанев, — нет ничего невозможного.

И повторил:

— Да, мой мальчик, ничего невозможного нет. И не будет.

И подмигнул.

## НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХИ (НАПИСАННЫЕ В ТЮРЬМЕ)

### ПАЛТИЕЛЯ КОССОВЕРА

Он недвижим и бессловесен,  
Ему не дано  
Ни гневаться,  
Ни каяться.  
Его нет даже во времени.  
Но тогда где,  
Где же он?

Ночь перед штурмом.  
Бледная молва  
Раздувается и  
Рычит, грохочет.  
Молва опережает  
Мольбу,  
Она летит вперед,  
Убивает и умирает.  
Лик Господа  
Перед молящимся.  
Жестокая,  
Гнетущая тишина  
Больно бьет.

Память:  
Храмы и колючая проволока,  
Трупы и стены  
Иерихона и Варшавы;  
Гетто для просвещенных,  
Тюрьмы и мрак,  
Камни и кнуты,  
Огонь из орудий и конвульсии;  
Мертвые дети,  
Дети мертвых.  
Хранитель вечности,  
Как тебе удается  
Не потонуть  
В безумии тех,  
Кто дает тебе  
Жизнь?

Могильщик,  
Верни земле  
Грязь и глину  
Небес.  
Закрой свое лицо,  
Могильщик,  
И пристыди Бога,  
Который завесил  
Свой лик от всего.  
Оставь мертвых, могильщик,  
Как они покинули тебя;  
Живые зовут тебя  
Потому что боятся  
Тебя.

Жизнь — это поэма,  
Что или слишком длинна,  
или длинна недостаточно,  
Слишком проста  
Или проста недостаточно.  
Жизнь — это поэма,  
Что слишком печальна  
Иль беспечальна уж слишком,  
Слишком ясна  
Или ясна недостаточно.  
Жизнь либо слишком длинна,  
Либо длинна недостаточно.  
Жизнь — это поэма?  
Очень уж коротка  
И неокончена.

(Переведено с идиш)

## ЗАВЕЩАНИЕ ПАЛТИЕЛЯ КОССОВЕРА

### 7

ПАРИЖ, ГОРОД СВЕТА? А почему бы и нет? Однажды дождливым днем я вышел из поезда на Восточном вокзале, совершенно не представляя себе куда деваться. У меня не было в Париже ни души — ни троюродного кузена с магазином кожаных изделий, ни дядюшки на Рю де Росье. У меня был только один адрес, который я выучил наизусть — адрес Поля Гамбургера.

Трауб дал его мне со словами:

— Свяжись с ним. Кто знает, может быть, вы окажетесь полезными друг другу.

Легче сказать, чем сделать. Вряд ли я мог явиться к нему домой прямо так: словно упав с небес, с чемоданом в руке, с пустым желудком, и вообще... Я ничего не ел с самого Берлина. Слишком был напряжен и взволнован. Кроме того, мой спутник запугал меня до такой степени, что если бы я и был голоден, то и виду бы не подал.

В купе мы были одни. Он сидел у двери, а я у окна. Ничего о нем не зная, — даже был ли он евреем — я неотрывно смотрел в окно, обозревая ландшафт, небо, телеграфные столбы, дома и крытые соломой хижины, только бы не вступать с ним в разговор. Я был осторожен. Мы все еще на немецкой земле. А вдруг мой попутчик — шпион? Правда, он не похож. Но доносчики и шпионы никогда не похожи на доносчиков и шпионов. Нет, лучше уж спрятаться за своими мыслями и тоской по дому... Я все еще спорил с Ингой, я продолжал находить все новые и новые аргументы, и никогда еще они не были так красноречивы и убедительны.

И вдруг я повернулся, потрясенный: мой спутник обратился ко мне — на идиш!

— В этой проклятой стране создается впечатление, что ты являешься свидетелем конца света. Вы согласны со мной?

Я ответил ему тоже на идиш, с явной тревогой:

— Вам не следовало бы говорить об этом, да еще так громко.

Пренебрегая моим советом, он продолжал:

— Страх — это одно из библейских проклятий. Страх говорить и слушать, просыпаться и засыпать. О да — мы свидетели апокалипсиса.

Его литовский идиш, чистый и мелодичный, контрастировал с пронзительно резким голосом.

— В то же время, говорю я себе, с тех самых пор, как существует мир, всегда находится человек, который поглядит вокруг себя и возвестит, что конец близок — и он всегда прав.

Его безрассудство интриговало и раздражало меня. Я повернулся к нему лицом и принялся внимательно его разглядывать. В Берлине я принял его за принца из царствующего колена Израилева — так величественно он выглядел. Как я уже говорил, он был одет с элегантностью и даже изысканностью — жилетка, золотая цепочка. Он вел себя свободно и легко. У него был орлиный нос и отчужденный задумчивый взгляд. В Барассах и Берлине, в Лиянове и Бухаресте я встречал евреев всех типов: верующих и неверующих, богатых и бедных, любвеобильных и равнодушных, — но этот не походил ни на одного из них. От него исходила таинственная сила, подчинявшая себе и меня, и его самого, он был единственным в своем роде.

— Кто вы? — спросил я его.

— Простите, я не представился. Я — профессор. Меня зовут Давид Абулесия.

По виду и манерам его нельзя было принять ни за профессора, ни за испанца. Человек по имени Давид Абулесия объяснялся бы на кастильском или ладино, но уж никак не на идиш. И я снова заподозрил, что он маскируется с какой-то скрытой целью.

— Что вы преподаете?

— Историю еврейской поэзии. Или, если хотите, поэзию еврейской истории.

И он принялся говорить со мной о поэзии Библии, пророков и Мидраша; о средневековой литании, о песнях, посвященных памяти мучеников времен Крестовых походов и погромов; о Иегуде Галеви и Шмуэле Ганагиде, об Элизере Гакалире и Мордехе Иосефе ха-Когене из Авиньона. Он с таким мастерством владел своим предметом, что я перестал замечать непрерывное хождение взад вперед в коридоре подозрительных фигур в черных плащах и мундирах. Мы приближались к границе.

— Творчество поэта и историка равнозначно, — говорил мой спутник. — Оба они высвечивают главное, вершину, и переходят к процессу отбора, сохраняя одно слово из десяти, одно событие из сотни. В чем различие между поэзией и историей? Ну, скажем, что поэзия — это незримая величина истории.

Он продолжал в том же духе так долго, что мне все это уже начало надоедать. Мы пересекали варварскую страну, где еврейская история и еврейская поэзия были постоянно под угрозой, а тут он, прямой и гордый, как статуя, играл словами, жонглировал идеями — и все на идиш в придачу. Всему же есть граница, в конце концов.



— Давид Абулесия — испанское имя. Где вы научились говорить на идиш?

Ответ оказался прост: родители его матери были русскими евреями. А родители отца?

— Сефарды из Танжера.

Где он живет, где преподает?

— Повсюду. Я уже несколько лет путешествую. Езжу по городам и деревням, из страны в страну.

Чего же он ищет?

— Не чего, а кого, — сказал он. — Я кого-то ищу.

— Не мессию ли? — спросил я шутливо.

Мой тон ему не понравился. Он спросил надменно:

— Почему же нет? Почему нельзя искать его? Он принадлежит нашему миру, молодой человек. Талмудические сказания помещают его у ворот Рима, но на самом деле он живет среди нас, где угодно. В книге Зогар написано, что он ждет, когда его позовут. Запомните, молодой человек, Мессия похож на любого из нас, только не на Мессию. Его имя было дано ему еще до Акта Творения, еще до его собственного появления. История Мессии — это история поисков, история имени в поисках существа, которому оно принадлежит, или самого этого существа.

Его отступления раздражали меня. Что он воображает о себе? Что он посвящен в тайну? Он просто сумасшедший, подумал я. Мы все еще в Рейхе Гитлера, а голова его забита только мессианскими теориями. Наверняка, он безумен. Но у меня уже не было времени выказать ему свое раздражение. Поезд остановился. Мы достигли границы, и меня поглотили иные заботы. А что если мое имя занесено в черный список? А если они меня арестуют? Эта мука длилась бесконечно: полиция и таможенники листали и листали мой паспорт, с начала и с конца, рылись в моем чемодане. Абулесия наблюдал за ними спокойным, почти отсутствующим взглядом. Потому что у него был английский паспорт? Я не заметил в нем и тени тревоги. Немцы вежливо отдали нам честь и удалились. Но напряжение не оставляло меня до тех пор, пока поезд не тронулся и не пересек границу. Только тогда я облегченно вздохнул. Теперь я уже по-другому посмотрел на моего спутника, как бы приглашая его вернуться к прерванной беседе. Но он сбил меня с толку.

— А я вас видел вчера, молодой человек, — сказал он. — Я заметил вас у цирка в Берлине. Я ждал, что вы пойдете за мной.

Он и впрямь сумасшедший, подумал я.

— Но я и пошел за вами, разве нет?

— Верно, пошли, — ответил он, — и это налагает на меня определенное обязательство. Задумайте желание, все равно какое.

Ну вот, снова началось. Теперь он уже не разыгрывает из себя Мессию, теперь он изображает Илью Пророка. Еще один, ну и что!

Их не так уж трудно встретить, этих пророков и мессий, они дешевле пареной репы, пятачок пучок. Я даже любил их, и я им тоже нравился. На моем пути их встретилось немало, начиная с самого детства. Маймонид прав: мир не мог бы существовать, не будь в нем безумцев. Но те, из моего детства, все были бедными, потерянными, заблудшими бесами, в поисках куска хлеба или благосклонного слушателя — совсем непохожими на этого профессора-сефарда, который отправился на поиски Мессии в Германию.

— Я жду — ваше желание?

— Прекрасно. Ответьте мне на вопрос: что вы делали в Германии?

Он встал со своего места у двери и сел напротив меня у окна.

— Наши мудрецы считали, что Мессия явится в тот день, когда человечество будет либо целиком виноватым, либо абсолютно невинным. Я отправился в Германию с определенной миссией — определить степень виновности страны.

— Ну и как? — спросил я, подыгрывая ему. — И что вы обнаружили?

— Мир еще не целиком виновен, но не беспокойтесь, молодой человек, — скоро будет, — ответил он с поразительной беспристрастностью. — Но...

— Но что?

— Теперь моя очередь. Я бы тоже хотел задать вам вопрос.

— Спрашивайте.

— В вашем чемодане я увидел филактерии. А сейчас вы сидите с непокрытой головой, вы не читали молитв утром. Что же вы за еврей?

— Я не религиозный еврей.

— Но тогда я не понимаю...

И скоро я уже рассказывал ему о Лиянове, о моем отце, о моих обещаниях. Абулесия заинтересовался моим прошлым. Рассказал мне о своем. Он учился в знаменитой иешиве в Литве, учился в Галиции, в Греции, в Сирии, в Старом Иерусалиме. У него везде были учителя и ученики... Слушая его, я вспомнил случай, который произошел во времена моего учения у ребе Менделя-Такитерна.

Ученики ребе были молоды, жадны до знаний, ревностны, поглощены проникновением в тайну величия Писания, величия, которое сцепляло смертных с их бессмертием. Каждое наше слово отдавалось эхом в Небесном Дворце, где Господь и Его приближенные определяли меру наших страданий; каждое из наших умолчаний имело целью вызвать ответное молчание, более высокое, более святое.

Я помню, как однажды вечером, перед полночью, Нахум, самый младший из сыновей смотрителя *мыквы*, задал вопрос:

— Мы достигли порога знания, ребе, но что в этом пользы?

Нахум дрожал, как лист, который вот-вот сорвется с ветки.

Это была тупиковая ситуация, и он знал это. Будь оно средством или целью, знание вселяет одинаковый страх.

Ребе Мендель-Такитерн долго сидел, опустив голову на руки и потом спросил:

— Ты хочешь знать, в чем польза знания? Ладно, слушай же, все слушайте: оно помогает нам понять Творение, то есть ухватить его смысл и изучать его и даже его Автора; оно помогает нам приблизиться к началу и концу одновременно; оно помогает добиться высвобождения сущего в живых существах, вечного во времени... — Казалось, учитель наш погружен в транс. Он все говорил о том, что знание — это ключ, самый драгоценный из ключей и в то же время самый опасный, потому что он открывает две одинаковые двери, но одна из них ведет к Истине, а другая в пропасть. Нахум выкрикнул:

— А если я не хочу иметь этот ключ?

— Слишком поздно, — ответил наш учитель. — Мы уже перешагнули порог, и с этой минуты сомнение уже не дозволено.

Воцарилась тишина, отягощенная дурным предчувствием. Никто не посмел нарушить ее. Она тяготела над нами до самой утренней молитвы — нет, она смела и молитву. Мы прожили тот день без молитвы, без еды, без отдыха. Вскоре после этого Нахум лишился своей веры, его брат — своей жизни, а сам я чувствовал, как почва уходит у меня из-под ног.

Давид Абулесия продолжал говорить что-то, а я вспоминал ребе Менделя-Такитерна, в глазах которого вспыхивала ярость всякий раз, когда какой-нибудь текст не поддавался осмыслению. Я вспомнил Эфраима и его политико-религиозные игры. Ингу и Трауба. Гауптмана и Бернфельда. И вот теперь Давид Абулесия... Все они пытались ускорить события, подготовить человека к приходу Мессии или найти Мессию для человека. Но цель оставалась все такой же — недостижимой. Недостижимой? Но только не для Инги. В виновной Германии она являла собой спасение. Абулесия все говорил, а я мысленно молил Ингу бросить все и приехать ко мне в Париж.

— ...Раз он не желает сам явиться к нам, — говорил между тем мой спутник, — я буду продолжать гоняться за ним, где бы он ни был — в небесах или на земле.

— Желаю удачи, — сказал я ему.

В коридоре стало оживленнее. Одни пассажиры, еще полусонные, направлялись в вагон-ресторан, другие, не до конца проснувшиеся, возвращались обратно. Мы приближались к Парижу. Мелькали унылые из-за дождя пригороды. Смех, позевывание, обмен адресами. Что, мы уже подъезжаем? Да, скоро приедем. Затекшие ноги, головная боль, тяжелые, горящие веки. Поезд замедлял ход.

— Не забываюте, молодой человек, — сказал Давид Абулесия, —

Не забывайте — величие не в том, чтобы быть Мессией, а в том, чтобы искать его.

— Ну и что, если я найду его?

— Сначала найдите, а уж потом поговорим.

— Все втроем?

Мы пожимаем руки, вместе выходим из поезда и оказываемся разделенными толпой. Я уже не думал, что увижу его когда-нибудь, но и тут я ошибался. Я искал справочное бюро, когда услышал за собой его голос:

— Я знаю Париж, молодой человек, почему бы вам не пойти со мной?

Я не мог сдержать улыбки. А что, если он и вправду Илья Пророк? Или Мессия? Не тот настоящий, не великий и единственный, но более скромный Мессия — только для меня одного. Париж, город света, проснись, я привез тебе мессию! И он повез меня в свой отель.

Его "отель" оказался просто грязным пристанищем для бедных, неподалеку от Пляс де Републик. Он всегда был битком набит, стояла вонь и было темно. Третий этаж — как мне довелось выяснить позднее — предназначался только для особых клиентов, которые проскальзывали наверх на *un petit moment* и выходили с виноватым видом.

— Преимущество этого отеля, — объяснил Абулесия, — в том, что он дешевый и что полиция заглядывает сюда чрезвычайно редко из страха напороться на какую-нибудь персону — члена кабинета или крупного промышленника.

Хозяин, пьяница с опухшим заспанным лицом, самодовольно ухмыльнулся, приветствуя нас:

— А, профессор, — воскликнул он из-за стойки, — так вы уже вернулись? Давайте посмотрим, какую комнату вам дать... А, вот видите, как всегда, ту же самую... А вот вашему приятелю...

К сожалению, моя комната на третьем этаже была занята — но только на время — постояльцем из тех, кто всегда спешит.

— Посидите здесь, — сказал хозяин, — выпейте чашечку кофе. К тому времени, как вы закончите, комната освободится, обещаю вам.

Так началось мое знакомство с жизнью туристов и отелей во Франции. Беспорядок был ужасающий. В Берлине что-нибудь подобное было просто невозможно.

— Не огорчайтесь, — говорил хозяин спустя два часа. — Постоялец там, как знать... Поставьте себя на его место...

Я мечтал бы оказаться на его месте — я буквально падал от усталости. Не зная французского, я не мог себе позволить даже роскоши выразить неудовольствие. Давид Абулесия говорил свободно, он был моим переводчиком.

— Ну вот, вы уже можете подняться наверх, — сонно объявил хозяин.

Чтобы компенсировать созданные мне неудобства, он готов был предложить — в виде исключения и временно — что-то или, вернее, кого-то в придачу к комнате. Но увидев, что я краснею, не стал настаивать.

Я вытянулся на кровати и мгновенно уснул. Давид Абулесия разбудил меня в конце дня и повел в кошерный ресторан обедать. Он пригласил меня туда и на следующий день, и через день, и все дни своего пребывания в Париже.

Я не знаю, какие дела привели его в Париж. Он уходил рано утром, не говоря мне, куда идет и когда вернется. Но всякий раз, вернувшись, стучал мне в дверь, и мы шли в ресторан. А потом заходили к нему в комнату поболтать. Смешно: двумя этажами ниже мужчины и женщины продавали и покупали друг друга, соблазняли друг друга, предавались наслаждению — нам были слышны их визги, смех, стоны, до нас доносилась смесь тошнотворных запахов, а тут, в комнате, профессор-раввин, маг-авантюрист описывал мне свои путешествия. Двумя этажами ниже мужчины и женщины доставляли друг другу простые сиюминутные радости, а Давид Абулесия говорил о конце света, о конечном опыте, о том, что роль языка теперь выросла до абсолюта. Конец, конечный... Это была его *idée fixe*, его наваждение. Теперь я уже всерьез начинал злиться. Я приехал в Париж не за тем, чтобы слушать речи об апокалиптическом развитии истории — я уже однажды подвергался этому испытанию в Лиянове. Но я не мог обидеть его. Я уже говорил Вам, гражданин следовательно, — в нем было что-то такое, какое-то необычайное благородство, да, благородство, не утраченное даже в этой ночлежке, — что внушало уважение. И уж я-то определенно имел все основания уважать его.

— А как ваш знаменитый незнакомец? Вы нашли его? — спрашивал я, чтобы выказать интерес к его делам.

— Пока нет, пока нет.

Но он продолжал свои поиски. Он ходил с рынка на рынок, из синагоги в синагогу, из одной гостиницы в другую.

— Он тоже склонен к перемене мест, — объяснил он мне. — Он тоже меняет среду обитания.

— А что если он намеренно избегает встречи с вами? Убегает от вас? Вам никогда не приходило это в голову?

— Да, возможно, что так, — соглашался он угрюмо. — Возможно, я пугаю его. У меня есть право не взывать к нему, а у него — нет. Я хочу сказать, что он не вправе отказаться и не откликнуться на мой призыв... Послушайте, что произошло со мной вчера. Я посетил больницу для умалишенных в Шарентоне. Мой друг, знаменитый психиатр, показал мне своих пациентов. Частично ради него, а частью ради них я проездом в Париже — каждый из них заявляет, что он Мессия.

Он смолк, чтобы подчеркнуть значение сказанного:

— Все они. И психиатр — тоже.

Вот о чем мы беседовали в моей или в его комнате — я сидел на кровати, а он на единственном стуле — тогда как на другом этаже хорошие и обыкновенные, не очень хорошие и не очень обыкновенные люди изгоняли свою подавленность, заполняли одиночество или, как здесь принято говорить, *делали любовь* — совсем как *делали бутерброды*.

Через неделю после приезде я отправился в контору на Рю де Парадиз, куда иностранцы вроде меня обращались за помощью и советом. Адрес этого учреждения я нашел в еврейской коммунистической газете "Дос Блэттел". Я купил еще номер "Паризер Хаинт", литературные качества которой я одобрял, в отличие от ее политической направленности. Для меня она была чересчур сионистской: еврейскому шовинизму я предпочитал коммунистический интернационализм. Да, влияние Инги оказалось более действенным, чем уроки ребе Менделя-Такитерна — я больше мечтал о Москве, чем о Иерусалиме.

Комитет помощи на Рю де Парадиз занимался в основном еврейскими беженцами особой категории: коммунистами, их путешествующими попутчиками или сочувствующими. Отделы этого комитета были забиты мужчинами и женщинами всех возрастов, которым требовался вид на жительство для получения разрешения на работу или разрешение на работу для получения вида на жительство. Польские рабочие, русские бакалейщики, румынские купцы. Измученные и напуганные, они напоминали мне Лиянов или Барассы-Красноград.

Прождав час или два, я предстал перед пышной дамой в очках, с высокой прической, которая объявила мне, что для получения денег мне следует обратиться в комнату "А", а для получения документов в комнату "Б". Как сельская учительница, она подняла вверх указательный палец, сопровождая этим жестом свои объяснения, которые она давала на идиш с сильным французским акцентом:

— Если вам нужны деньги, то вы должны иметь документ, подтверждающий, что у вас их нет, если же документы...

— У меня есть и то, и другое.

— Что? — подскочила она.

— У меня есть деньги, чтобы доказать, что у меня есть деньги, и у меня есть документы, чтобы доказать, что у меня есть документы.

— В таком случае, вам вообще ничего не нужно?

— Ничего, мадам. У меня есть надежный паспорт и достаточно денег на жизнь.

— Но тогда... что же вам нужно?

— Я хотел бы встретиться с людьми, говорящими на моем языке и думающими как я.

Бедная женщина пришла в замешательство. Она никогда не сталкивалась с такими субъектами, как я. Я объяснил ей свои намерения. Я немного пишу, приехал из Берлина, по своим взглядам я близок рабочему классу — близок, но не принадлежу к нему. Я хотел бы быть полезным... Она слушала внимательно, но с недоверием, затем поднялась и ушла в другой отдел. Через десять минут она вернулась и торжественно объявила:

— Вас примет сам товарищ Пинскер.

Следуя ее указаниям, я поднялся на второй этаж, где пожилой благообразный мужчина в рубашке с засученными рукавами велел мне постучать в последнюю дверь справа в конце коридора. За горой журналов и газет и огромной кучей бумаг, наваленной перед ним, сидел мужчина и писал. Он не потрудился даже поднять голову, чтобы кивнуть мне или хотя бы взглянуть на меня. Я пошел вперед. Никакой реакции. Он лихорадочно писал, как будто дорога была каждая минута. Что он переписывал? "Капитал"? Я стоял так долго, что, казалось, этому не будет конца. Я кашлянул. Ответа не последовало. Посасывая потухшую сигарету, он продолжал писать. Похоже, он собирался писать до конца своих или моих дней. Мое терпение лопнуло.

— Мне сказали, что вы хотите меня видеть.

Опять ни звука, ничего. Он несомненно начал новую главу, которой предстоит революционизировать философское мышление нашего поколения.

— Мне сказали внизу, что я должен повидаться с вами, я хочу сказать — побеседовать с вами, — сказал я раздраженно.

Не меняя позы, он снизошел раскрыть рот.

— Подождите, — произнес он резко.

Ну ладно. Я следил за ним с нарастающей враждебностью. Что он о себе думает? Никто еще не заставлял меня стоять и ждать столько времени. Что он хотел доказать этим? Что в каждом заведении есть свой собственный мелкий диктатор? Наконец он положил перо и обратился к самозванцу, который явился отвлекать его от дела.

— Да? Так что вам угодно?

— Сесть.

Небрежным движением правой руки, которую ему пришлось поднять довольно высоко, чтобы раздвинуть гору бумаг, он милостиво даровал мне разрешение сесть на стул, на котором громоздились словари. Его левая рука нервно шарила на столе среди массы бумаг. Найдя спички, он издал вздох облегчения и зажег потухшую сигарету. Я сел.

— Ну, выкладывайте, — сказал Пинскер. — Чего вы хотите?

— Я хотел бы делать что-нибудь. Предпочтительно что-нибудь полезное.

— Кто вы?

Прекрасно — Пинскер не писатель, он инспектор полиции. Я быстро представился.

— Вы говорите, что вы писатель?

— Мне бы хотелось писать.

— Что?

Как будто я знал что! Кто когда знает, что он хочет писать? Сначала человек пишет, а уж потом узнает, что он написал.

— Ладно, не хотите отвечать, не надо. Ответьте на другой вопрос: почему вы хотите писать?

Он явно искал повод для схватки. Почему, почему я хочу писать? Будто кто-нибудь вообще знает, отчего человек делает то или другое, даже не отдавая себе отчета.

— Ну так?..

Я начал, как мог, объяснять, что мне очень жаль, но... Я не смог ничего объяснить. Чтобы скрыть свою явную некомпетентность, я пустился рассказывать о своей "деятельности" в качестве правой руки Эфраима, о своей "работе" в качестве соратника Инги.

Он перебил меня:

— Вы член партии?

— Нет. — И поспешил добавить, — Но я поэт.

Застигнутый врасплох, он было бросил сосать свою сигарету, но очень скоро справился с замешательством:

— Тогда многое понятно. Теперь все обретает смысл. Я не читал утреннюю газету, но я голоден. О'кей, о'кей... о чем ваши стихи?

Я начал, заикаясь. Я никогда не мог — и до сих пор не могу — говорить о своем "творчестве".

— Покажите мне их, — приказал Пинскер.

— У меня с собой ничего нет.

— Прочтите что-нибудь, — сказал он с выражением крайнего утомления на лице.

— Я — я не могу.

— Но тогда зачем вы явились сюда, молодой человек?

Значит, он все-таки способен разгневаться, этот Пинскер, он способен на какие-то человеческие эмоции: он не был машиной для писания, он был машиной для нанесения обид. Заинтересованный, я разглядывал как посторонний наблюдатель — упадет или не упадет? Я говорю о сигаретном пепле, разумеется.

— Вы думаете, у меня много времени, чтобы тратить его впустую? Зачем они мне вас послали?

Он все больше раздражался. Он стукнул кулаком по столу, подняв при этом облако пыли.

— Простите, мсье Пинскер, мне не следовало приходить. Не следовало попусту беспокоить вас. Я интересую вас меньше, чем любой из самых паршивых журналов на вашем столе. Я лучше пойду поговорю



с главным редактором "Дос Блэттел". Он будет более благосклонным.

Я встал. Встал и он. Какое разочарование — я думал, он куда выше.

— В самом деле? — произнес он, загораясь. — Вы в этом уверены? Вы всерьез полагаете, что главный редактор окажется более приятным человеком?

— Я безусловно надеюсь на это.

Упадет, не упадет? Пепел упал. Пинскер закинул назад свою взъерошенную голову и презрительно фыркнул:

— Не оставляйте надежды, молодой человек, не теряйте надежды.

— Ну, это не трудно. Любой человек окажется приятнее вас.

— Любой? А что, если я скажу вам, что я и есть главный редактор?

Он расхохотался, а я чувствовал, что проваливаюсь сквозь землю или даже глубже. И вот тогда только он протянул мне руку помощи. Он пожал мне руку и велел немедленно отправляться в отель и быстро возвращаться со стихами.

Невероятно, но факт, я клянусь — ему понравились мои стихи, и он пообещал напечатать их. Он сдержал слово, и первое было напечатано уже в следующем, воскресном, номере. Оно называлось "Как". Как вернуть голодным их гордость, униженным — их силу? Как говорить о любви безродным, а о счастье сиротам? Как это можно сделать? Спросите у униженных, у страдающих, только они могут научить вас как... А если вы не спросите их, то берегитесь! Они ревнивы — еще более ревнивы, чем боги; они требовательны — еще более требовательны, чем пророки; правдивее и сильнее судей. Да, рабочие создадут царство человека! А вы, жалкие словоблуды, вы станете стучаться в его двери, пока не обезумеете, и никто не скажет вам, как эти двери открываются...

Стихотворение это, слишком напыщенное, было плохим, я знал это — оно не вошло в мой сборник. Пинскер понял это раньше и лучше меня, но его интерес был вызван талмудистом и мистиком во мне. Он мог теперь объявить своим читателям о еще одной победе просвещенного еврейского пролетариата: Палтиель Коссовер, еврей по происхождению и поэт по профессии, отрекся от Бога своих предков ради рабочего класса, от устаревшей Торы ради коммунистического идеала, от праздного созерцания ради классово-борьбы...

Его редакционная заметка была на уровне его газеты, но это меня не занимало, для меня важно было напечататься.

В результате, я стал писать для Пинскера по два-три стихотворения в день. Он обычно держал их целую неделю, а потом возвращал мне: слишком просто, слишком сложно, слишком личное или недостаточно личное, слишком лирично, слишком сухо — и уж безусловно слишком много стихов. Однако не все стихи были действительно плохими. Семь из них я даже включил в свой сборник.

Пинскер советовал мне попробовать себя в прозе. Однажды он взял у меня рассказ, короткую псевдо-хасидскую медитацию; в другой раз даже напечатал стихотворение, и это событие стало для меня праздником.

Что же касается Давида Абулеси, то он прочитал только первое стихотворение. Он читал его с высоко поднятыми от удивления бровями, шевеля губами, и с таким печальным видом, что, казалось, он вот-вот расплачется.

— Мы стучимся в ворота, — заметил он, — но так ли уж хороши они для всех? А потом, молодой человек, — что ждет нас по ту сторону этих ворот, скажите мне?

— Это прежде я всегда был занят тем, что там, по другую сторону, а теперь меня волнует только то, что по эту сторону.

— Правда? Как жаль! Да, Палтиель, именно это я и хочу сказать: поэт, который не пытается заглянуть за стену, подобен птице, которая не поет.

В один прекрасный день он объявил о своем отъезде. Ему надо повидать друзей и выполнить свою миссию в Италии, Греции и Палестине.

— Мне бы очень хотелось что-нибудь для вас сделать.

— Так что, вы хотите, чтобы я задумал еще одно желание?

— Нет, — сказал он, дружески улыбаясь, — совсем другое. Мне хотелось бы, чтобы вы поручили мне хранить ваши тфелины. Вы больше не навязываете их. Я верну их вам, обещаю.

— Нет, только не это. Мои филактерии и я неразлучны. Так хотел мой отец.

— Я понимаю, — сказал мой таинственный посланец, — и я очень рад, что вы отказали мне.

Мы попрощались за руку. У меня на языке вертелся все тот же вопрос вопросов тех лет: *увидимся ли мы когда-нибудь снова?* Мой друг был уверен в этом, я — нет. В тот же день я съехал из гостиницы — к сожалению хозяина и нескольких хорошеньких девушек, которым нравилось поддразнивать меня. Я переселился в квартиру страстной активистки, которую рекомендовал мне Пинскер, или, вернее, он рекомендовал ей меня. — Она обожает поэтов, — сказал он мне. Неизменная сигарета, как всегда, свисала у него изо рта.

Ее звали Шейна Розенблюм. Мне особенно запомнились ее губы, всегда трепещущие, налитые, зовущие. Ее руки, голова, глаза, их я увидел только потом — после первой ночи.

Она была довольно странной активисткой, эта Шейна Розенблюм. Двадцати лет от роду, владелица роскошной квартиры на Рю де ла Боти, она была коммунисткой по своему темпераменту. Она привечала в своем доме нелегальных иностранцев, которых посылала ей партия, но при этом подвергала их тщательной селекции. Как только я переступил

ее порог, она устроила мне в полном смысле слова инквизиторский допрос.

— Кто послал вас?

— Пинскер.

— Потому, что у вас нет никаких документов? Вы здесь нелегально?

— Совсем не поэтому.

— Тогда почему же? Зачем Пинскер...

— Потому... — начал я, краснея. — Потому что я поэт.

И, точно следуя указаниям Пинскера, я вручил ей газету с моим первым опубликованным стихотворением.

— О, прекрасно, — сказала она. — Проходите, присаживайтесь, там, в гостиной. Мы поговорим о вашем творчестве.

Что это было? Ирония, скверный характер? Меня это совершенно не заботило. На протяжении всего разговора я видел только ее губы — они то приоткрывались, то снова сжимались с удивительной регулярностью. Время от времени она облизывала их языком, делая это с такой медлительностью, будто приучала их к терпению.

— И часто вы так стучитесь в двери? — спросила она вдруг, прочтя мое стихотворение.

Ее голос смутил меня: сладострастный, уж слишком сладострастный. Я откашлялся, но промолчал.

— Глупо стучаться, — продолжала она. — Двери надо открывать силой.

Завороженный ее губами, я усмотрел в ее словах скрытый намек. Мне бы хотелось ответить: да, нет, вы правы, мадемуазель, или: это не так, товарищ, но — неопытность? Застенчивость? Память об Инге? — я не произнес ни единого слова.

— Я беру вас. — сказала она. — Постояльцем, я имею в виду. Идите и привезите ваши вещи.

Сделав сверхчеловеческое усилие, я спросил:

— А сколько это будет стоить?

— Не беспокойтесь о плате. Будете платить, сколько сможете; ничто не доставляет мне большего удовольствия, чем возможность помочь нашим замечательным еврейским поэтам.

Я хотел возразить. Я — замечательный? Но она уже вытолкала меня на улицу.

— Идите, мой дорогой поэт, не будем терять времени. Скорее возвращайтесь. Я хочу поближе познакомиться с вами. С вашими стихами, разумеется.

Я не заставил себя уговаривать. Фортуна улыбалась мне. Я без секундной задержки доехал на всех поездах метро и закончил все дела. Не успел я уйти от нее, как уже снова был там и водворился в маленькой комнате с окном во двор, а вскоре уже сидел на софе в гостиной с

тетрадью своих стихов. На столе стоял кофейник, от которого шел опьяняющий запах. На дворе темнело. Шейна готовилась погрузиться в транс.

Я читал стихи, а мои мысли блуждали далеко: я думал об отце, молящемся в Лиянове, об Инге, носящейся по улицам Берлина; я видел неодобрительный взгляд своей матери и покорный — своей бывшей подруги. Читай, — сказал незнакомый голос. И я читал, не понимая того, что читаю; я отсутствовал. Читай, не останавливайся, читай, читай, — говорил страстный рот... большой и бездонный, зовущий меня познать и подчинить его. Безумная мысль — этот рот открывает мне тайный мир, где я найду мой народ.

И вот, дочитав до середины плохого стиха, где речь шла о мечте в руинах, я потерял голову. И голос мой угас во тьме.

Париж — город встреч, неожиданных и тяжких открытий. В нем сходятся все "измы", включая и "анти-измы", как и все революции, включая и контрреволюции. Ни в одном другом месте на земле не ведут так много разговоров на самые разные темы, и если не слишком искренне, то уж очень страстно. Бергсон и Бретон, Блюм и Мора, Дрие и Мальро, Сталин и Троцкий. Я проводил вечера у Ле Шенье на Монмартре с редактором "Дос Блэттел", слушал их разговоры о политических, поэтических и философских событиях под углом зрения коммуниста. Речь Деладье занимала нас не меньше, чем последняя рецензия в "Паризер Хаинт" на одного из наших авторов.

Я не принимал участия в дебатах, я предпочитал слушать, узнавать и постигать. Я чувствовал себя слишком юным, только начинающим, чтобы иметь свое мнение. И только в одном вопросе я позволял себе высказывать собственное суждение — о гитлеровской Германии. Но, к сожалению, и тут не было недостатка в экспертах, и у всех них голоса были громче моего.

Наконец я встретился с Полем Гамбургером, и эта встреча еще раз изменила мою жизнь.

Гамбургер принял меня в своем гостиничном номере. Да, он помнил Трауба. Он знал Ингу и поддерживал с ней связь.

— Я рад, что вы приехали, — сказал он. — Оставайтесь со мной. Мы хорошо поработаем вместе.

Он вел себя, как деловой человек. Люди приходили к нему со своими вопросами и уходили, получив точные инструкции. Они приносили ему гранки и письма, на которые он коротко отвечал. Все говорили с ним на немецком — я тоже. У нас сразу же возник тесный контакт.

— Но какого характера у вас работа?

— Скоро вы все поймете.

— Когда, Польша?

— Поймете, поверьте мне.

Поль Гамбургер был гигантом, как и Абулесия, но крепче сколоченным. Он был человеком редкого ума, образованный, щедрый и решительный. Он мог все. Он организовывал работу сети, находил эмиссаров, писал памфлеты и пропагандистские наставления, руководил средствами связи, уже действующими и теми, которые еще предстояло создать между различными подпольными группами в Германии. Все знали его, и он знал всех. Хотя он и был коммунистом, но влияние его выходило далеко за рамки партийной структуры. Людям нравилось работать с ним, на него.

Он тут же поручил мне "поэтическую" колонку в многоязычных журналах, которые он издавал. Таким образом я приобрел нескольких друзей и немалое число врагов. Ту небольшую власть, которая у меня была — наградить за работу или отклонить кого-нибудь из авторов, — я использовал очень неохотно. Я в равной степени не выносил как лесть, так и разоблачения. Но все же дело должно было быть сделано. Поль часто говорил: "Мы на войне; твои личные чувства и вкусы полезны нам только в той мере, в какой они помогают бороться с нацистами".

Я разделял его убеждения, но при этом не был членом партии. Я буквально умолял Пинскера рекомендовать меня в кандидаты еврейской культурной секции партии, но Поль советовал мне не вступать в партию и постоянно дружески распекал меня за мои попытки.

— Чего тебе не хватает? Билета? Для чего он тебе нужен? Это всего только листок бумаги с твоей фотографией на нем, все равно как удостоверение личности, выданное полицейским управлением. У меня дюжина таких билетов. Имена меняются, а моя фотография остается неизменной. Вот и все.

— Ты не понимаешь...

— Чего я не понимаю? Твоего желания стать членом партии, твоего стремления принадлежать к прекрасному сплоченному братству? Но ведь это романтизм, мой бедный Палтиель. С билетом или без него ты — один из нас, разве не так?

Да, это было так. Оплачиваемый из тайных фондов партии, я работал для партии, рисковал для партии, жил для партии. Я даже страдал ради партии: реакционный "Паризер Хаинт" никогда не упускал случая пустить в меня отравленную стрелу. Шла война. То, что я писал, раздражало их, мои стихи приводили их в ярость. В нашей газете мы тоже не играли с ними в детские игры. Наши публичные бои мы вели с железной твердостью, переходя границы наших политических противоречий. Все, что бы они ни проповедовали, было злом, все, что делали мы, было возвышенно. Мы защищали правду и справедливость; они занимались фальсификацией и идолопоклонством.

Чудеса: мы были евреями, но и они тоже; мы говорили на идиш, и они тоже; мы происходили из Центральной Европы, так же как и

они; наши родители были воспитаны на Торе, и их тоже; и все же, все же — нас разделяла пропасть.

Мы сражались с одним и тем же врагом. Одинаковая опасность угрожала нам. В глазах фашистов все мы были евреями — жидами. Все мы были им ненавистны и презренны, годны только на то, чтобы быть изгнанными из страны, выброшенными из общества, уничтоженными. Мы боролись с этим, но не вместе. Для нас было невозможно прийти к какому-нибудь соглашению в организации общего митинга, демонстраций или актов солидарности и протеста. Невозможно было объединить наши силы и волю. Мы вели наши битвы порознь. Можно было подумать, что мы больше боремся друг с другом, чем с немецкими или французскими антисемитами.

Моя статья, появившаяся в конце 1935-го или в начале 1936 года, обрушила на мою голову лавину полных ненависти откликов в "Пари-зер Хаинт". В этой статье я объяснял, почему я возражаю против основного принципа сионизма. Должен быть сделан выбор: либо вы религиозные евреи и в этом случае вам запрещено восстанавливать царство Давида до пришествия его сына; либо вы не религиозны и тогда еврейский национализм станет угрозой для евреев, спасение которых он провозглашает. И я заявлял: еврейское государство в Палестине станет еще одним гетто, а мы именно против гетто и воюем. Мы боремся против стен, против дискриминации, против барьеров во всем мире. Мы рассматриваем сам институт гетто как порок, клеймо позора; мы провозглашаем лозунг: человечество без границ. Религиозные верования сеют недоверие и ненависть между народами; вместо того, чтобы отрезать, отторгать евреев от остального человечества, мы стараемся спаять их с ним. Недостаточно освободить еврея, надо освободить в нем человека и тогда проблема будет решена...

Целую неделю сионистская газета не могла успокоиться. Они называли меня пропагандистом на содержании у Москвы, ренегатом, предателем. Более умеренные критики бранили меня, упрекая в невежестве, чтобы не сказать — в тупости. Поэты, которые лезут в политику, заявил полемист Барух Гроссман, напоминают лунатиков, которые претендуют на роль проводников.

В глубине души я ликовал: сам Барух Гроссман признал во мне поэта. Это одно стоило всех оскорблений на свете. И тем не менее, я ответил ему. Почему же поэты должны сторониться политики? А как же тогда пророки? Исайя, Иеремия, Хаваккук, Амос, Осия: они ведь тоже поэты, разве не так? И они вмешивались в политику, разве нет? А французские революционеры в 1789 году?

Целую неделю идишистский мир Парижа жил в полном смятении чувств. Два лагеря ссорились с такой словесной ожесточенностью, какую не встретишь даже в *наших* анналах, и все из-за нескольких строчек, подписанных неким Палтиелем Коссовером. Я был единственной

темой разговоров во всех кафе и клубах. В лавках кожевенных изделий, среди портных и гладильщиков все говорили только о битве между двумя оппозиционными друг другу еврейскими газетами. Нас оценивали, критиковали, поздравляли; сегодня я побеждал, завтра терпел крах; мои акции падали, росли и снова падали. Можно было подумать, что во всем мире ничего больше не происходило, ничего более значительного.

Эхо этой полемики докатилось и до Лянова. Отец мой в одном из своих коротких трогательных писем писал: "Похоже на то, что в Париже живет твой тезка; он поэт, писатель. Наш местный еженедельник перепечатал выдержки из его статьи о нашем народе... Какая досада, он марает твое имя, имя твоей семьи... Может быть, тебе стоило настоять на том, чтобы газета опубликовала твое заявление, что не ты автор статьи..." И он заканчивал свое письмо напоминанием, что я поклялся навязывать мои тфилины каждое утро.

Из всех откликов на мою статью этот единственный причинил мне боль.

Согласитесь, гражданин следовательно, это грустная ирония, что сегодня меня обличает именно "Дос Блэттел", а сионистская пресса выступает в мою защиту. Газетные вырезки, которые Вы показали мне на прошлой неделе... — или это было в прошлом месяце, или в прошлом году? Я потерял здесь всякое представление о времени — они насмешили меня. Пинскер заявляет, что я *всегда* был *агентом-provokатором*. Именно поэтому он возражал против моего вступления в партию в свое время. И другой мой коллега, Алтер Йосельсон, пишет свои политические признания на страницах той же газеты: "Я признаюсь, что действительно попался на удочку этой змеи". А в нью-йоркской коммунистической газете некто по фамилии Швевбер поливает меня грязью, в то время как десять лет назад он же восхвалял меня до небес. Да, очень больно: мои вчерашние товарищи и друзья оказались так скоры на суд и расправу.

С какой целью Вы дали мне эти статьи, гражданин следовательно? Чтобы показать мне степень моего одиночества? Вам это удалось. Ни один из остальных Ваших аргументов не причинил мне такого горя: "Ну что, заключенный Коссовер, вы думаете, я один считаю вас предателем? Может быть, вы ждете свидетельств в вашу пользу из Парижа? Так вот взгляните на эти вырезки из газет. Вы поймете, что думают о вас ваши "друзья". Они обвиняют вас в измене и делают это куда более злобно, чем мы. Читайте, читайте внимательно, заключенный Коссовер. Они объявляют вас виновным еще до начала суда над вами..."

Да, это тяжело, очень тяжело.

Вы дали мне прочесть и сионистские статьи тоже, из тактических соображений, верно? Чтобы иметь возможность сказать позже: "Вот,

поглядите, заключенный Коссовер, кто выступает в вашу защиту? Реакционеры, империалисты, худшие враги Советской России. И после этого вы продолжаете утверждать, что не были их сообщником? Но тогда скажите нам, почему они так стараются спасти вашу шкуру?"

А вот тут Вы проиграли. Видите ли, теперь-то я рад, что заслужил хорошие отзывы сионистов — верных, преданных евреев, *еврейских* евреев. Их отношение утешает меня. На этот раз Ваша уловка не сработала, в отличие от первой, которая внушила мне омерзение. Даже сейчас, когда я думаю о ней, меня тошнит. И чтобы очиститься, я думаю о своем отце, вспоминаю его лицо, голос, его просьбу. Тфилины, о да, мои филактерии. Я забыл их, оставил в шкафу под сорочками в квартире Шейны Розенблюм. Из-за всех Ваших трюков я почти забыл о ней — и о ней тоже.

Вы будете смеяться — я говорю с Вами, а думаю о ней и вижу перед глазами ее рот, ничего больше. Она сводила меня с ума. Стоило ей только приоткрыть губы — и мое тело устремлялось к ней. Иногда я приходил домой поздно, после изнурительного дня митингов и, увидев Шейну, спящую в своей или моей кровати, несмотря на усталость и потребность в сне, ложился с ней — чтобы обнять ее, обнимать до самого утра.

В газете я встречал и других девушек, которые нравились мне. Вокруг Поля Гамбургера всегда вились таинственные красивые женщины. Я помню Лизу — изящная, с лицом ангела, она была связана с подпольной группой в Германии. Я желал ее, но она этого не знала. Я помню Клэр — высокая, всегда смеющаяся, она флиртовала со всеми, рассказывала пикантные истории и производила впечатление женщины, которая только и делает, что занимается любовью... и все же молва говорила, что она девственница. Была еще Мадлен, одна из нескольких секретарш Поля, которая переводила его статьи на французский. Она всегда хмурилась, работая. Она не была хорошенькой, но мне нравилась ее сосредоточенность. Я бы мог завести недолгие любовные связи, но у меня никогда не было времени — и смелости. То небольшое, что оставалось от того и от другого, я отдавал моей квартирной хозяйке. Ритаул наш был неизменным. Она заставляла меня читать стихотворение и закрывала глаза. Она ровным счетом ничего не смыслила в поэзии — ну так что же? Она по-царски одаривала меня тем не менее.

Любила ли она меня? Возможно. Любил ли я ее? Временами. Я настаивал на уплате денег за квартиру, символической суммы. Я обращался к ней на "вы", во всяком случае вначале. Она же никогда не называла меня по имени, только всякими причудливыми прозвищами. То "мой поэт", то "мой великий поэт"... "Не голоден ли slučajем мой маленький гений?" или "Не замерз ли мой великий Рембо?"

От Пинскера я знал, что у нее было много любовников, но она ни-



когда не упоминала о них. "Прошлое есть прошлое, — говаривала она, грозя мне пальчиком, — не надо его касаться".

Ее манило будущее. Если бы ей понадобилось, она могла бы зарабатывать себе на жизнь гаданием. Точность ее предчувствий вселяла в меня тревогу. Она вставала утром и говорила, зевая: "Я чувствую, что скоро буду хоронить кого-нибудь". И на той же неделе умирала одна из ее теток. Или в другой раз: "Скоро нам предстоит отпраздновать какое-то радостное событие". На следующий день один из ее товарищей бежал из немецкой тюрьмы. Отсюда и мой страх обмануть ее. Она бы все равно догадалась.

Я думаю, что она была мне верна, иначе я бы наткнулся на еще одного поэта в доме. Но этого ни разу не случилось. Иногда я мельком видел какого-нибудь анонимного гостя, посланного партией, который оставался у нас на ночь или две. Я уступал ему мою комнату, а сам спал у Шейны.

Я редко "выводил" ее куда-нибудь из-за отсутствия денег. Ни при каких обстоятельствах я не позволил бы ей оплатить счет в ресторане или кафе. Гордость? Тщеславие? И то, и другое. И раз уж мы заговорили об этом, добавим еще и самоуважение, и пережитки буржуазного воспитания: в Лиянове хорошо воспитанный молодой человек никогда не позволил бы себе быть на содержании у женщины, как бы богата и равнодушна к еврейской поэзии она ни была.

И все-таки однажды вечером я пригласил ее пообедать. Я только что получил деньги за длинную новеллу, опубликованную моей газетой и переведенную на французский постоянным сотрудником для "Сэ Суар". Впервые я печатался по-французски. Я был в приподнятом настроении. Мы как раз пили за это, Шейна и я, когда в дверях ресторана появился Поль. Он знал Шейну, и она помахала ему рукой, чтобы он шел к нам. Поль был моим самым близким другом, но по какой-то необъяснимой причине его присутствие стесняло меня. Осудит ли он меня? Например за то, что я живу с богатой женщиной? Я все еще был пуританином. Я помрачнел. Шейна была на высоте; элегантная и соблазнительная, со звонким смехом, она привлекала внимание. Закралось подозрение: Поль и она... возможно ли? Наверняка Поль сказал бы мне об этом. Прямолинейность и открытость были его стилем. Правда превыше всего, так же высоко, как и дружба. Он бы посадил меня перед собой в своем кабинете, закрыл дверь и, глядя мне в глаза, сказал бы: "Послушай, дружище, я знаю, ты живешь с Шейной. Меня это не касается, пока ты выполняешь свою работу". И еще: "Я хочу, чтобы ты знал, что мы были близки с Шейной, но это все давно уже позади". Вот как поступил бы в таком случае Поль Гамбургер. Нет, между ними ничего не было.

Тогда почему это меня донимало? Меня раздражало то, что я не мог понять, что меня раздражает. Поль же вел себя очень естественно.

Он с юмором комментировал текущие события, описывал ситуацию в Германии: анекдоты, предсказания, слухи. Он был еще более великолепен и привлекателен, чем всегда. Когда обед был закончен, у него хватило такта не пойти с нами:

— Я должен кое-что еще сделать здесь неподалеку, — сказал он, поцеловав Шейну в обе щеки. Он пожал мне руку и удалился в сторону оперы. Я был ему благодарен. Я был счастлив.

Был ли на самом деле? В этой холодной пустой камере, куда никогда не проникает солнце, даже по приказу свыше, ответ кажется мне однозначным. Да, я был счастлив, свободен, беззаботен, благословен любовью и дружбой. Более того, я знал, что делаю хорошую и полезную работу. Все казалось очень простым. В больном обществе мы были его единственным шансом на поправку. Мы поднимали знамя протеста против самодовольства и смирения. Я знал, куда мне идти, я знал, чего хочу и от кого, и как я собираюсь этого добиться. Я знал своих врагов и указывал на них. И я знал, кто мои союзники. Это ли не истинное счастье? Сегодня я говорю "да" без колебания, без оговорок. Тогда же я бы сказал "не знаю". Я бы сказал: "Счастье? Я слишком занят, чтобы думать об этом; счастье, господа, это для буржуазии; у нас же, пролетариата, есть дела и поважнее".

И все-таки мне довелось пережить счастливые мгновения — осознанные и глубоко прочувствованные — и я их помню. Однажды я посетил одну семью на севере, в самый разгар забастовки. Меня встретил шахтер со своими детьми. Грустные, но гордые, они пригласили меня к себе. — "Нам нечем угостить вас, совсем ничего нет".

— Как это нечем? — сказал я им. — Одно-два слова... Рассказа будет достаточно. А я все запишу.

Они молча переглянулись, как бы советуясь, затем отец повернулся ко мне и сказал: "Обычно мы не рассказываем о себе. Но раз уж вы наш гость, мы таким образом окажем вам гостеприимство".

Я задавал вопросы, они отвечали. Как они живут, как сводят концы с концами... О болезни и смерти матери... О солидарности их товарищей шахтеров... Я слушал, делал записи и испытывал стыд. Мне было стыдно, что я не голоден, не безработен. А что если сходить сейчас к бакалейщику? Я боялся смутить их. Я сделаю это позже.

Бакалейщик вытаращил глаза от удивления, его поразили размеры моего заказа. Я сказал ему, куда доставить продукты. — Все это? — Да, все. Я заплатил и отправился на станцию. Поезд отходил только через час. Вдруг я услышал чьи-то шаги. Пришел мой шахтер и сел рядом со мной на скамью. Он сказал: "То, что вы сделали — как бы это сказать? — это прекрасно".

Его манера разговаривать, такая знакомая, растрогала меня. Он так же неуклюж, как и я, тоже застенчив и прячет свои чувства.

— Я не знаю... — сказал он.

— Чего не знаете?

— Этот Санта Клаус, он что, коммунист?

— Санта Клаус? Я еврей, товарищ. Нашего Санта Клауса зовут Ильей Пророком. Он выдает себя то за крестьянина, то за нищего, а то за кучера.

— И он тоже коммунист?

И мы оба рассмеялись. Вот это я и называю счастьем.

А вот еще один случай: демонстрация от Пляс де Републик до Бастилии. Народный Фронт — герой дня, все буквально помешаны на нем. Леон Блюм и Морис Торез сияют, дарят всех лучезарными улыбками; социалисты и коммунисты обнимаются. Мы кричим о своих надеждах во всю мощь своих легких. С поднятыми вверх кулаками я марширую вдоль платформы; я чувствую себя братом каждого рабочего человека и, как и он, пускаю пузыри энтузиазма. Вместе с товарищами из газеты и наших вспомогательных организаций мы шествуем с высоко поднятыми головами, радостные, убежденные, вдохновленные непоколебимой верой в нашу силу: мы победим нацизм. Я не француз — ну так что же? Я член огромной семьи, которая на своих плечах несет историю человечества. За нами, перед нами, вокруг нас идут интеллектуалы и портовые грузчики, виноградари и каменщики, все они ступают твердым и ровным шагом, несокрушимые, готовые подчинить себе землю, а если понадобится — и солнце тоже. Простите меня, гражданин следователь, мне вспомнилась острота Троцкого: “И если нам скажут, что солнце сияет только для буржуазии, то мы погасим и солнце”. Нет, Троцкий, что проку гасить солнце? Мы заставим его повернуться в нашу сторону, это гораздо практичнее... И вдруг в толпе я увидел группы сионистов. В их рядах тоже были социалисты. Подумать только — их газета прекратила свои нападки на меня несколько недель назад. И снова я обращаюсь мыслями к Илье Пророку: его чудесам нет конца! Продолжая свой марш и выкрикивая привычные лозунги, я тайно обращаюсь с молитвой к самому демократичному, самому политичному и воинствующему из всех наших пророков; я благодарю его за участие в наших делах. Я обращаюсь мыслями и к своему отцу; я благодарю его за то, что он научил меня молиться и испытывать благодарность. Если когда-нибудь он увидит мою фотографию в еврейской или румынской газете, он непременно напишет мне письмо, которое не причинит мне боли.

Секретная миссия в Гамбург: я вручаю некую сумму денег группе, которой поручено организовать исчезновение подпольного лидера. Позднее я узнаю, что речь шла о Брандберге, депутате, друге Розы Люксембург. Три встречи в трех разных общественных местах: на вокзале, в порту и на остановке трамвая № 3. Коды, пароли. Сначала я попадаю в руки официанта, потом кондуктора трамвая. В конце концов я оказываюсь в ресторане рядом с неряшливо одетой домохозяй-

кой. Следуя инструкциям, я кладу рядом с собой на стул номер "Фолькишер Беобахтер"; деньги вложены внутрь. Я даю моей соседке возможность произвести замену. Она берет мой журнал и на его место кладет свой. Мы едим неторопливо, молча, как двое посторонних людей; она уходит раньше. Украдкой я провожаю ее глазами. *Увидимся ли мы когда-нибудь снова?* Команды, в которых я участвую, постоянно меняются, а этот вопрос остается неизменным. Я думаю об Инге. Она несомненно выполняет подобные поручения; сколько же времени осталось до ее ареста? У меня возникает мысль: а что если остановиться в Берлине? На один день, на одну ночь? Мое сердце стучит, как барабан. Нет, приказ четкий. Запрещено встречаться со старыми друзьями, чтобы не подвергать их ненужному риску. Я никогда больше не видел гамбургскую домохозяйку. Но спустя несколько месяцев я встретил у Поля больного пожилого человека. Поль познакомил нас. "Это он", — сказал Поль, указывая на меня. И человек этот долго жал мне руку. "Я обязан вам жизнью. Да, да, я обязан вам жизнью..." А я стоял и думал: вот что я называю счастьем — когда человек обязан тебе жизнью.

О да, я был счастлив в Париже: как только еврейский активист — да еще и поэт в придачу — может быть счастлив.

Была еще и поездка в Палестину. Незабываемое, молниеносное путешествие. Я переживал его очень восторженно — чуть не сказал: с религиозным экстазом — от начала до конца. И с начала до конца я видел перед собой глаза моего отца.

Одним пасмурным утром Поль вызвал меня к себе в кабинет.

— Святая Земля — что бы ты сказал о поездке туда?

Чувство — теперь я уже не могу точно определить, что это было, — которое я испытал тогда, лишило меня дара речи.

— Мы все время слышим, что там происходят серьезные события, волнения, — сказал Поль. — Сложная, запутанная ситуация. Англичане, арабы, евреи; интриги, заговоры; религия, политика, финансы; в общем — одна огромная неразбериха. Мы не можем найти ни начала, ни конца, а хотели бы.

Он положил руку мне на плечо и спросил тихо: "Ты справишься с этим? Я имею в виду — сумеешь ли ты сохранить нейтралитет, остаться объективным? Ты ведь не забудешь, что страстность ослепляет, мешая справедливости суждений и потому опасна?"

Я изменился в лице. Да, я был тронут, не отрицаю этого.

Бюро Поля взяло на себя все заботы по организации моей поездки: визы, билет на пароход, мое "прикрытие" — удостоверение специального корреспондента престижного еженедельника "Имаже де ла ви". Неограниченные расходы. Лучшие отели. И я повезу с собой значительную сумму денег для передачи человеку, который в одном кафе в Яффе представится как "пропавший без вести кузен Вольфа".

Плавание было ужасным. Не успели мы сняться с якоря в Марсе-

ле, как море разбушевало. Я не мог себе представить, что такой большой и тяжелый корабль волны могут швырять, как спичечную коробку. Казалось, что корабль поднимается и опускается одновременно и одновременно делает крен вправо и влево, а я остаюсь позади, всегда позади, и чудовищные челюсти черных волн пытаются проглотить меня. Тошнота вызывала у меня страстное желание улететь, умереть, исчезнуть в темных водах.

Но показывается солнце, и покой возвращает мне вкус к жизни. Я провожу часы на мостике, я чувствую зов моря, мне нравится бормотание волн, напоминающее бесконечную песнь; мне нравится густая пена, подчеркивающая несостоятельность всех четких форм. Мир и глубина — я не сопротивляюсь. Я смотрю и боюсь смотреть слишком долго. Я ухожу почитать, поболтать с австрийским исследователем или с французской египтологом, эмиссаром кибуца. Трудно поверить, что человек может так быстро забыть все. Вчера я так страдал, что думал о смерти. Сегодня, когда мне так хорошо и покойно, я думаю о смерти.

В последнюю ночь я не мог спать. Взволнованный, охваченный тревогой, с бешено бьющимся сердцем ученик Талмуда из Лянова стоял все время на мостике, чтобы не пропустить этого мгновения первого контакта, первого впечатления. Другие пассажиры тоже, видимо, испытывали то же любопытство, то же нетерпение. То там, то здесь я слышал шепот, вздох. Пароход скользил к берегу, затаив дыхание.

На рассвете я увидел Кармель. Она поднималась из моря в сверкающее небо, где густая голубизна была прострелена красным. Красота ландшафта причинила мне почти физическую боль. Широко раскрытыми глазами я впился в горизонт и услышал голос отца: "Вот она, страна наших предков, сынок. Не кажется ли тебе, что ты должен помолиться за себя и за тех, кто уже не может молиться?" Я спустился в каюту, и, послушный воле Гершона Коссовера, его сын навязал свои филатерии, с которыми он никогда не расставался.

Хайфа, Тель-Авив, Иерусалим. Под опекой Политического отдела Еврейского агентства я путешествовал по всей стране, изучая ее проблемы, вникая в ее многолетнюю драму. Я хотел встретиться с членами социалистических коммун: Дегании, Эйн-Харода и Гиват-Бреннера. Я хотел бы прожить там до конца жизни. Я боялся за их активистов, таких молодых и красивых, таких открытых и решительных, готовящихся к вооруженному сопротивлению арабам и англичанам.

Я был изумлен: "Вас так мало и вы все-таки надеетесь всех их одолеть?"

— Здесь история значит больше, чем статистика.

— Но вы безумны! Чтобы воевать, нужны люди, оружие. На войну ходят не с идеями и словами. Библия, может быть, и окажется полезной, но она не защитит вас от пуль.

— Вы мыслите в политических категориях. Если бы мы рассуждали по-вашему, то немедленно отказались бы от борьбы.

— Вы безумцы!

Мне нравилось их безумие. И возмущала колониальная политика англичан. Как империалисты они одинаково презирали и евреев, и арабов, развлекаясь тем, что натравливали их друг на друга. Мастерства двуличия и интриги им было не занимать. Если верить им, то ни евреи, ни арабы не смогут просуществовать без них; без них в стране начнется резня.

В Иерусалиме я бродил по узким, шумным улочкам Старого Города, выискивая памятные места, свидетельства другого века. Мне нравилось небо, покоящееся на верхушках кедров, раскаленные добела облака над куполами, недвижные тени, заключившие в свои объятия хижины и лавки. Мне нравились погонщики верблюдов и сами верблюды, неподвижно стоящие у ворот города. Мне нравился муэдзин, чьи призывы к молитве и вере уносились и терялись вдали; это рождало во мне ностальгию. Но больше всего мне нравилась каменная мостовая, ведущая к Стене Храма. Последние несколько шагов я одолевал бегом. Там я видел пилигримов, нищих, мистиков-мечтателей, ищущих озарения. И я присоединялся к ним, сам не понимая зачем; они не спрашивали меня ни о чем, и я ничего не спрашивал у них.

Однажды вечером из темноты вынырнул мужчина и подошел ко мне. Он припал к земле рядом со мной и поздоровался. В серебряном полусвете луны я узнал Абулесию, моего друга-сефарда. Он улыбался мне или просто разглядывал меня? И откуда он взялся, наконец? Прямо с неба? Мы поздоровались за руку, и — как это глупо — я чуть не расплакался.

— Естественно, — сказал Давид Абулесия. — Тут всем хочется плакать. Здесь ведь и сам Господь плачет над руинами Его Храма и Его Творения.

Мы бродили по городу. Воздух благоухал, ветер носился в горах, продираясь сквозь деревья и спускался в долины отдохнуть. Звезда мерцала. За стенами домов мужчины и женщины пытались истолковать смысл их неожиданной встречи, а может, и нашей.

— Ну, а что же Мессия? Вы все еще разыскиваете его? — спросил я своего спутника.

— Когда Он не ищет меня, то я бегу за Ним.

Но не только за этим он приехал в Палестину. Он стремился быть здесь во время волнений.

— Мое место рядом с моими преследуемыми братьями, — сказал он. — Среди тех, кого толкают в пропасть. Я хочу остановить их, удержать их от падения, я должен. Я знаю, как справиться с этим. Я тайный агент; я приехал с отчетом. К кому? Это вы прекрасно знаете. Я рассказываю Ему о своих опасениях, указываю на опасности. Моя роль в том,

чтобы вызвать тревогу; я делал это в Германии, делаю это и здесь; я делаю это везде, где Вечный Народ перед угрозой смерти. Поскольку, к сожалению, это только начало.

Я содрогнулся.

— Начало чего?

— Не знаю. Может быть, спасения? Великие страдания предшествуют яркой вспышке мессианской эры, говорят наши мистики. Это вселяет в меня страх.

— Страх? Перед страданиями?

— Да. Страдания и существуют для того, чтобы их страшились. Но я еще больше боюсь того, что все это может означать, а именно, что зло играет определенную роль в космической драме конечного спасения. И что же получается, поэт, неужели возможно, чтобы те, кто несет страдания, а значит, и несправедливость, а значит, и зло, участвуют в деле спасения?

Бродя так по Старому городу, погруженному в молчаливое раздумье, слушая безумные речи моего странного друга, я не мог сдержать улыбки. Я думал: этот профессор-бродяга-мистик рассуждает как марксист, сам того не зная; он революционер помимо своей воли. Поль говорит: "Чтобы спасти мир, надо произвести ампутацию; чтобы спасти руку, надо отрезать мизинец". Старая формула: чем хуже, тем лучше. Чем больше прольется крови, тем ближе станет мир. Но я не выношу вида крови. Если для того, чтобы явиться миру в своей безупречной славе, Мессия должен прежде возвестить о своем приходе воплями народов, уничтожающих друг друга, то уж лучше пусть сидит дома. А тем не менее, оба моих друга взывают к нему, при этом каждый из них пользуется средствами, неприемлемыми для другого. Бедный Мессия! Все дозволено ради тебя и во имя тебя — что только не вынуждают тебя делать.

Мы расстались на рассвете. Из Старого города, распускающегося, как цветок поутру, шел какой-то непонятный звук, как будто с ожесточением вспороли ткань шатра — потом установилась тишина, а за ней возникли уже иные звуки: хлопанье дверей, скрип ставень. Погонщик со своим непокорным мулом. Водонос. Запахи печеных изделий и овощей. Мужчина, украдкой пробирающийся вдоль стены, — это сторож, возвращающийся домой, или преступник? Резкий крик матери: "Ахмед! Ты идешь?" И голос ребенка: "Иду, иду!"

Я покинул Иерусалим с намерением еще вернуться, но вынужден был изменить свои планы. Вместо этого я поехал в Яффу, в шумное, переполненное кафе, где, как предполагалось, "пропавший без вести кузен Вольфа" должен был узнать меня. Я очень старался не походить на туриста, но скорее всего выглядел именно так.

Сюрприз — "кузен" оказался девушкой. Сабра с восточными кор-

нями, она была очень тихой, просто одетой черноглазой шатенкой с круглым лицом и плоским носом.

— Ахува, — представилась она. — Зовите меня Ахувой.

Мы проглотили крепкий горький кофе и вышли пройтись вокруг рынка, идеального места, чтобы отделаться от любого, кому взбрела бы абсурдная идея следить за мной.

— Я должен передать тебе конверт, — сказал я.

— Не здесь.

Как в дешевом романе, она повела меня в сомнительную ночлежку — еще более сомнительную, чем та, в Париже. Я снял там комнату на несколько часов. Заискивающий швейцар вручил мне ключ с понимающей ухмылкой. Войдя в комнату, мы задернули шторы, и я закрыл дверь на ключ.

— Теперь, — сказала Ахува, — покажи, что ты привез нам, товарищ.

Она щурилась, казалось, намеренно, чтобы придать себе суровости.

— Ну так, товарищ?

Я вручил ей конверт с деньгами. Она засунула его под кофту.

— Посчитай, — сказал я.

— Я верю тебе.

— Посчитай, говорят тебе.

Она вытащила конверт из-под кофты и пересчитала деньги. Задача выполнена. Мы могли попрощаться, но Ахува решила иначе.

— Этот парень внизу, — сказала она, — что он подумает о тебе? И обо мне тоже? Из осторожности нам лучше побыть здесь хотя бы час, чтобы... чтобы заставить его поверить.

Было ли это приглашением?

— Давай поговорим, — сказала она.

Я начал расспрашивать ее о том, что происходит сейчас, о будущем, о партии, об отношениях с сионистами, с арабами. Менее образованная, чем Инга, она говорила проще, но лучше. Она загоралась неким мрачным, таинственным пламенем, которое неотразимо влекло меня к ней. Хоть один какой-нибудь знак с ее стороны, и я забыл бы Шейну и Париж; я остался бы в Палестине. Я уже был готов порвать с Европой, готов броситься в новое приключение, в объятья новой любви. Но она не сделала мне никакого знака, ни единого слова поощрения. У нее наверняка был друг. Или я был не в ее вкусе. Она отвечала на мои вопросы, задавала свои, как хороший товарищ по оружию, и ничего более.

Через час, или два, или три я знал о ней все самое существенное. Ее жажда братства, ее идеал справедливости привели ее в кибуц. Там, под влиянием друга, возникла у нее потребность в еще более широком братстве, более высокий идеал справедливости, и она покинула кибуц. Став членом партии, она осуществляла связь между ее еврейскими и



и арабскими секциями. Что думала она о тех напряженных отношениях, которые сложились в стране? Она оценивала их не так уж пессимистически.

— Англичане сеют ненависть, но почва засушлива, она не родит. В подходящий момент евреи и арабы объединятся под руководством партии и выступят единым фронтом против англичан.

— Ты не предвидишь никакого еврейского кровопролития, Ахува?

— Никакого — ни еврейского, ни арабского: для меня нет разницы между еврейской и арабской кровью.

Никто не мог предвидеть, что через несколько недель во время кровавых столкновений в Хевроне, она сама подвергнется нападению, будет изнасилована и убита бандой арабских мародеров, которые не имели представления о коммунистическом идеале человеческого братства.

Но об этом я узнал лишь спустя годы. В Советской России я встретил еврейского товарища из Палестины и спросил его, что он знает об Ахуве.

— Ахува? Может быть, она теперь работает под другим именем. Опиши ее мне.

Я описал и он воскликнул:

— Ну конечно же, — ты имеешь в виду Циону! Разве ты не знаешь, что...?

Нет, я не знал. Я не знал и много другого. Но я хорошо знал одно, о чем написал отцу: из своей поездки в Святую Землю я привез искру ее пламени, звезду с ее неба, слезинку ее памяти.

Я не читал всех молитв, какие должен был бы читать, и, конечно, читал их не каждый день, но, несмотря на все это, мой отец остался бы доволен своим посланцем.

Однако было все-таки одно облачко. Я выпустил его из виду на минуту, но я должен посмотреть правде в глаза. Теперь я могу говорить об этом без страха. Здесь, в этом узилище, которое служит Вам как храм и алтарь, гражданин следовательно, я уже больше ничего не боюсь. Здесь жертва может претендовать на свою собственную правду. То, о чем я говорю, относится к давним, очень давним, забытым событиям, к древней истории. Оно относится, если мне будет позволено напомнить Вам, к Вашим и моим предшественникам.

Где были Вы в те времена? Что делали? Западные газеты повсеместно вели кампанию против показательных процессов (Каменева, Зиновьева, Бухарина), проходивших в Советском Союзе. Газеты кричали о юридическом скандале, о насмешке над правосудием, называли их явной непристойной ложью... совсем как сейчас они говорят это в связи с моим процессом.

По просьбе Пинскера — забавно, не правда ли? — я поставил прессу на место. Я опубликовал статью, провозглашавшую мою веру в советское правосудие. Я высмеивал негодование “Паризер Хаинт”, я пригвождал к позорному столбу, я разоблачал ее морализирующие проповеди: “Итак, вы становитесь на защиту своих оппонентов? Вы вдруг оказались страшно озабочены их судьбой, вы льете горькие слезы о людях, которых еще вчера только проклинали и предавали осуждению. Позор вам, господа, — ваше лицемерие под стать только вашей слепоте!” Это был всем скандалам скандал. Я кричал так же громко, как и наши враги. Будучи новичком в таких делах, я был убежден в виновности обвиняемых — тем более, что они признали ее сами. Великие герои революции не повели бы себя как предатели, если бы они ими не были. пытка? Вздор. Они устояли перед Охранкой, вынесли сибирские тюрьмы и не поддались царским пыткам; они все это сумели бы и сейчас, будь они невиновны.

Пол не разделял моей убежденности. Теперь я могу сказать Вам об этом, теперь, когда его уже нет в живых. Он жил в Советском Союзе и лучше знал о тайной скрытой жизни там. В своих повседневных отношениях с нами, его соратниками, он прятал свои тревоги и свое потрясение. Но иногда они обнаруживали себя. Я заставлял его то с опущенной на стол головой, то неподвижно смотрящим в одну точку, то совсем обезумевшим. Растерянность этого гиганта, обычно полного юмора, была невыносимой, и я поспешно удалялся из кабинета, прикрыв за собой дверь.

Нет, Поля Гамбургера одурачить не удалось.

Однажды вечером я пришел к нему неожиданно. Заглянул наобум, без звонка, решив, что если он занят, он мне попросту скажет. Он был один, на столе перед ним стояла бутылка коньяка.

— Я совсем захандрил, — сказал он, не поднимая глаз.

Я не ответил, не зная, чего он ждет от меня.

— Я чудовищно подавлен, — повторил он, — а ты?

— Пока нет.

Я сел.

— Я хочу напиться, — сказал Поль, — а ты?

— Пока нет.

Он гладил бутылку пальцами, вертел ее туда и сюда, но не открывал.

— Смешно, — сказал он устало, — я хочу напиться, но мне не хочется пить.

— А я наоборот. Я хочу выпить, но мне не хочется напиться.

Как правило, он из благородства смеялся моим шуткам, даже если они вовсе не были смешны. На этот раз он просто пожал плечами.

— Я не понимаю... — сказал он после долгой паузы. — А ты, ты понимаешь?

— Что понимаю? — спросил я, прекрасно зная, о чем он спрашивает. Он посмотрел на меня долгим пристальным взглядом, вынуждая к ответу.

— Думаю, что понимаю. Советский Союз — вовсе не рай. Там есть хорошие люди, но есть и ренегаты. Хорошие люди заслуживают уважения, а предатели — наказания.

— Значит, ты веришь, что обвиняемые виновны? Ренегаты, предатели и идиоты?

Он повысил голос. Я начал нервничать, но повторял заученное: “А разве не так? Они ведь сами признались”.

Поль рассматривал меня с каким-то ужасом, смешанным со снисхождением, которого я никогда не замечал в нем прежде.

— Между нами огромная разница. Ты слишком юн, чтобы понять. Нас разделяет разница в возрасте, которая проявляется и в другом различии, не менее существенном, чем первое: я знаю.

— Знаешь что?

Он сделал движение рукой, как будто собирался налить себе рюмку коньяка, но не налил.

— Это игра, Палтиель. Жестокая, страшная игра, но все-таки игра.

— Ну и что же? Тем более не стоит так огорчаться. Жестокая игра? Ну ладно, когда-нибудь ей придет конец...

— Но не для обвиняемых, Палтиель. А я их знаю, обвиняемых. И тех, кто судит, тоже. Я их всех знаю, слава Богу.

Он встал и начал ходить по комнате, снова сел, схватил бутылку и сказал:

— Хуже всего то, что либо те, либо другие, но кто-то из них — предал революцию. В обоих случаях это ужасно и безнадежно.

Меня гипнотизировала бутылка, которую Поль вертел в руках. Он смотрел на нее, не видя. Он видел что-то другое, что-то, чего мои глаза разглядеть не могли.

В тот вечер он говорил со мной еще более искренно и откровенно, чем когда-либо. Шейна, должно быть, уже теряла терпение — я сказал ей, что уйду только на час. Но что я мог поделать? Она почувствует, она поймет, что мне очень нужно было прийти сюда, остаться здесь. Не мог же я, в конце концов, бросить друга, которому необходимо было отвести душу, высказаться. Как правило, Поль был очень сдержан в отношении своей личной жизни. Мы, его коллеги, знали о нем не больше, чем в первый день знакомства. Откуда он приехал, каково его происхождение? Женат ли он? Что печалит и радует его? Единственное, что я знал, — что он занимал очень высокое положение в аппарате, что он выполнял одни, только более или менее гласные, функции и другие, совершенно секретные. Что за человек он в своей личной жизни? Где его Ахиллесова пята? Сегодня впервые он заговорил о себе. И я прижался плотнее к спинке стула, чтобы стать как можно незаметнее, боясь, что

он умолкнет, как только увидит, что я здесь, перед ним, во плоти.

Вольф, Петя, Поль — таково развитие нареченного ему имени, расцвет судьбы. Вот, что я узнал. У меня и сейчас перехватывает от этого дыхание. Значит, Поля и меня связывают одни и те же корни. Вольф — еврейский мальчик из Восточной Галиции, выросший в нищете, его сознание воспламенено бунтом. Горячая опасная дружба в Вене, где случайная встреча втягивает его в грозный мир конспирации. Конец всему: покончено с субботними песнями, с теплым домом, где вдова, окруженная шестью голодными детьми, славит небеса и милость Божью. Покончено с хасидским царством, где учителя и ученики изобретают поводы надеяться, верить и молить о вере, распевая...

Да здравствует революция, да здравствует мировая революция!

Затем последовали специальные курсы, нелегальные поездки, обучение разведке, ознакомление с закрытой системой Коминтерна и, наконец, военная разведка за границей, Четвертое отделение. Будучи теперь Петей, Вольф двигался к самому центру партии, к той ее ветви, которая связана с внешним миром. Революция была тогда еще молодой и чистой, как и сам Петя. Самые честолюбивые мечты казались реальными и необходимыми. Нет больше ненависти между народами, никакого угнетения, нет правящего класса, никакой прибыли, нет больше голода, нет позора: жизнь — это предложение дружбы, трепетный призыв к солидарности. Петя с головой ушел в работу с татарами и узбеками, влюбился в белорусску, потом бросил ее ради испанки. Вселенная являет собой непрерывный поток, где евреи живут в объятиях неевреев, где все культуры равны, где насмеваются над всеми религиозными верованиями; такая вселенная делает его гордым и сильным. С благодарностью принял он свое первое задание на Запад; Поль, посланец революции, отправился в Германию, облеченный неограниченной властью. Ему давалось право разрушить все, чтобы все построить заново, все уничтожить, чтобы создать чистую страну; он считал себя уполномоченным, получившим приказ сбросить с тронов королей и богов и на их место возвести человечество, запуганное и голодное человечество.

Вольф, Петя, Поль: история легенды в трех ее фазах, трагедия идеала в трех действиях...

По мере рассказа ритм его речи становился все более напряженным. Он описывал свою деревню и ее ремесленников, беспомощность своего отца перед лицом жандармов в касках и сапогах, требующих взятки; он вспоминал, как он в последний раз в соответствии с ритуалом соблюдал день Йом Киппура и Седер; он вспыхивал, вновь переживая свои встречи с праведниками Революции. Обычно такой четкий, такой сдержанный, сейчас он говорил как пьяный. Он заболел прямо у меня на глазах, он пьянел, не начав пить.

Я чувствовал себя ближе к нему, чем когда-нибудь прежде.

— Могучее, очищающее дыхание мировой революции, в те дни ты

ощущал его, — говорил Польш. — Это был рассвет, рождение движения, широта которого была равной его глубине. Для нас стало делом чести выбросить все капиталистические игры — и все, в чем был элемент игры, — в мусорный ящик. Ранги, титулы, различия — мы ни в грош их не ставили. Ты мог придти к любому без всякого доклада. К Троцкому, например. Я прошел к нему в Военный Комиссариат, даже не предупредив его секретаршу. Он тогда еще был нашим героем — еще не предателем. Он пронзил меня своим пронизательным, дружеским взглядом:

— Ну так, товарищ, расскажите мне, какой хороший роман вы прочли за последнее время?

Я был ошарашен: роман? я? в то время? В мире разгорался пожар, массы совершали политический переворот, а Троцкий собирался говорить со мной о литературе! О, как я был горд. Вот это и есть человечность коммуниста, простой коммунист встречается с одним из вооруженных пророков, одним из главных деятелей революции, и о чем же они говорят? О романе, которого я не читал по той простой причине, что я никогда не мог позволить себе читать романы. Я сказал ему об этом. В ответ он спросил, как я живу. Курсы по теории, политическая подготовка, практическая работа, языки, пропаганда... Он не скрыл своего недовольства:

— Я должен буду поговорить с ответственными товарищами, — сказал он, качая головой. — Мы начинали нашу карьеру с чтения; нет причин, мешающих и вам поступить так же. — После чего он пустился в поразительный анализ революционной динамики в литературе, цитируя романы и пьесы, с отступлениями о музыке и искусстве. Это была самая прекрасная лекция из всех, какие мне выпало счастье прослушать. И все это было, когда он возглавлял Красную армию...

Эта встреча оставила на нем свою печать. Я завидовал ему. Я хотел признаться ему в этом, но он остановил меня.

— Однажды, — продолжал он, — мне выпала честь познакомиться с товарищем Сталиным, который тогда еще не был нашим любимым вождем и отцом. Один из многих других комиссаров, и только. Если мне не изменяет память, он тогда был ответственным за национальные меньшинства, а не за службу, к которой принадлежал я. Однако, я уж не помню почему, мы оба, как главы наших секций, перед тем как отправиться на выполнение своих поручений, были на приеме у вождей первого ранга. Попыхивая своей трубкой, Сталин молча наблюдал за мной. А я стоял, стараясь не показать своего смущения, потя, страшась потерять сознание, когда он неожиданно заговорил со мной.

— Товарищ Петя! Как ваше настоящее имя?

Я решил, что это проверка: у него на столе лежит мое досье.

— Вольф Исаакович Гольдштейн, товарищ комиссар, — ответил я, вытянувшись как телеграфный столб.

— Хорошо. Итак Петя — это Вольф Исаакович. Скажите-ка мне следующее: вы знаете Библию?

Этот вопрос ошеломил меня еще больше, чем вопрос Троцкого о романе.

— Нет, товарищ комиссар, у меня нет никакого желания читать Библию. У меня нет интереса к сказкам, которыми богатые пользуются для подавления и обмана бедняков.

— Ну, ну, — заговорил Сталин и принялся чистить свою трубку. — Вы же еврей, вас зовут Вольф Исаакович Гольдштейн и вы никогда не открывали еврейской Библии. А я вот изучал ее в семинарии...

— Нет, почему, я открывал ее, товарищ комиссар, но только очень давно.

— Так вы открывали Библию, но не читали ее?

— Да, не читал.

Сталин смаковал мое замешательство. Запутавшись в своих отбетах, я не знал, как выбраться из этого глупого положения.

— Можно подумать, что вы боитесь признаться в этом, — сказал Сталин, выпуская новую порцию дыма. — Вы никогда не должны ничего бояться при социалистическом режиме, товарищ Вольф Исаакович. Невинному нечего бояться, правда ведь, товарищ?..

Да, это было правдой, еще какой правдой! В Советском Союзе только преступники, белогвардейские убийцы, те, кто тоскует по белому террору, только они должны бояться — а не их жертвы, не те, кто одержал над ними победу. Я верил в это, Палтиель, я в это верил, но... вот теперь... ты знаешь, что теперь. Процессы... уклон... оппозиция, саботаж — эти слова как ножи. Соратники Ленина — предатели родины, революции? Двойные или тройные агенты? Мыслимо ли это? Если это правда, то с нами все кончено, а если это не...

Поль говорил — и на моих глазах становился другим человеком. Он снова стал Вольфом.

В конце концов не он, а я начал пить стаканами. Я опустошил бутылку и впервые в жизни свалился, как последний пьяница на ярмарке в Ляянове.

Итак, я признаю себя виновным, гражданин следовательно, в пьяном разгуле в капиталистическом городе в компании бывшего друга, ставшего врагом народа, и в том, что не устоял перед отравой в его присутствии.

По молчаливому соглашению ни я, ни Поль не вспоминали этой ночи в течение всех последующих недель. Поль становился все более и более замкнутым; его отзывали в Москву. Не его одного: Коминтерн отзывал своих агентов сотнями, со всего мира. Мы не могли представить себе, что это делалось с целью их ликвидации. И все же интуиция Поля говорила ему, что здесь что-то неладно. Он мог отказаться ехать и найти убежище у влиятельных друзей во Франции, но это было не в его правилах. Кроме того, чтобы обмануть его, они не требовали от него

явиться с отчетом немедленно, а дали ему шесть недель на подготовку. Это как-то успокаивало. Все эти шесть недель я почти постоянно был с ним. Он был спокоен; спокоен был и я, еще более, чем он. Я думал, он поедет в Москву, встретится со своим начальством, получит какие-то разъяснения и вернется; и тогда я тоже пойму все. И все-таки в самой глубине моей души вставал все тот же старый вопрос: увижу ли я его снова?

Мог ли я думать, что как только он приедет в Советский Союз, он тут же попадет в руки ваших людей, гражданин следователь? Что они бросят его в тюрьму? В которую? Может быть, именно в эту самую.

Я помню наш последний вечер. Обед на двоих в бистро в Латинском квартале. Мы говорили о том, о сем, о замороженных формах борьбы, о связях, которые надо возобновить, о спасении и укрытии немецких товарищей. Мы подвели итоги и остались довольны друг другом. Я спросил его о возвращении во Францию. Останется ли он в той же секции? Сохранит ли меня в своем штате?

Он ответил не сразу. Внимательно оглядел всю комнату, посмотрел на улицу, чтобы убедиться, что за нами не наблюдают и сказал спокойно:

— Я дам тебе совет. Последуй ему и не задавай слишком много вопросов.

— Ты о чем, Поль?

— Не жди моего возвращения.

— Что? Но...

— Ты слышал, что я сказал. Уезжай из Парижа. Займись чем-нибудь другим. Исчезни.

Я сделал вид, что не понимаю. — Почему ты хочешь, чтобы я исчез? Бросил товарищей? А кто же будет работать?

— Я не желаю повторять. Я дал тебе совет. Если ты решишь пренебречь им, твое дело.

— Но куда ты хочешь, чтобы я уехал?

— Далеко. Как можно дальше.

— Но почему? Почему, Поль?

Недостаток зрелости во мне раздражал его. Мне следовало бы понять... Он долго смотрел на меня. Мог ли он доверять мне? Он принял решение.

— Тебя слишком хорошо знают, — сказал он. — Люди знают, что мы были друзьями, доверяли друг другу.

Я, как идиот, продолжал спорить.

— Да, мы друзья, ну и что? Я горжусь нашей дружбой!

— Не кричи. Сделай одолжение, последи за собой. То, что знаю я, тебе лучше не знать. Я надеюсь, ради твоего же блага, что ты никогда и не узнаешь этого. Тебе повезло, ты не состоишь — официаль-

но — в службах, которые представляю я. Ты можешь свободно ездить, можешь уехать куда захочешь. Вылезай! Выбирайся!

Его слова причиняли боль и смущали меня. Уезжать? Опять? Куда? Что делать дальше? К кому бежать? И этот кулак в моей груди: *увидишь ли я его снова?*

— Ты наверняка ошибаешься, Поль. Ты придумываешь то, чего нет. Ты просто перетрудился, изнурен, я тоже...

Он опустил голову, чтобы помешать мне увидеть свое поражение.

— Послушайся моего совета, Палтиель, — повторил он и проглотил комок. — Поезжай в Испанию, — продолжал он. — Я встречу там с тобой при первой же возможности. Там идет борьба, в которой я хотел бы принять участие.

Он дал мне имя связного, который поможет мне вступить в Интернациональные бригады и перейти границу. "Увидимся ли мы снова? — шептал я про себя. — С Божьей помощью, увидимся".

— Что ты бормочешь?

— Что мы снова встретимся.

— С Божьей помощью, — сказал Поль, помолчав.

Вольф, Петя, Поль! Псевдонимы и пароли, выученные наизусть; их передал мне мой друг как прощальный подарок вместе с некоторыми зарисовками своей юности и своим благословением.



— Вот, — пробормотал Зупанев, высморкав нос, вот несколько слов. Не моих, твоих. Я хочу сказать, что они принадлежат тебе, они тебе предназначены. И это мне кажется смешным. Эти слова, вырванные у мертвого, у самой смерти, чтобы быть повторенными, переданными, чтобы им сохранить жизнь, я вручаю немому! Неужели этому фарсу не будет конца?

Прочти эти рассказы, Гриша, и ты узнаешь все о жизни и смерти еврейского поэта, твоего отца.

Он был личностью, твой отец. С ним трудно было ладить. В начале, во время первого допроса, он так раздражал нас, что довел до изнеможения.

Я был только служащим, как ты понимаешь, — ничего более. Стенографистом. Я записывал. Из своего угла я наблюдал за прокурором, полковником, за следователем — к черту все эти титулы, все они сводились к одному и тому же, — я наблюдал за обвиняемым, а сам оставался вне поля их зрения.

Я был частью обстановки, мебелью, инструментом, элементом спектакля, невидимкой, от внимания которого ничего не ускользало. Так что ты можешь верить, мне, сынок, когда я говорю тебе, что он был личностью, твой отец.

Однако, не торопись с выводами: ему не удалось сопротивляться до самого конца спектакля. Еще не родился тот, кому удалось бы. О да, мы сломали его, как сломали тех, кто был до него, и тех, кто был после. Факт тот, что он был, прости мне это слово, редкой птицей, уникальным случаем. Он держался дольше, чем можно было ожидать, он выносил наказание лучше, чем самые закаленные политические деятели. И знаешь, почему? Он не боялся смерти. А это, мой маленький, в нашем кругу зовется "глупым и лицемерным поведением". Все боятся смерти, позволь мне заметить. Человек рожден, чтобы жить и хотеть жить. И только твой отец был другим. Ты можешь гордиться им, мой мальчик.

Я помню все так, как будто это случилось вчера. В ту ночь они действительно дали ему хорошенько. Он уже не держался на ногах. Он весь распух и обливался кровью — и все-таки он сопротивлялся. Я даже не помню, к чему сводилось обвинение в тот день. Он просто упорно отказывался подписать официальные протоколы следствия. Допра-

*шивающий следователь предложил ему сигарету — все они так вели себя. Твой отец не взял. Да он и не мог взять ее в рот, который был открытой раной.*

*Следователь спросил у него с притворной жалостью:*

*— Почему вы так глупо себя ведете, Коссовер? К чему это упрямство? Вы ничего не достигнете таким образом. Почему вы полны решимости терпеть муки. Я бы хотел услышать ваше объяснение.*

*Казалось, что следователь и вправду искренне хотел этого. Почувствовав это, твой отец сделал усилие и встал прямо.*

*— Хорошо, — сказал он, — я объясню.*

*Он с трудом говорил: слова жгли ему язык. Он глотал слюну и кровь.*

*— Я — поэт, гражданин следователь. А еврейскому поэту приличествует сохранять свое достоинство.*

*И знаешь что, Гриша? Я застыл от изумления — не скрою от тебя. И то же произошло с судьей.*

*С той самой минуты я стал уважать поэтов. Благодаря твоему чудаку-отцу. И я начал читать его стихи и даже переписывать их для тебя. Да, правда. Твой отец помог мне открыть для себя поэзию.*

*Видишь ли, до этого я не видел проку в писаках. Как человек может жить только одними словами, думал я, ничем, кроме слов? Теперь я знаю, что может.*

*И еще одно открытие. Благодаря твоему отцу я стал задаваться вопросами, которые порождали другие вопросы: как может человек всю жизнь только и делать, что мучить других людей, жить среди постоянных воплей и стонов ужаса? Как он может после этого спать ночами, вставать по утрам, зная, что он живет от одного предсмертного хрипа до другого? Ты можешь смеяться, сынок: я работал на следователя, в чьи функции входило именно задавать вопросы, но научил меня задавать вопросы твой отец.*

*Почему один человек обрекает на муки другого? Ты знаешь почему? Я видел палачей, задыхающихся от наслаждения, я видел негодяев, которые испытывали возбуждение всякий раз, когда их жертва издавала стон, но что еще хуже: я видел чиновников, для которых все это было ничем иным, как просто работой, долгом. Им говорили бить, и они били. Говорили сечь, и они засекали свою жертву и доводили ее до сумасшествия. Они просто делали свою работу, оправданную и вознаграждаемую законом. И все же, мой мальчик, хоть убей, не понимаю: как это один человек может мучить другого? Я хочу сказать, как человек может мучить того, кто беззащитен, без всякого смысла, без причины, я имею в виду — без личной причины? Я не знаю, что заставляет некоторых преодолевать страдания, а других — пасовать перед ними. По правде говоря, я никогда не понимал ни жертв, ни их палачей, я никогда не испытывал близости ни к кому из них. Но это правда, я*

испытывал тяготение к твоему отцу. Я объясню это тебе в другой раз. Он вызывал у меня интерес, лишал равнодушия, и послушай только: в конце концов он даже заставил меня смеяться, меня, который ни разу в жизни не смеялся.

Ты слушаешь меня, смотришь на меня и возмущаешься мной, признайся. Но ты неправ. Я никогда не бил заключенных, я не делал ничего, только записывал. И все-таки я чувствую себя виноватым, и это нормально. Я виноват в том, что видел зло и жил с ним рядом, бок о бок. Конечно, я мог бы протестовать, уволиться. Например, я мог бы притвориться больным. Но тогда меня бы ликвидировали на следующий же день: я слишком много знал. А я хотел жить, я прилепился к жизни. Как и все остальные, я боюсь умереть.

А вот твой отец — ты не поверишь этому — в самом начале он даже казался счастливым, да, он был счастлив оказаться в тюрьме, предстать перед следователем, обрести душевное равновесие на пороге боли и смерти. Поэты — странный народ. Может ли быть, что они стремятся пережить все и знать все, ради чего стоит выжить и познать?

Как я говорил, вначале он забавлял меня. Он все еще был здоров. Глаза его покраснели от недосыпания, да, он был немного бледен, но не больше. Он стоял прямо и отвечал на обычные вопросы спокойно: фамилия, имя, отчество, профессия. Он позабавил меня, потому что... Послушай, следователь спрашивает его, знает ли он, почему он арестован. И твой отец отвечает, что он знает. "Почему?" — спрашивает следователь. "Потому что я написал стихотворение". Судья чуть не задохнулся от смеха. Твоего отца, ты понимаешь, собирались обвинить в саботаже, в заговоре, предательстве. Они намеревались заставить его назвать своими соучастниками самых прославленных представителей еврейской литературы, а он вылез со своим стихотворением. "А это стихотворение, — говорит судья, — где оно? Можно его прочесть?" — "Нет, — отвечает твой отец, — вы не можете его прочесть". — "Почему не могу?" — "Потому что оно у меня в голове, только в моей голове..."

Он часто возвращался к нему, к этому стихотворению, которое он написал только в своей голове.

Да, твоей отец был настоящим человеком, стоящим.

Я помню первый вопрос, который он задал судье: "Где я?" Ты обратил внимание, мой мальчик? Не "почему я здесь?", как спрашивали все заключенные, а "где я?" Позднее он объяснил: "Некоторые люди судят о себе по тому, что они делают, а я нет. Я оцениваю себя в связи с местом, где мне случилось побывать".

Я был поражен этим, потому что он не мог знать, что никто из арестованных не знал, где находится. В какой тюрьме, в чьих руках? Они даже не знали названия города. Они жили вслепую и были дезориентированы, как побитые слепцы.

В действительности твой отец чах в старой крепости нашего очаро-

*вательно города Краснограда, но это от него скрывали. Его всячески заставляли поверить, что он находится то в Ленинграде, то в Харькове, то даже в Ташкенте. Однажды они сунули его в такой фургон, который в народе называют "черный ворон". Его возили по кругу часами, со многими остановками. Когда его привезли обратно в его камеру, твой отец не узнал ее. Иногда допрашивающего следователя заменяли другим, который притворялся, что он тот, прежний. Все эти игры, рассчитанные на то, чтобы расстроить, затмить разум заключенного, внушить ему отвращение к самому себе, я исправно записывал, сначала для них, потом для твоего отца. Муки голода, муки жажды, провалы в памяти — я записал их все. Что из этого было самым страшным? Тишина, молчание. Вот, твой отец все это записал. Подожди, дай найду. Вот они, видишь?*

**ХОТЕЛ БЫ Я ЗНАТЬ, КТО ИЗОБРЕЛ испытание молчанием, пытку тишиной. Безумец? Поэт безумия, возмездия?**

Ребенком в Барассах, подростком в Лиянове я жаждал тишины, я мечтал о ней. Я молил Бога найти мне немного учителя, который бы поделился со мной своей истиной (и своими словами) бессловесно. Я проводил много часов в обществе ученика хасидской школы в Ворке, ребе которого сделал молчание методом обучения: верующие устремлялись в Ворк, чтобы объединить свое молчание с молчанием учителя. Позднее, с ребе Менделем Такитерном мы пытались преступить границы языка. В полночь, закрыв глаза и обратив лица к Иерусалиму с его феерической святостью, мы слушали песню его молчания — божественное, райское, но все же осязаемое молчание, когда и голоса, и мгновения обретают бессмертие.

Ни один учитель ни разу не предостерег меня, что молчание может быть нечестивым, злым, что оно может заставить человека лгать, предавать, что оно скорее разрушает человека, чем делает его целостным. Ни один учитель никогда не говорил мне, что молчание может стать тюрьмой.

Вы научили меня большему, чем мои учителя, гражданин следователь. В этом "изоляторе" — очень верное слово (в нем человек становится изолированным не только от человечества, но и от себя самого тоже) — я достиг такого уровня знаний, которого уже не надеялся достигнуть.

Вначале мне было хорошо там, мне скорее нравилось там. После всех воплей, побоев, вынужденного многочасового стояния на ногах тишина была желанным раем, утешающим объятием.

Наверху, на третьем этаже, я падал в обморок, чтобы избежать вопросов, насмешек, оскорблений, оплевывающей брани. Слова разрастались до бесконечности, пока не начинали давить мне на череп, потом на мозг, и сила их тяжести становилась невыносимой. Малейший звук — шорох ресниц — отдавался во мне грохотом металлического барабана. Я увязал, проваливался в небытие. У меня было ощущение, что все предметы во вселенной двигались, плясали, создавая шум и гам, гвалт карнавала: лампы свистели, перья скрипели, занавески бушевали, стулья раскачивались взад и вперед, как суда, терпящие бедствие.

Они тащили меня, как обломок, из коридора в коридор, волокли вниз по лестнице и швырнули в эту камеру. "Отныне ни единого слова, понятно?" Это был последний человеческий голос, последнее эхо. За

ним — ничего. Само время остановилось. Земля больше не вращалась, собаки не лаяли. Звезды там, вдали, погасли. Вселенная человека была прикована к месту навечно. А там наверху, над ней, на своем неподвижном троне Бог молча судил Его угомонившееся творение.

Придя в себя, я сначала подумал, что какое-то невыразимое проклятие обрушилось на человечество — человек потерял дар речи. Надзиратели в специальных шлепанцах скользили от двери к двери. Через глазок или через порог они отдавали приказы только знаками: встать, лечь, проглотить. Внешний мир перестал дышать. Я больше не слышал своих соседей, ни старых, ни новых, ни слабых, ни смелых, ни тех, кто скреб стену, ни тех, кто заглушал свои стоны. Ничто не имело голоса, не издавало звука. И тогда мной овладело беспокойство. Я понял, что тишина была куда более изощренной, более жестокой пыткой, чем любая серия допросов.

Тишина действует как на чувства, так и на нервы — она разрушает их. Она действует на воображение и воспламеняет его. Она действует и на душу, вселяя в нее ночь и смерть. Философы ошибаются: убивают не слова, а тишина. Она убивает импульс и страсть, она убивает желание и даже память о нем. Она завладевает человеком, довлеет над ним и порабощает его. А став рабом молчания, перестаешь быть человеком.

Однажды — было это утром или ночью? — я уже больше не мог молчать и заговорил сам с собой. Дверь тут же открылась, и надзиратель знаком приказал мне замолчать. Я прошептал: "Я не знал, что это тоже запрещено". На самом деле я знал, но я хотел услышать себя, произносящего эти слова. Я весь горел необоримым желанием услышать человеческий голос — свой или голос тюремщика — едва ли это имело значение. Но одурачить его мне не удалось. Он наказал меня, привязав к койке толстой веревкой, и его грозный указательный палец ясно говорил: "Еще раз попробуешь, тогда..." Меня оставили привязанным к койке на этот день, на ночь и на следующий день. Я был пригвожден, задыхался от криков, теснившихся у меня в груди. И все-таки я сделал это снова. Не из героизма, а потому, что был измотан, разбит молчанием. Я стал напевать с закрытым ртом, очень тихо, но, видимо, недостаточно тихо. Дверь беззвучно открылась, как во сне, и надзиратель, недовольно покачав головой, залепил мне губы пластырем. Если так будет продолжаться, — подумал я, — Палтиель Коссовер превратится в мумию. Прекрасно. Я вообразил, что я мертв.

Только в моем воображении мертвые, оказывается, не немые. Они говорят, протестуют. Евреи, забытые в Барассах и Лианове, борцы, сраженные в Испании, мужчины и женщины стольких забытых или сожженных кладбищ, все они молятся, они поют, они рыдают. Как заставить их замолчать? Как объяснить им, что это ради них я отваживался на новые наказания?

Один раз надзиратель даже удивил меня новыми мерами принуждения после того, как я кивнул, уставившись в стену. Он разъяснил мне, что запрещено разговаривать со стеной — даже в уме. Я должен был заставить себя молчать и внутри. Мысль и тело должны слиться воедино: никаких диалогов между ними, никаких речей, никаких вызовов, никаких воспоминаний. Я видел себя стонущим, я наблюдал свои муки, вопли, рыдания — образы перестали складываться в слова.

Ребе из Ворка ошибается. Он говорит, что самый громкий крик тот, что задушен. Нет, самый громкий тот, что не услышан, а увиден.

Шло время — но шло ли оно? Разве идя, оно не издает ни звука? — сила боли нарастала. Я не знал, что можно умереть от тишины, от молчания, как умирают от боли, от печали, от голода, от усталости, от болезни, от любви. И я понял, почему Бог создал небо и землю, почему Он сотворил человека по Его образу и подобию, даровав ему право и способность говорить о своей радости, выражать свое страдание.

Бог тоже, сам Господь — боялся тишины и молчания.

— И все-таки, Гриша, твой отец преодолел это испытание.

И благодаря блестящей идее одного следователя — того, кто имел честь быть моим начальником, — Палтиелю Коссоверу выпала счастливая доля.

Глупо, я знаю, — как будто можно быть счастливым в тюрьме? Однако спроси тех, кто заключен туда, и многие из них возразят: “Можно ли быть счастливыми где-нибудь еще?”

Это последнее испытание, с которым узники сталкиваются в тюрьме — испытание счастьем. Ведущий дело следователь знал, как использовать это испытание, и, мой мальчик, твой отец попался в ловушку. Станешь ли ты меньше почитать его за это? Это будет ошибкой. Нет больше твердокаменных парней. Наша система, возведенная соратниками и учениками самого великого Владимира Ильича, испытываемая вот уже более трех революционных десятилетий философами и учеными от пытки, всегда одерживает верх над ее оппонентами.

Наши эксперты — это мастера в искусстве раздавить бывшего министра, слетевшего сановника, комиссара в немилости; они знают, как преодолеть недоверие политических деятелей и веру верующих, как развязать им языки. О да, я видел всех их. Еще вчера они были знамениты и могущественны, а сегодня они уже на коленях, скулят и повторяют речи, заготовленные для них, и даже не помнят, что эти высказывания им не принадлежат.

Но твой отец таким не был, я уже говорил тебе об этом. После трех дней и трех ночей без сна, и трех последующих месяцев мучений допрашивающий следователь подкидывал ему какое-нибудь имя, любое, как заправку для начала разговора. И всякий раз твой отец отвечал: “Кто этот человек, о котором вы говорите, гражданин следователь? Он жив или мертв? Я ведь знаю только мертвых”.

И судья, мой садист-начальник, должен был сдерживать себя, чтобы тут же не сбить его ударом с ног. Упрямый, как мул, был твой отец, невозможно было заставить его сдаться! Чтобы не поддаться риску соскользнуть на путь признаний, откликаясь на имена невинных людей, он отказался от этого с самого начала. Допрос тянулся бесконечно, волоком. Думал ли отец, что так ему удастся спасти свою шкуру? Он был слишком умен и прозорлив, чтобы не понимать, что с признаниями или без них, судьба его была предreshена: его встреча с “джентльменом из четвертого подвала” была неизбежна. И тем не менее, он оказывал сопротивление. Его случай уникален в наших анналах: один, в одиночку,



*он поставил под угрозу весь наш аппарат и знал это.*

*Успокаивая судью, дрожавшего от ярости, — тот был на грани нервного срыва — твой отец спросил однажды:*

*— Зачем вам доводить себя до такого состояния, гражданин следователь? Только потому, что я осмеливаюсь противопоставить свою волю вашей? Не может быть, что я только один такой. Вы одержали столько побед, посчитайте меня исключением из общего правила и переверните страницу.*

*— Я не могу.*

*— Вспомните обо всех тех, кого вы раздавили, и мое дело утратит всякое значение.*

*— Я не могу. Именно из-за Вас все остальные дела уже не имеют значения.*

*На это твой отец попытался улыбнуться под покровом своей грязной и спутанной бороды.*

*— Это напоминает мне “Книгу Эсфири”.*

*— Эсфирь? Кто она? — воскликнул следователь, довольный тем, что вырвал наконец какое-то имя из твоего отца. — Она написала книгу? Где она живет?*

*— Вы на ложном пути, гражданин следователь. “Книга Эсфири” — это древняя история.*

*И он стал рассказывать нам о старом царе и его советнике Амане и о красавице еврейке. Почему Аман ненавидел Мордехая так яростно? Послушай, как объяснил это твой отец-поэт: “Потому, что этот одинокий еврей был единственным, кто не пожелал кланяться ему. Аман излагает это очень ясно. ‘Когда я вижу его, прямого и полного достоинства, такого не похожего на всех, то остальные уже ничего не значат; когда я наталкиваюсь на его решимость, почести, оказываемые мне всеми другими, теряют свою ценность’”.*

*Твой отец прервал этот урок Библии, чтобы облизать губы.*

*— Но вы, гражданин следователь, вы же живете сейчас, а не в древней истории, поэтому извлеките соответствующий урок из казуса Амана. Подумайте о том, как он кончил... но прежде всего подумайте о его победах и оставьте мне мою...*

*Это дает тебе представление, мой мальчик, о том, как он раздражал нас. Мы готовили процесс, а он изводил нас Аманом!*

*И все-таки мой начальник добился своего. Если я расскажу тебе как, ты решишь, что я преувеличиваю, изобретаю... приукрашиваю — но я ничего не выдумываю. Я сформирован своей профессией: я излагаю факты, как в милицейском рапорте. Ничего, кроме фактов. Судья заманил его в ловушку, воззвав к нему как к писателю. Твой отец черпал силы в своем таланте, в своих писаниях, и судья сумел превратить его талант в слабость. Будь он простым трудягой, советским служащим, твой отец никогда бы не сдался. Но тогда он и не был бы прежде*

других брошен в тюрьму. Все же ведущий дело следователь в конце концов поймал и его. И как! Он перехитрил твоего отца. Однажды ночью, после особенно долгого и изнурительного допроса, судья сказал с притворным безразличием:

— Я сдаюсь. Вы сильный, сильнее, чем я ожидал. Ни один из наших методов не принес успеха. И вот что — я делаю вам предложение: вы ведь писатель, так и пишите. Что хотите и как хотите. В любое время. Я обещаю не приставать к вам больше. Вы не желаете говорить о живых? Очень хорошо. Будете писать стихи? Еще лучше. Мне нужно только чем-нибудь заполнить ваше досье. Я должен иметь возможность сказать своему начальству: “Вот, вы видите, он сделал признание”.

Его улыбка была дружелюбной, а твой отец был слишком измотан, чтобы уловить ее смысл.

— На вашем месте я бы написал историю своей жизни. Почему бы и нет, в конце концов? Какая перспектива для писателя! Что скажете? Я предлагаю вам время и средства. Какой же писатель, достойный своего рвення, откажется от такого предложения?

Прекрасно сыграно, следователь. Bravo, начальник. Палтиэль Коссовер имел слабое место, и судья нашел его. Твой отец, уже целиком в западне, позволил манипулировать собой. Мой кумир стал марионеткой. Писатель в нем поддался искушению писательством, самым таинственным чарам в мире. Поэт размяк, при том что человек в нем жаждал остаться цельным, неколебимым.

Судья распорядился выдать ему карандаши и блокноты. Да, вот как было — с доставкой на дом. Отец твой, сохранивший подозрительность, несмотря ни на что, опасаясь новой уловки, не прикасался к ним целую неделю. Но слова пожирали его, требуя быть рожденными. И он начал писать. Сначала невинное стихотворение, потом еще. Размышление об одиночестве. Еще одно — о дружбе. Потом письмо к своей жене. Письмо к сыну. И наконец интимную хронику, которую назвал “Завет”, — тот самый, который мы сейчас читаем, мой мальчик. Не волнуйся, я стащил его, и когда-нибудь я расскажу тебе как и почему — но это уже другая история.

Итак, твой отец писал, и его творение имело огромный успех: следователь, ведущий дело, уже больше ничего не читал. Каждый вечер страницы, написанные узником, приносили ему. Он изучал их так, как если бы они представляли собой признание века. Он делал заметки, сверял имена и даты, передавал те или иные отрывки заинтересованным отделам и поручил мне приложить их к досье, хранившемуся в наших неприкосновенных и недоступных сейфах.

Позволь мне привести тебе пример. Те разделы, где говорится о Вольфе-Пете-Поле, циркулировали в различных службах. Поскольку они содержали упоминания о Сталине, досье незамедлительно показали Абакумову, который лично доложил о нем Берию. В свою очередь Бе-

рия потребовал дополнительного расследования и для начала — ареста Эрманского, который представлял в тридцатые годы НКВД в Париже, — за недостаток бдительности. Ты не представляешь, мой мальчик, какой шум-гам возник здесь из-за этого мерзкого дела. Наши “службы” из всех сил старались схватить этого ублюдка Эрманского. Он был в списке розыска во всех социалистических республиках, наши люди охотились за ним повсюду. Но день за днем мы вынуждены были докладывать взбешенному Абакумову, что Эрманскому пока удастся ускользнуть от нас. И только спустя многие недели мы поняли почему: он был ликвидирован в Париже его помощником, тоже нашим человеком, прежде, чем смог донести на кого-нибудь. О да, у нас были доносчики, шпионившие за нашими же доносчиками. Таково было правило: наши палачи кончали тем же, что и их жертвы — пулей в спину. Даже палачи смертны.

Время от времени твой отец писал стихи, которые я читал с наслаждением — они сводили меня с ума. Не то, чтобы я всегда понимал стихи твоего отца, но они мне все равно нравились. А вот следовательно, тот ненавидел их — они не содержали никакой полезной информации.

Однажды я был ужасно огорчен. Твой отец как раз закончил писать философское стихотворение, в котором я не понял ни одного, самого паршивого, слова. Не понял и судья, но по обыкновению поздравил твоего отца, который резко отвернулся, как будто хотел спрятать глаза.

— Что с вами случилось?

— Ничего, гражданин следователь.

— Вы плохо себя чувствуете?

— Нет, не плохо. Только... тяжело. Я понимаю, что мой сын... мой сын никогда не прочтет этого.

И я, у которого не было сына, почувствовал невыразимую печаль. Я, который никогда не плакал и не смеялся в своей жизни, почувствовал, как мне на глаза набежали слезы. Не тогда ли я решил переписывать по несколько страниц время от времени и прятать их в своем шкафу, где сам черт ногу сломит? “Кто знает?..” — думал я.

Судья, сообразительный как всегда, пытался утешить твоего отца. “Писатель, — сказал он, — никогда не должен думать о читателе, когда пишет. Единственное, что имеет значение, это его правдивость. Поэтому пишите правду, Палтиель Коссовер, это ваш долг”.

Таким образом, у твоего отца было по меньшей мере два преданных читателя. Мне нравились сами рассказы, тогда как судья сосредотачивался на именах. Прежде чем спрятать блокноты, я переписывал имена в алфавитном порядке, составляя индекс, который я храню по сей день: Инга, Поль, Трауб, Пинскер... потом писатели и поэты Советского Союза, многие из которых сидели по тюрьмам, как и он сам.

*В индексе имен было одно, которое буквально приводило нас в ярость. Мы были близки к тому, чтобы завывать, всякий раз, когда этот твой отец-поэт считал нужным с ликованием, снова и снова, возвращаться к этому неправдоподобному, невозможному образу, которому, казалось, больше всего на свете нравилось появляться неожиданно в самых фантастических, самых диковинных местах, будь то рынок в Одессе или публичный дом в Париже. Ты понял, кого я имею в виду — этого Давида Абулесию, если, случаем, это было его настоящее имя.*

*Если бы ты знал, мой мальчик, сколько агентов было выделено для организации его процесса. Неделями, месяцами они искали его, так и не найдя никакого ключа. Сам Абакумов подписал ордер на его арест, похищение и доставку сюда любой ценой. Он был убежден, Абакумов, что друг твоего отца руководил международной сетью огромного масштаба; что он внедрил своих сообщников даже в стены Кремля, может быть, даже среди членов... Наши службы мобилизовали самых лучших сыщиков. Результат — нулевой. Давид Абулесия издевался над всем миром, и над нами в частности.*

*Знаешь ли ты, что он сумел последовать за твоим отцом в Испанию — в самый разгар гражданской войны?*

## ЗАВЕЩАНИЕ ПАЛТИЕЛЯ КОССОВЕРА

### 8

“Я ЗНАЮ ЭТО МЕСТО, я знаю это небо, я знаю эти стены, эти дворы, эти деревья”. Опаляя, зачаровывая, эта мысль постоянно преследовала меня.

Я гулял по улицам Барселоны после тренировки в Альбасете, и все окружающее казалось мне знакомым до жути. Эти холмы, нависающие над городом. Когда же чувствовал я эту смутную ностальгию — когда приезжал или когда уезжал? Я неторопливо бродил по улицам, и мне мерещилось, что сейчас я остановлюсь у открытого окна поболтать с женщиной, когда-то, столетия назад улыбнувшейся мне. Я проходил через кладбища — излюбленные мною места для прогулок — и переводил едва видные надписи на иврите. Эти имена, эти даты рождения и смерти, я помнил их так, как будто они были связаны с моим прошлым, с моей жизнью.

Я жалел, что не мог написать обо всем этом своим родителям — мне было запрещено говорить им о своем зачислении в Интернациональные бригады. Я отдавал свои письма специальному эмиссару, который отвозил их во Францию и отправлял из Парижа. Мой адрес: через Шейну Розенблюм. Жаль. Я не мог рассказать своему отцу об Испании.

Еще ребенком я изучал историю евреев в Испании: поэтов, философов, ученых, министров — в периоды сначала их величия, потом бедствий, и эта история мне нравилась. Теперь я вновь открыл для себя Абулафию из Сарагосы и его мессианские отступления, Иегуду Галеви и его поэтические видения, Шмуэля Ганагида и его молитвы, дона Ицхака Абарбанеля и его акты веры. Я был среди своих братьев, а их вынуждали выбирать между изгнанием, бегством и самоотречением. Я был и с теми, кто уехал, и с теми, кто остался. Я понимал и тех, и других: те, кто предпочел отречься, вызывали во мне грусть, другие — гордость, но все они умножали жившее во мне чувство огромной значимости. Я чувствовал себя снова дома, в Лиянове.

И эта война — свирепая, ужасная, но необходимая, — в которой я участвовал, была моей больше, чем я себе это представлял.

При условии, что всякая война — безумие, гражданская война, братоубийство, хуже любой другой. В ней еще больше уродства, жестокости и абсурдности. Она напоминает человека, раздирающего на куски

собственную плоть из ненависти к самому себе. Он убивает себя, чтобы убить в себе врага.

О да, мне бы очень хотелось рассказать обо всем этом своему отцу. Сказать ему, что еврей во мне наделен памятью куда более древней, чем коммунист. Коммунист уступает талмудисту. В долгие ночи ожидания на передовой, в долгие часы вахт на перебросках из Толедо до Кордовы, из Мадрида до Теруэля я больше думал о еврейских поэтах Золотого века, чем о марксистской идеологии. Мое первое стихотворение, написанное под терзаемыми небесами Испании, обращено к Абрахаму Абулафии, к этому несчастному лжемессии, который, не найдя признания среди своих братьев, отправился в Рим к Папе, которого намеревался обратиться в еврейскую веру, никак не меньше:

Папу?  
Но почему же Папу,  
Бедный Абрахам,  
Мечтатель мой невинный?  
А если бы, скажи мне, брат,  
Вдруг ты бы преуспел,  
И Папа храбро взял бы  
Сторону Иошуа  
Супротив Христа,  
Разве бы ты выиграл битву?  
На свете стало бы  
Одним евреем больше,  
Вот и все.  
И этого еврея на костер  
Послал бы новый Папа.

(Переведено с идиш)

Однажды утром среди руин кладбища, серых на грязно-желтом фоне, я наткнулся на памятник, надпись на котором заставила меня содрогнуться: "Палтиель, сын Гершона, родился 15-го Кислева 5118 и ушел к своим предкам 7-го Ниссана 5178". (Зима 1358 года и весна 1418-го соответственно.)

Для нас, евреев, все кладбища выглядят знакомыми.

Вопреки моим страхам, Шейна не устроила большого шума, когда я объявил ей о своем решении вступить в Интернациональную бригаду. Она не разразилась рыданиями и не угрожала покончить самоубийством. Она и не прижала меня к своей груди, чтобы уговорить не оставлять ее. Прямо наоборот — она объявила себя очень довольной и гордой.

— Ты напишешь стихи, — сказала она с воодушевлением, — бу-

дешь читать их мне, и мы будем любить друг друга.

— А если я не вернусь?

— Всегда найдется кто-нибудь, чтобы читать твои стихи и заниматься любовью, — ответила она, смеясь и зовя меня подойти ближе и восхититься ее губами.

Она купила мне рюкзак, нижнее белье и сорочки, носовые платки и одну из ее причуд — курительную трубку.

— Но Шейна, я же не курю трубку!

— Ты поэт? Да или нет? Поэты, идущие на войну, курят трубку, разве ты не понимаешь?

Мы разработали детальный план пересылки мне писем и денежных переводов от моих родителей. *Увижу ли я ее снова?* Когда-нибудь, Шейна, когда-нибудь. После войны, после победы. Мы обменялись обещаниями и подходящими к случаю пожеланиями, и одним дождливым вечером я отправился на вокзал Аустерлиц.

Сев в "Поезд добровольцев", я вспомнил свой отъезд из Берлина. Там тоже не было никого на платформе, кто пожелал бы мне доброго пути. Купе было битком набито, но я проспал всю ночь.

Я прибыл в Перпиньян. Жалкая гостиница. Опять! Ясно, что мне на роду написано не бывать во дворце.

Запрещено выходить из комнаты, общаться с другими постояльцами, быть замеченным, привлекать внимание.

Забавно: мои предки бежали из Испании, а я возвращалась туда...

Я написал отцу письмо, что у меня все хорошо, так баснословно хорошо, как "Богу во Франции" — любят говорить евреи в Одессе. Или как "Богу в Одессе" — говорят они во Франции.

"Гид" позвонил в гостиницу к полночи. Нас было что-то около двадцати, которые пойдут с ним, включая двух сестер милосердия, американца, у которого был с собой номер нью-йоркской коммунистической газеты с моей фотографией, нескольких немцев, австрийцев и английского журналиста. Среди нас были бывшие военные, инженеры, специалисты-взрывники. Но поэт был только один.

"Гид" знал дорогу в Пиренеях, как я знал фруктовый сад моего отца в Лиянове. Ему были знакомы каждая тропинка, каждый ручеек, каждый камешек. Он точно знал, когда и где появится пограничный дозор; казалось, он мог предсказать, о чем они будут говорить и куда повернут, чтобы справить нужду. В пять минут мы пересекли границу, и уже другой проводник взял нас под свою опеку и повел в лагерь в Альбасете, где происходило первое распределение по умению и склонностям. Мне предстояло начинать на голом месте. Умений и навыков у меня не было, и ценность моя как бойца была, безусловно, равна нулю. Поэтому я был направлен в лагерь "Ленинград" около Барселоны, где меня учили пользоваться легкой боевой техникой, метать гранаты так, чтобы не нанести увечий себе, и коммунистическому методу наступле-

ния под огнем без оглядки назад. Я старался изо всех сил преуспеть, чтобы не ставить в трудное положение Санчо — моя кличка в тот момент, — но инструкторы очень скоро отчаялись и вынуждены были считаться с реальностью: я был так неуклюж, так никчем в бою, я просто не был создан для благородной профессии солдата. Так что меня перевели в службу “Пропаганда и культура”.

О лагере и всех тех, кто давал мне крышу во время моего пребывания в республиканской Испании, я сохранил множество воспоминаний, хороших и дурных, угнетающих и опьяняющих. Я всегда буду горд тем, что знал тех мужчин и женщин, которые покинули свои дома и семьи, чтобы отстоять эту землю свободы. Разве найдешь достаточно слов, чтобы рассказать все о силе их духа, чувстве товарищества и отваге. Врачи и водители такси, академики и ассенизаторы, разочарованные интеллектуалы и идеалисты-рабочие, романтические девушки и верные активисты, все они приехали из ближних и дальних стран, мирных и раздираемых конфликтами, чтобы не дать Франко подавить этот благородный народ, влюбленный в солнце и в самоотверженность. Коммунисты и борцы за свободу говорили друг другу “ты”, как близкие люди. Мы помогали друг другу, мы всем делились друг с другом. По вечерам мы пели у костров или в бараках, в одиночку или группами. Пели Фламенко и народные песни — русские, французские, еврейские. Мы пьянели от слов, от анекдотов, от надежды. Мы чувствовали себя призванными историей на войну с варварами, мы жаждали быть сильными и чистыми, как святые, стремящиеся освятить дело, которое призвало их убивать и умирать. О да, гражданин следовательно, Вы слишком молоды, Вы не можете понять... В те дни еще можно было надеяться и дружить.

Но... были в нашем деле и печаль, и ужас, даже большие, чем в прежних схватках. Это была война на уничтожение. Битва была самоубийственной — борьба народа, поставившего на карту собственное существование. Естественно, в принципах, убеждениях и идеалах различие было фундаментальным. Наша сторона боролась за человеческое достоинство, а наши противники — за духовное рабство. Однако жестокость обеих сторон была одинаковой.

Под Кордовой, в деревне, отбитой нашими людьми, я видел, что сделали со своими узниками фашисты. Я видел непотребно изуродованные трупы, сваленные в Каса дель пуэбло.<sup>1</sup> Потом они мне снились, и долго отбивали всякое желание, когда я был с женщиной. Кастрированные мужчины, выпотрошенные женщины. Трое красных, утопленных в одном колодце вниз головой, ногами на срубе. Никогда я не чувствовал себя хуже, никогда не ненавидел с такой силой.

Я видел группу людей, закопанных живыми по самые глаза. Трое

---

<sup>1</sup> Каса дель пуэбло — Народный дом.



пленных висело на ветвях одного платана. Были и такие, которых довели до безумия жаждой или болью. Фашисты забавлялись со своими жертвами, прежде чем прикончить их. Унизительные, садистские забавы они продолжали и с мертвыми.

Как хороший пропагандист я ездил по центуриям и бригадам и жаждал других своей ненавистью. "Наше дело правое, — провозглашал я. — Жестокость наших врагов заставляет человека стыдиться самого себя".

Но справедливости ради надо сказать, что и лоялисты<sup>1</sup> не отличались особым милосердием. Церкви в руинах, распятые священники, монашенки с отрезанными частями тела — я видел и это. И я не забуду.

Церковь в Паломе, где-то в районе Терузэля. Я помню: статуя Богородицы, поверженная наземь, а рядом молодая женщина, мертвая, юбка в клочьях, ноги широко раздвинуты. Рядом с ними еще одна статуя и еще одна износиланная женщина. И так от входа и до самого алтаря.

С другой стороны, Интернациональные бригады вели себя достойно. Не потому ли, что в их рядах было так много евреев? И не потому ли, что евреи менее склонны к таким постыдным поступкам, даже во имя мести? Штерн, Гросс, Френкель, Штейн, приехавшие из различных, разбросанных по Восточной Европе общин, все они были человечны с врагом. Но они никогда не связывали свое отвращение к жестокости со своим еврейством, а только со своей марксистской идеологией. Однако я убежден в том, что говорю. Идеология никак не влияет на людей. Со всем моим уважением, гражданин следовательно, но некоторые красные милиционеры, хоть они и коммунисты, снисходили до той же кровавой бойни, жестокого и бессмысленного убийства, как и их противники. Военные трибуналы, смертная казнь, пытки... Я был в ужасе, потрясен.

Вот так-то, гражданин следовательно. Обе стороны принимали участие в ужасном и унизительном культе, где в жертву приносились мужчины и женщины. Мотивы войны были различными, но результаты схожи: "Ариба Эспана!", "Но пасаран!" — слова, пропитанные ненавистью, кровью и смертью.

Но в бою мои товарищи были великолепны. Их поведение под огнем противника было героическим. Один против десяти, ружья против пулеметов, пулеметы против пушек, они предпринимали широкомасштабные операции и проявляли невероятную храбрость. Не было безнадежных ситуаций, не было ни единой позиции, которую бы сдали без борьбы: высота переходила из рук в руки шесть раз за ночь, и наши люди сдавали позицию только, если у них кончались боеприпасы. Вот это я видел, и видел прежде всего остального.

---

<sup>1</sup> Лоялисты — республиканцы (прим. переводчика)

Я восхищался их отвагой, их царственным презрением к опасности, но испытывал отвращение к их жестокости. Я не мог понять, как человек способен быть великим и нечестивым в одно и то же время? Быть наделенным злом в той же мере, что и добром? Так же быть склонным к мести, как и к солидарности? Я не понимал этого тогда, как не понимаю и сейчас. Хотя я видел жестокость тех и других, я мог понять фашистский террор, но принять концепцию жестокости красных был не в состоянии. Русские товарищи, которых я встретил в Барселоне, уверяли меня, что у них дома все было иначе. Белые (Колчака и Врангеля) наемники не сумели привить им, красным, свои методы: честь Красной армии осталась незапятнанной. Тогда почему же в Испании все было совсем не так? Разве наша миссия там была менее возвышенной?

В те дни я не мог понять этого. Но теперь, в этой камере, где вы заперли меня, я многое передумал. Это покажется вам идиотским, гражданин следовательно, но только сейчас я понял смысл жестокости, имевшей место в Испании. Она связана с еврейской историей. Смейтесь, если хотите, но я верю, что гражданская война в Испании связана с еврейской историей. Если испанцы убивали друг друга, если сейчас они жгли и топили в крови свою страну, то это потому, что в 1492 году сожгли или изгнали своих евреев. Это утверждение кажется идиотским, но я в это верю: жестокость, проявленная тогда в отношении нас, теперь стреляла ответным огнем. Начинают с того, что ненавидят и преследуют чужих, а кончают ненавистью к себе самим и уничтожением своего собственного народа. Костры инквизиции привели к разрушению Испании в период франкистов.

Конечно, должно быть, есть и более рациональное объяснение: каждая война развязывает силы зла и безрассудства. Вырвавшись из повиновения, они не поддаются узде. В Талмуде сказано: если дать волю ангелу смерти, то он начнет свирепствовать без разбору. Он обрушится равно на грешников и на праведников. В период войны человечество обезумевает.

Я думал об этом в Испании и позже в Советской России во время атак и контратак. Человеческие существа падали, стонали, задыхались, проклиная врага или небеса, или и тех, и других. Некоторые умирали, молясь, оплакивая своих матерей, жен, любовниц. Я же говорил себе: это безумие, это безумие!

Что же я, романтик или просто дурак? Или и то, и другое? Смерть в периоды войн всегда наводит меня на ту же мысль о безумии, метафизическом безумии. Дети растут, учатся ходить, бегать, говорить, смеяться, славить жизнь, осуждать зло. Ценою слез и усилий женщины и мужчины приближаются к счастью, очень малому счастью. Для себя и своих детей они строят дом своими руками и представляют себе будущее, полное света, разумеется, не безоблачное, не без трудностей и ли-

шений, — и вдруг некто избранный (*ими* избранный?) отдает команду, и весь ритм времени сбивается — действие одного единственного существа ликвидирует годы, столетия труда и надежд. Бессмертие стремится к смерти, и мне хочется кричать: “Ведь это же безумие, безумие!”

Я пошел с Карлосом, моим немецко-французско-венгерским другом, которого здесь звали Карлосом, как Штерна звали Жуаном, а Фельдмана — стрелок Гонзалес, как Палтиель Коссовер теперь откликнулся на имя Санчо. Чистое безумие, все эти имена, заимствованные из оперетты, нелепые маски, в которые мы обряжались, чтобы бежать на фронт и, возможно, в объятия смерти. Кого мы обманывали? Ангела смерти не обманешь, его меньше всего беспокоили эти наши игры; он, верно, тоже шептал себе под нос, что это безумие.

Итак, я поехал с Карлосом в Мадрид. Столица осаждена, ранена, но бурлит энтузиазмом. Гордый город кажется оживленным. “Но пасаран!”, фашисты не пройдут! — вопит Мадрид, зная, что рано или поздно слова уступят место пулеметам, что рано или поздно этот белый, красный, пурпурный город будет перевернут вверх дном, захвачен, наказан, разграблен и поставлен на колени. Тогда зачем же нужен этот вопль “Но пасаран”? Чтобы подстегнуть собственное мужество? Почему же сотни других городов на каждом континенте откликаются Мадриду тем же “Но пасаран!”? Чтобы очистить свою совесть?

Я задаю своему другу Карлосу этот вопрос, и он отвечает: “Но должны же они, в самом деле, что-то кричать. Если ты хочешь, чтобы люди воевали, вели им кричать”.

— Но это безумие, Карлос, это безумие.

— Я предпочитаю безумца, который кричит, тому, который молчит.

— А я нет, Карлос.

— Это потому, что ты еще не научился ни кричать, ни воевать.

Несмотря на мои посещения фронта, мое понимание военного дела не стало лучшим. Подверженный сильным сердцебиениям и жестоким мигреням, я был жалким солдатом. Ружье в моих руках угрожало больше моей собственной жизни, чем жизни врага. Я носил револьвер в кожаной кобуре на ремне, но это делалось прежде всего для того, чтобы при случае произвести впечатление на милиционера и убедить его в том, что камрад Санчо — это персона.

Идут свирепые уличные бои. Ублюдки эти просто напросто игнорируют смерть. Красные люто демонстрируют свою храбрость. Это сам Сталинград до Сталинграда. Каждый дом — крепость, каждый житель — герой. “Салют!” — кричит нам капитан лет двадцати или около того, обтирая рот. “Салют!” — кричит молодая женщина, пригнувшись от выстрела. Университетский комплекс рядом напоминает кладбище, где мертвецы исполняют танцы смерти.

— Я ищу командира Лонго, — говорит Карлос, — он должен быть где-то в этом секторе.

Молодая девушка не знает. Молодой капитан ничего не слышал о нем. Мы встречаем раненых и тех, кто несет раненых, мы спрашиваем их, знают ли они этого командира Лонго, настоящее имя которого несомненно менее экзотично: Лангер? Лейбиш? Да, кто-то знает его, но не представляет, где он может быть сейчас, другие его лично не знают, но знают, что он командир и, более того, отвечает за этот сектор. Он, наверное, там, в укрытии, около входа в парк. Сильный пулеметный огонь. Согнувшись в три погибели, а на открытых местах ползком, мы продвигаемся вперед, приветствуемые нашими. "Салют!", "Салют!" Мы отвечаем: "Салют!", "Но пасаран!". Наконец в укрытии, в подвале разрушенного трехэтажного дома, выходящего в парк, солдат ведет нас к командиру Лонго. Тот изучает карты, сидя на корточках. По шее у него течет пот. Нечесанный, измотанный, с красными глазами, он выглядит дикарем.

— Вам что надо? — рывкает он хрипло, не поднимая головы.

— Мне надо передать вам приказы, — говорит Карлос.

— Тогда чего же ты ждешь? Говори.

— Не здесь.

— Ты что, с ума сошел? Куда ты хочешь пойти, в гостиную?

— Это секретные приказы, — настаивает Карлос.

— Что ты хочешь от меня? Отослать всех наверх, чтобы их подстрелили?

Он проводит рукой по лбу, оставляя жирную черную полосу.

— Ладно, — говорит он раздраженно. — Я понимаю. Идем туда, в угол.

Там в углу они одни: Карлос, передающий приказы, и Лонго, их принимающий. Они встречаются глазами, снаряд разрывается, и двух взятых взаимы имен больше не существует. Салют, Карлос. Но пасаран, Лонго, Лейбиш, Лангер. "Такое безумие", — говорю я себе.

Салют и приказам, переданным, но не принятым, салют приказам, исчезнувшим вместе с Карлосом и Лонго. Могли бы они сослужить хорошую службу нашим, создать нам перевес, который оказался бы важным для победы? Этого я никогда не узнаю. Я вернулся на базу с единственной мыслью, бившейся в голове: "Война — это безумие, война порождает безумие".

Особенно в Барселоне...

Барселона вела еще одну войну, в рамках той, большой. Подлую, уродливую, глупую войну; теперь я понимаю это, тогда не понимал. Я знал, что различные вооруженные группы и группки разных движений и фракций, более или менее примыкавших к социализму, анархизму или коммунизму, завидовали друг другу, враждовали и при случае уничтожали друг друга. Но я не знал, что это носило системати-

ческий характер. Товарищи, особенно лидеры, вдруг бесследно исчезали. Посланы на задание? Арестованы НКВД? Несколько дней мучают сомнения, пока не забываешь об этом, переворачиваешь страницу и занимаешься другими назревшими проблемами. А потом вдруг обнаруживаешь, что исчезли еще и другие. Потом в один прекрасный день из "хорошо информированных источников" становится известным, что в действительности самые первые из исчезнувших находятся (или уже не находятся) в мрачных подземельях той или иной тюрьмы и что их подозревают в подрывной, сеющей распри, а потому преступной, деятельности. Что, надо было негодовать? Но у нас были другие, более важные дела, не терпящие отлагательств. Шла война против фашистского врага. Итак, сотрудники НКВД выполняли свое назначение и были бдительны без стыда, и даже не вызывая стыда у других. Их жертвы погибали, даже не зная за что. А если бы они знали, что бы это изменило?

Это было глупо, гражданин следователь, глупо и нелепо, признайте это, как обычно признаете многое другое.

На одной стороне были фашисты, сплоченные как один, а на другой лоялисты и их союзники — разобщенные, разделенные на фракции, противостоящие друг другу, всегда готовые бороться друг с другом.

Первым предстояло исчезнуть троцкистам. Они жили в отеле "Факон" на Рамбла. За ними последовали их старые друзья. Потом те, которые не были ничьими друзьями — анархисты. Политика прежде всего — скажете вы. Нет, гражданин следователь, прежде всего победа, прежде всего справедливость.

Вы считаете меня наивным, так ведь? Я был им. Мне не стыдно признаться в этом, я даже с гордостью объявляю об этом. Я рад, что принимал участие в этой испанской войне. Я верил в нее. Она велась за правое дело, я сражался за все, что составляет честь быть человеком. Я осознавал это. Вот почему я не обращал внимания на ночные аресты и расправу на рассвете с моими друзьями — троцкистами и анархистами — да, все они были моими друзьями. Что, сейчас я признаюсь в преступлении? Неважно. Говоря с вами, я говорю прежде всего с самим собой, и лгать я не желаю.

Я даже любил барселонских анархистов — их отвагу, их браваду, их абсурдные, но поэтические лозунги. Я немного завидовал им; почему я не мог петь, как они, с той же беззаботностью, детским энтузиазмом? Любопытно — среди них было всего несколько евреев.

Они были взрослыми детьми. Смеющиеся буйные дети, противостоящие обществу, которое отвращало их своей логикой, законами, лицемерной расчетливостью и своей силой.

Правда, идеология их не выдерживала никакой критики. Анархия не существует, не может существовать как система, поскольку отрицает всякое будущее, препятствуя самому его рождению. Нельзя бо-

роться с установившимся порядком вещей, противопоставляя ему другой установившийся порядок. Пустота не может быть инструментом, как и беспорядок. Концепция хаоса содержит в себе свои противоречия. Истинный анархист в конце концов должен отречься от анархии и стать анти-анархистом, поэтому... Тем не менее, я любил гулять по Рамбла или выпивать в живописных барах Монджуйчи с Гарсией из Теруэля, Жуаном из Кордовы, с Луисом из Малаги (были ли это их настоящие имена? Признает ли анархист узы и ответственность имени?) Всякий раз, когда они слишком уж повторялись или провозглашали какое-нибудь грандиозное, но бессмысленное положение, они начинали громко смеяться и хлопать друг друга по колену. А я, такой же пьяный, как и они, я читал им — да, вы правильно прочли — мистические стихи, которые они порождали в моем замутненном сознании. Потому что все они были непризнанными мистиками, вынужденными мистиками, преследуемые навязчивой идеей о тайне конца, о разрыве времен. Они старались погрузиться во все это, чтобы достичь небытия и потонуть в нем, заливаясь смехом. Анархисты и мистики пользуются одним и тем же слварем, знаете ли вы об этом? Они используют одни и те же метафоры. В Талмуде Бог запрещает рабби Ишмаэлю плакать до тех пор, пока Он не вернет вселенную к ее первоначальному состоянию. Разве это не первый образ анархиста, не первый анархистский порыв?

Я помню Заблотовского — простите, Жозе — талантливого художника, полного огня и ярости, объяснявшего мне, почему он вступил в движение:

— Я ненавижу белый цвет. Я люблю смотреть, как он взрывается. Покрывается грязью и кровью.

А Симпсон, студент из Ливерпуля, говорил:

— Я ненавижу эту жизнь, к которой нас принудили, эту землю, которая была дана нам, как подают милостыню, этот мир, который наводит на нас сон. Я бы всех их хотел видеть в аду, горящих в огне, наводящих ужас на богов, которые создали их. Вот почему я порвал с моим народом и с моим прошлым. Здесь я свободен!

Пусть эти декларации не заставят вас сделать вывод, что анархистов привлекала смерть. Бессмысленный боевой клич "Да здравствует смерть!" был придуман не ими, а фалангистом-маразматиком, генералом Миланом д'Астреем. Глупец. Он не понял, что для того, чтобы быть анархистом, нужны высокий интеллект и чувство юмора.

В действительности, этого безмозглого дурака высек Мигель де Унамуну, работы которого я тогда не знал. Я начал читать ее только после того, как узнал, что случилось в университете Саламанки, ректором которого он был. Выступая перед фалангистами, выразившими свое восхищение генералом д'Астреем, скандируя и вопя "Да здравствует смерть!" в переполненной и бурлящей аудитории, старый философ спокойно и трезво говорил: "Я не могу молчать... Не высказаться

сейчас — значит соврать... Я только что слышал психопатический, лишенный всякого смысла клич: "Да здравствует смерть!" Для меня это звучит отвратительным парадоксом...

Это была удивительно мужественная и благородная речь. Эхо ее звучало по всей израненной, истекающей кровью Испании. Ее обсуждали во всех Каса дель пуэбло, в долгие ночи в палатках и даже в грузовиках, везущих на фронт. Тогда я мог воспроизвести по памяти всю речь целиком: "Этот университет — храм интеллекта, и я его жрец... Вы, генерал д'Астрей, возьмете верх потому, что за вами сила, но вы никого не убедите..."

Это было его последним публичным выступлением. Вскоре после него философ оставил преподавание и умер. Но в его работах я нашел много интересного. Я читал его "Жизнь Дон Кихота и Санчо Пансы" в период Терузьской кампании. Его "Трагический смысл жизни" я проглотил в 37-ом, во время битвы при Гвадалахаре. Я помню, как, читая, думал, что автор должен быть потомком маранов. Его концепция изгнания напоминала мне рабби Ицхака Лурию. Трагическое восприятие, сказавшееся в его работе, было много столетий до него выражено учениками Шаммая и Гиллеля, которые считали, что для человека лучше было бы вообще не появляться в этом мире. Но "коль скоро он был создан, то уж пусть изучает Тору..." Смешно, но все, с чем бы я ни сталкивался, приводило снова и снова к еврейскому наследию. Все, кого я встречал, оказывались старыми знакомыми.

Хотите еще один пример? Это было в 1938 году, незадолго до великого поражения, незадолго до моей репатриации. Немецкая армия только что вошла в Австрию, радостно встреченная безумным населением. Зло тучнело, тучи сгущались. Ночь надвигалась на континент, как это случилось в Испании. История Испании была предзнаменованием последующей истории Европы. Сила возобладала над правом, даже над правом божественным. Нацеленное ружье было равнодушно к человеческим ценностям; оно было направлено на человечество, а человечество только-только начинало это замечать. Республиканская Испания была потеряна, как потеряна была и Европа. История скатывалась к позору и страху.

Я был подавлен, все мы были. Приближался конец, мы двигались навстречу неопишуемому бедствию. Ничего не осталось от прежнего энтузиазма, когда бригады формировались под знаком солидарности. Правительства Франции, Великобритании и Соединенных Штатов бросили Испанию на произвол судьбы, отдали ее в руки палачей. Как можно было объяснить, не пытаюсь оправдывать, такое малодушие со стороны людей, в других отношениях благородных, честных и политически чистых? Мы уже даже и не пытались объяснить.

Советская Россия сохраняла верность, только она одна. Это делало нас гордыми и решительными. Но жребий был брошен. Не было ни-

какого шанса на победу. Мы все еще крепились, но это во имя чести, а не победы.

Моя подавленность имела еще и личный оттенок. Исчез Берку, венгерско-еврейский товарищ, которого я любил, как брата.

Я поехал повидаться с Яшей, упросить его вмешаться. Яша работал в службе безопасности, все это знали. В некоторых кругах считали даже, что он был полноправным хозяином ее.

Он жил в отеле "Монополия", переименованном в "Либертад". Он принял меня сердечно. Большая голова, привлекательная улыбка, вьющиеся волосы, загорелое лицо: архитипичный еврейский коммунист-интеллектуал, каким его представляли себе в тридцатые годы. Чтобы я чувствовал себя непринужденно, он обсуждал со мной общую ситуацию на идиш, и его взгляды казались мне менее пессимистичными, чем оценки моих товарищей и моя собственная. "Испанская война — лишь эпизод, — говорил он. — Будут и другие. Единственное, что имеет значение — это высшая цель. Важно, что Советская Россия с честью выполнила свои обязательства. Рабочие, отверженные, свободные люди, которых предали, знают, что они могут положиться на нее. Остальное не имеет особого значения, остальное изменится и будет забыто. Сделай скачок, скачок на десять лет вперед и ты поймешь: эти тяжкие эпизоды уже никого не будут интересовать...

Я сидел, поигрывая незажженной трубкой Шейны, — мне нравилось вертеть ее в руках, я не курил. Искося я наблюдал за своим могущественным другом. Говоря, он расхаживал взад и вперед по комнате с правой рукой в кармане брюк. Слушая меня, он останавливался. В промежутках он вынимал сигарету, медленно зажигал ее, затягивался, закрывая левый глаз и выпуская дым, открывал его снова.

Зная, как он занят, и не желая злоупотреблять его щедростью, я перешел прямо к делу.

Он перебил меня:

— Я знаю. Я знаю, зачем ты хотел видеть меня.

— Ну и что?

— Ничего.

— То есть как — ничего? Послушай, Яша, Берку исчез и...

— И ничего, я же говорю тебе.

— Что это значит, Яша, что ты не имеешь к этому отношения?

— Это означает, что тебе лучше не вмешиваться в это.

— Но Берку — один из нас, идеалист, ты же знаешь это...

За дверью в зале стало шумно. Он стал говорить жестче, голосом более резким, но выражение его глаз осталось прежним. Он продолжал по-французски:

— На самом деле я ничего не могу сказать тебе по этому поводу. Если Берку арестован нашими службами, что возможно, хотя и не точно, это их дело; они знают, что делают, и только выполняют свой долг.



Он подошел к двери и открыл ее — там никого не было.

— Прости, — прошептал он на идиш, пожимая мне руку. — С твоим другом все кончено. Забудь о нем. — И громко по-французски, — Думай о том, что впереди, об общей картине. Мы победим, Санчо, мы победим.

За этот час я постарел на десять лет. Я думал о Берку. Жив ли он еще? Страдает ли? Какие преступления он мог совершить, чтобы заслужить судьбу предателя? От мысли, которая пришла мне в голову, мороз пошел по коже. Где его держат? Возможно, в подвалах этого самого отеля "Либертад"?

Совершенно опустошенный, как будто из меня выкачали все силы и саму жизнь, я брел бесцельно вниз по Рамбла, блуждал в запутанных аллеях, где несколько месяцев назад гулял с Берку.

Выросший в деревне недалеко от Румынской границы, он взбунтовался против своего отца, богатого торговца. Определив в качестве наказания сыну порку, отец его нанял для этой цели подмастерье мясника. Всякий раз, когда, вернувшись из школы, Берку заявлял, что больше не пойдет туда — а это случалось достаточно часто — отец его, не говоря ни слова, посылал за подмастерьем и его палкой.

— Было больно, — говорил мне мой друг, — я страдал, как тысяча чертей в аду, но сжимал зубы, чтобы не показать этого. Я ни разу не закричал. Так продолжалось недели и месяцы. Не знаю, кого я ненавидел больше, — отца, который бесстрастно наблюдал эти порки, или помощника мясника, который с тем же равнодушием ломал мне кости за несколько грошей. Однажды я встретился с человеком, принадлежавшим к подпольной партии; я пошел с ним, и вот тут меня ждал настоящий сюрприз — помощник мясника пришел туда раньше меня, он уже был там начальником...

Значит, такое возможно — открыл я для себя: служить богатым безжалостным купцам, наказывать беззащитного ребенка по их приказу и готовить освобождение человечества! Возможно быть сначала наказанным религией, а потом коммунизмом. Можно быть одновременно и другом Берку, и другом Яши. Яша... Что бы делал я на его месте? Он знал Берку, мы проводили вместе много вечеров, пели, сравнивали наши судьбы... А теперь Берку его узник. Его жертва?

На рыночной площади я встретил колонну анархистов, красные и черные флаги развевались на ветру, они направлялись на фронт. Антонио из первой машины помахал мне:

— Санчо, Санчо, ты что такой печальный?

— Я потерял друга. Одного? Нет, двоих.

— Едем с нами, и ты перестанешь думать об этом, — сказал Антонио, — увидишь один из боев. Почему ты не едешь?

— Нет, спасибо. Я не гожусь для боя, ты же прекрасно знаешь это.

По правде сказать, меня тянуло поехать. Я отказался только пото-

му, что представил себе Яшу, ругающего меня: "Ты не должен был ехать с анархистами, ты не должен был присоединяться к ним..." Яша спрашивал меня: "Почему ты поехал с Антонио? Как давно ты его знаешь? Почему ты общаешься с нашими врагами?"

— Нет, Антонио, — повторил я, — я не могу.

Трусость? Осторожность? К чему играть в слова? Это была трусость.

Результат — чудовищная, всепроникающая печаль. Луна искала убежища за вуалью. Звезды были в трауре. Город был проклят. Я не мог найти себе места — я был не в ладах со всем миром и с моим телом, которое меня с этим миром связывало. В первый раз я пожалел, что приехал в Испанию. Лучше бы мне оставаться во Франции. Или в Палестине. Или в Лиянове... И снова передо мной встало лицо моего отца, как во сне. "Будь хорошим евреем, Палтиель, будь хорошим евреем, сын мой..." Был ли я им еще? Я больше не соблюдал заповедей Торы, я нарушал ее законы, я больше не навязывал филиakterии, но... но что? Они у меня в рюкзаке, тфилины, я таскаю их из лагеря в лагерь. Я не навязываю их, потому... потому что я веду войну. Войну ради кого? Испании? Но и ради евреев, отец, ради тебя и всех подавляемых людей на земле. "Но ты приехал сражаться в Испанию, за Испанию", — говорит мой отец. Нет, не отец. Кто же это? Он появился из ниоткуда и теперь стоял слева от меня, опираясь на крепостную стену, возвышавшуюся над городом.

— Но ты приехал в Испанию, сражаться за Испанию, — говорил мне сиплый голос Давида Абулесии на идиш. — Имей по крайней мере мужество защищать свои убеждения. В тебе нет больше истинного еврея, он остался в Лиянове. Сюда же приехал коммунист, бросив свое имя и свое прошлое, чтобы стать интернациональным солдатом.

— Но, — запротестовал я, — еврей во мне приехал, чтобы присоединиться к другим евреям, их много в наших рядах. Разве вы не заметили этого? Я не бросал евреев, поехав в Испанию, — здесь мы снова встретились.

— Ну и что это доказывает? Что многие другие поступили так же, как и ты. Сто свечей горят так же быстро, как и одна.

Я поглядывал на него сбоку. Это Давид Абулесия или кто-то похожий на него? Что он делает в Испании? Гонится за Мессией до самой Испании, с тех пор, как было запрещено ступить на эту землю, со времени анафемы, которая последовала за изгнанием и исходом 1492 года? Правда, надо спасать жизни. Что, он пришел для этого? Или он приехал спасать меня? Значит, я в опасности?

— Знаешь ли ты историю моего знаменитого предка Ицхака Абарбанеля? — спросил он спокойным, ровным голосом, как будто бы мы мирно сидели с ним в Доме учения. — Он занимал пост министра португальского двора в конце пятнадцатого столетия. Чтобы этот еврейский

философ, глубоко религиозный в придачу, был принят при католическом дворе в Лиссабоне, он должен был быть поистине великим, страна должна была очень нуждаться в его услугах. Но наступит время тяжких испытаний. Вынужденный выбирать между отречением от своей веры и бегством, он выбирает бегство в Испанию. Еврей и к тому же беженец, он снова сумел достичь высокого положения и стал министром короля Фердинанда, католика. Но в 1492 году дон Ицхак Абарбанель опять оказывается перед той же дилеммой: предать свою веру и продолжать жить во славе или уехать в чужую страну, где ему позволяют сохранить его веру. Он выбирает верность принципам и переезжает в Венецию, где начинает работать над своими мессианскими писаниями. Ну так вот, этот человек, сделавший так много для процветания Португалии и Испании, не снискал даже упоминания в исторических работах об этих странах. Его имя сияет только в истории одного народа, его собственного и нашего с тобой. Иными словами, если ты считаешь, что должен оставить своих братьев, чтобы спасти человечество, то не спасешь никого, даже самого себя.

Было что-то загадочное и нереальное в его хриплом голосе, ворвавшемся в ночь, чтобы рассказать мне об этом прославленном человеке, который свободно мог ступать по этой земле и слушать ту же ночную тишину. Я почувствовал его ладонь на своей руке — и потом все пропало, я больше не чувствовал даже его присутствия.

Вдали послышался вдруг выстрел, затем второй. Два выстрела на рассвете? Берку? В чьей памяти он останется жить? Я обдумывал этот вопрос, как будто бы это имело какое-нибудь значение. В действительности уже ничего больше не имело значения.

Салют, Давид Абулесия. Салют, Дон Ицхак Абарбанель. Салют, Берку. Салют, Санчо. Палтиель идет своей дорогой. Он оставляет вам поэму о Каине и Авеле и их мессианских устремлениях. <sup>1</sup>

Я покинул Барселону, обливаясь слезами ярости.

Сумею ли я когда-нибудь забыть позорное возвращение добровольцев во Францию? Никто не пришел встретить нас. Ни цветов, ни речей, ни фанфар, ни хвалебных слов в адрес солдат интернациональной солидарности. После пограничников, полицейских и таможенников нас ожидали только представители различных отделов префектуры, в полной готовности вернуть нас обратно к бюрократической действительности Третьей Республики: документы, визы, удостоверения, резиновые печати. Мы были не на их стороне, и они вели себя с нами соответственно.

— Раз вы так любите ее, вашу Испанию, почему бы вам было не остаться там? — проворчал грубоватый чиновник.

---

<sup>1</sup> Поэма эта так и не была найдена (Прим. автора).

— От них только и жди одних неприятностей, — добавил его коллега. — Все они такие: приедут в страну, наделают дел и едут в другую, чтобы насолить.

Нарушители спокойствия, смутьяны, вот кто мы, эти пятьдесят добровольцев из второй и третьей автоколонны. В свободной и несчастной Испании все еще шли отдельные бои, но наши Интернациональные бригады были распущены. По приказу из Москвы? Так говорили наши ребята, и я верил этому. Ничего не совершалось или не отменялось без приказа сверху. А “сверху” была Москва, откуда и проистекала прагматическая политика — Салют, Эспана.

Французы отправились домой, а испанцы были собраны в ветхих, мрачных лагерях для интернированных. Я же — все еще благодаря своему драгоценному румынскому паспорту — тоже мог вернуться в Париж.

В поезде со мной заговорил незнакомец, который представился как мсье Луи. Его направили “некие друзья” позаботиться о нас, обо мне. Он не внушал доверия (выглядел уж слишком “подпольно”), но я старался не показывать ему своего отношения. После часа или двух он разговорился.

— Мы все видим и все знаем. У нас свои люди даже в полиции; вот тот парень, что проверял ваши документы, думаете он бы так просто, без всяких затруднений, пропустил вас, если бы не был одним из нас?

Идиот. А если бы я был стукачом? Я дал ему понять, что очень устал и хочу спать. Я закрыл глаза, чтобы ничего не видеть и не слышать. Ни о чем не спрашивать и ничего не отрицать. Поезд засвистел, запыхтел и снова тронулся. Я дремал, грезил. Узник романтической Испании, я покинул ее, чтобы тотчас же вернуться обратно. Влюбленный в отчаянную Испанию, я увозил ее с собой, как горсть песка в ладони, как след пепла на лбу.

Два года. Париж не изменился. Есть города, которые становятся чужими за одну ночь. Только не Париж. Вопрос гордости — в его возрасте самое главное не меняться.

Парижане готовились к летним отпускам — к морю, к солнцу. Это был первый сезон завоеванных оплаченных отпусков. Шли разговоры о войне, но не так чтобы всерьез — мудрость правительства и сила армий возобладают над ухищрениями диктаторов.

Оптимисты говорили: “Зачем Гитлеру идти войной на Францию, если французы и так во всем дают ему поступать по-своему? Именно не развязывая войны, он выигрывает ее”. Пессимисты же несколько варьировали подобные высказывания: “Зачем Гитлеру вступать в войну, которую он уже и так выиграл?” Что же до реалистов, то кто их вообще слушает?

Время от времени возникали всплески беспокойства, подавленности, но они длились недолго. В театрах был аншлаг, перед кинотеат-

рами выстраивались очереди, уличные торговцы ловили момент. Нарядные проспекты, оживленные улицы, зазывающие витрины, популярные романы, модные наряды. Ворчуны ворчали, левые наносили контрудары, женщины смеялись. А бедные, бездомные, лишенные гражданства нищие дрожали, мечтая о мирных рассветах, о визе в какой-нибудь недостижимый рай. Испанская война не изменила ни нравов, ни идей. Народный фронт уже стал историей. Реакционные правые просто скрывали свой триумф. Будущее приведет их к власти.

Не изменилась и Шейна — если не считать, что меня она уже больше не любила. У нее жил другой постоялец, художник, выразивший себя как поэт, и это делало его достаточно привлекательным, чтобы она дала ему кров, покровительство и, как она выражалась, вдохновение.

Я не сердился на нее, я ни на кого не сердился. Война и "возвращение домой" истощили мой гнев. Я наблюдал за другими бесстрастно. Я наблюдал за собой со стороны, как чужой. Я был никем.

— Ты не против? — воскликнула Шейна.

— Почему бы мне быть? Мы взрослые и свободные люди. Мы ничего не должны друг другу и ничего друг другу не обещали.

Сидя на террасе кафе, недалеко от ее квартиры, мы говорили обо всем и ни о чем. Я позвонил ей, чтобы сказать о своем приезде. Мне показалось, что она в замешательстве. Я улыбнулся про себя — явно я помешал ее любовным утехам. Я знал ее достаточно хорошо, чтобы понять это.

— Что? Кто? А, это ты? Ты здесь? Неужели?

— Я позвоню позднее, — сказал я и повесил трубку.

Я сдержал слово и позвонил ей час спустя.

— Прости, что помешал, — сказал я.

Она рассмеялась.

— Ты глуп, но интуиция у тебя неплохая.

Я не был настроен на шутливую беседу и перешел прямо к делу:

— Мне есть письма?

— Да, от твоего отца. Хочешь зайти?

Я предпочел встретиться с ней в кафе. Мы договорились на завтра.

Я нашел, что она похудела, но по-прежнему полна энтузиазма. Она расцеловала меня в обе щеки, пожаловалась на жару, и на дождь, и на международное положение, и на партию, которая не желает понимать, что она не может приютить больше одного постояльца.

Я успокоил ее:

— Не беспокойся обо мне, Шейна. Я уже нашел себе место.

— Правда? — вскричала она облегченно.

— Правда.

Это не было правдой, но она была благодарна. Она схватила мою руку и пожала ее. В другой руке у меня были письма отца.

— Расскажи, — попросила она. — Ты должен рассказать мне все.

— Мне нечего рассказывать, Шейна.

— Нечего? Ты вернулся из Испании, ты вернулся с войны, и тебе нечего рассказать?

— Именно, Шейна. Я вернулся с войны, я вернулся из Испании, и мне нечего рассказать тебе.

Она сочла уместным погладить меня по руке.

— И все-таки, мой маленький поэт, это несерьезно. Ты участвовал в сражениях, ты видел, как умирали товарищи, ты делал что-то настоящее, настоящее. Ты должен рассказать мне, как все это было. Если, конечно, ты не написал об этом стихи. Может быть, ты лучше прочтешь их мне?

Я спокойно терпел ее атаку.

— Мы поговорим об этом в другой раз.

— Почему не сейчас? Потому что... я живу с другим? Поэтому? Ты хочешь знать, кто он?

— Да, — соврал я снова, — хочу.

Она принялась описывать юного художника: такой одаренный, такой славный, такой бешеный... Мы расстались дружески. Мы будем встречаться. Обещаешь? Обещаю. Конечно.

Я виделся с ней несколько раз, случайно, на собраниях культурной секции партии. Однажды я решил, что познакомился с ее нынешним любовником. Приятель представил мне художника из Румынии, недавно бежавшего из печально известной крепости под Клужем. Но это оказался не он.

Я был одинок. Я потерял все следы своих бывших друзей и коллег, работавших у Поля Гамбургера. Он исчез. Я пытался разыскать его. Я собирал информацию, расспрашивал общих знакомых. Везде мне давали понять, что я ступил на тонкий лед. У Поля Гамбургера новые задачи, и лучше не задавать вопросов. Секретная миссия в нацистской Германии? А может быть, на Востоке? Палец, приложенный к губам, взгляд, полный скрытого смысла. Я верил всему, но не совсем. Я помнил наш последний вечер с Полем, его предчувствия, его совет. Я помнил также и свой разговор с Яшей в Барселоне. Я надеялся. Что еще оставалось делать? Я надеялся вопреки всякой надежде, что мой друг, Поль Гамбургер, был где-нибудь со специальным заданием, и значит — свободен, и значит — жив.

Правду я узнал позднее, значительно позднее. Поль был арестован, как только сошел с самолета в Москве. Его бросили в подвалы Лубянки, пытали и убили. Та же судьба была уготована и всем его соратникам, всем, кого я тщетно пытался разыскать в Париже.

Теперь, думая об этом, я отчетливо понимаю, что если бы не уехал в Испанию, если бы остался со своими друзьями, то подвергся бы вашему допросу раньше, гражданин следователь. Я бы избавил вас от бес-

сонных ночей, мою жену от страшных волнений, а моего сына — от жизни без будущего. А может быть, одна из наших "служб" ликвидировала бы меня сразу?

Странно, однажды, когда я расспрашивал Шейну о Поле, она почти предсказала все, что сейчас со мной происходит.

— Ты знала его, Шейна, вы были друзьями. Ты встречаешься с важными людьми. Знаешь ли ты что-нибудь?

Мы пили наш обычный черный кофе в том же кафе. Шейна внимательно разглядывала меня, лицо ее выражало озабоченность.

— Я беспокоюсь за тебя, — сказала она.

— Почему? Потому, что я не желаю отказаться от Поля? Но что же делать? Он мой друг. Он играл очень важную роль в моей жизни. Если он в беде, я хочу это знать. Помочь. Это нормально, разве не так? Я боюсь за него. У меня дурное предчувствие... и это ужасно.

Шейна вся дрожала, рот приоткрыт, взгляд затуманен. Она наклонилась ко мне: "У меня тоже", — прошептала она.

— У тебя тоже? — Я вскочил с места. — Ты тоже беспокоишься о нем?

— Нет, — ответила она едва слышно, — о тебе.

Она помедлила, выпрямилась и спросила:

— Хочешь, чтобы я продолжала?

— Да.

— Я чувствую, я вижу мужчину — тебя — в темноте. Одного. Изможденного.

— Ты говоришь о тюрьме или о могиле? Или о том и о другом?

Страх искажил ее черты. Она покачала головой:

— Все это чепуха, ты же знаешь. Я говорю все, что придет в голову. Но будь осторожен. Поль... вернулся в Россию. Не думай о нем.

И все же, когда мне надо было сделать окончательный выбор — назовите это влечением к опасности или абсурдным фатализмом, — я решил поселиться в Советской России. Несмотря на или в силу всего, что было пережито в Испании? Из-за политического положения в Европе? Потому ли, что коммунист во мне терял терпение? Скажем, в Париже ничто и никто не удерживал меня. Конечно, я мог бы вернуться в Лиянов, где мой отец, подкупив несколько чиновников, "устроил" бы мой "военный учет", как прежде он делал это в паспортном столе, — и жить там вместе со всей семьей. Это мне советовал отец и об этом просила мать. Еврей во мне хотел откликнуться на их зов, целовать им руки, вернуть свое детство. Но победил коммунист. Москва являла собой будущее, Лиянов — прошлое. Поль и Яша, Инга и Трауб побуждали меня искать приключений и неизвестности; родители приковывали меня к строению, фундамент которого был для меня чересчур прочным. И все-таки, будь Ахува-Циона, моя однодневная спутница на Святой

Земле, жива и рядом со мной, я думаю, что смог бы заново построить свою жизнь с ней в Палестине.

Случай — какой потрясающий гений организации. Так ли уж он слеп, как на это жалуются люди? История уж безусловно не слепа, как сказал бы мой друг Бернард Гауптман, она знает, куда идет и куда ведет нас. Я же, я этого не знал. Уже не знал. И все-таки...

Начало 1939 года. Товарищ, с умом, более светлым, чем у других, советует мне уезжать немедленно. Мюнхен — ничто иное, как фарс. Гитлер обманул всех. В этом уже сомнений нет. Прага презирает своих французских защитников, Варшава все еще верит в них. Гитлер клянется, что утолил свою жажду завоеваний. Люди же, существенно поутратившие легкоеверие, со страхом ждут нового удара. Где и когда он снова нападет? Я вижу, как они напряженно листают газеты в автобусах и метро. В кафе шуточки официантов полны черного юмора, ответы посетителей выдают их беспокойство. На Плас де Републик, на Больших бульварах, в квартале Сент Поль, во дворе префектуры — везде собираются эмигранты и беженцы без гражданства, я слышу их вопросы, их сомнения. Что будет завтра? Их беспокойство передается и мне, их печаль меня мучает. Они смотрят на меня с завистью. У меня есть паспорт, я пользуюсь определенными правами. Я не незванный гость. Если вдруг захочу уехать, могу вскочить в первый попавшийся поезд, и был таков. Я могу пойти куда захочу. Это дает мне возможность чувствовать себя спокойным и виноватым. Я не нравлюсь себе.

Угнетающее, никчемное существование. Я ничего не пишу, ничего не делаю. Скучаю по Полю. Скучаю по Испании. Мне все время чего-то недостает. Моя жизнь течет вяло, бесцельно. В моей крошечной комнатке в гостинице на Рю де Риволи я иногда часами гляжу на тусклые стены и грязные окна, не меняя позы и без единой мысли в голове. Я ни с кем не разговариваю, и никто не говорит со мной. Я больше не открываю дверь горничной. Она думает, что я болен, и, возможно, так оно и есть.

И такое творится со мной с самого возвращения из Испании. Мое сердце полно предчувствий. Я не узнаю себя. Не то чтобы я чувствовал себя побежденным, — военное поражение, с ним бы я в конце концов справился, — я просто чувствую себя другим. Моя истинная природа оставляет меня, исчезая вдали под унылым небом, а я остаюсь прикованным к земле, не в силах бежать за ней или даже закричать, моля ее вернуться назад, подождать меня. Я не могу ничего сделать, ничего сказать. Я даю себе тонуть и тону.

Я встречаю сотрудников газеты, которые, видимо от Шейны, знают о моих бедах. Я рассеянно слушаю их, и им даже не удастся вывести меня из себя своими советами. Надо принимать вещи как они есть, преодолевать трудности и раз навсегда запретить себе подобный упадок духа, который может... говорят они.



Пинскер просил меня зайти к нему. Я не пошел. Он написал мне чрезвычайно любезное письмо, убеждал меня в том, что я талантливый писатель и поэт и потому у меня есть долг перед читателями. Я не ответил. Я не открывал ни его газеты, ни газеты его соперника-сиониста в течение многих недель. Да и что они могли написать такого, чего я бы уже не знал? Что близится шторм? Что христиане Европы все еще не научились относиться к евреям как к равным хотя бы, если не как к братьям. Оба редактора, как и прежде, спорили и оскорбляли друг друга. Комментаторы объясняли, поэты рифмовали, полемисты путались в аргументах. Как бесплодно все это, ничемно.

Наконец Пинскер не выдержал и снизошел сам прийти ко мне.

— Почему ты живешь отшельником? Это так ты мыслишь себе марксизм или роль поэта в обществе? Мой дорогой, одиночество годится владельцам лавок.

— Я устал, — говорю я, — ничего серьезного, просто переутомление.

— Ты уверен?

— Да.

— Пойдем со мной, займись чем-нибудь. Это тебе поможет.

— Не сейчас, у меня нет сил.

Потом настает очередь Шейны. Она является, садится ко мне на кровать. Ее грудь и рот манят больше обычного. Нежно, ласково она спрашивает о моих стихах, "работах", как она их называет. Она уговаривает меня прочесть ей сонет, несколько стихов, ну хоть что-нибудь, во имя нашей старой дружбы, нашей... Я не соглашаюсь. Голова у меня занята не тем, говорю я. Она настаивает, я мягко ставлю ее на место. В конце концов она признается: партия нуждается во мне, вернее, в моем имени, в моей подписи. Сразу становится понятным интерес, проявляемый дорогими товарищами к моему благополучию.

Оказывается, "Паризер Хаинт" опубликовала открытое письмо к еврейскому поэту Палтиелю Коссоверу. Почему он молчит? Жив ли он? А если жив, то на свободе ли? О нем ходят тревожные слухи. Надо ли считать его в числе жертв недавних чисток? Или — и это наше горячее желание — он среди тех, кто растерялся?

— Партия хочет, чтобы ты ответил им, — говорит Шейна. — Скажи этим грязным буржуйам, что ты думаешь об их постыдных интригах. Скажи им, что ты не порвал с рабочим классом, что веришь в революцию и в родину революции.

Шейна не лишена дара слова, но не тогда, когда речь заходит о политике. Здесь красноречие изменяет ей.

В прежние времена ее высказывания вызвали бы у меня взрыв смеха, сейчас они оставляют меня равнодушным. Пусть себе буржуи, сионисты, капиталисты думают что хотят, пусть себе делают что им угодно, пусть пишут, что им вздумается, но пусть оставят меня в покое. Шейна, я устал, заставь их понять это. Я слишком утомлен, чтобы участ-

зовать в их играх. Революция и контрреволюция, Троцкий и Сталин, Бухарин и Радек, Пинскер и Швебер плывут у меня перед глазами, как на экране. Все их проблемы — я не желаю вникать в них. Я не шевелюсь, не думаю больше. Мой мозг хочет покоя. Можешь ты понять это, Шейна? Слова мне больше не подчиняются, они безжизненны, как и многие неопознанные трупы. Только Мессия может воскресить мертвых, а я не Мессия.

Захваченная моими словами, Шейна сидит, полуоткрыв свои налитые губы, как в добрые старые дни, и мурлычет. Она шепчет: "О, как прекрасно, как по-мужски, ты должен записать это".

Захотелось ли ей вдруг воскресить старую любовь? Я не спросил ее. Меня это не волновало. Только бы она ушла, исчезла. Всем бы им исчезнуть и перестать приставать ко мне. Я хочу жить вне жизни.

Но это не так просто, как кажется, гражданин следователь. Жизнь ловит тебя и не выпускает. Ты бежишь от человека, а он преследует тебя. Ты бежишь за ним, а он пытается ускользнуть от тебя.

Сидя в четырех стенах, начинаешь верить, что события вне этих стен тебя уже больше не касаются, однако всегда остается связь между тобой и внешним миром — и она перманентна, — странная и удивительно трагическая связь. Она всегда зависит от кого-нибудь, и этот кто-нибудь — совсем не ты сам. Два главы государства заключают пакт, а меня инспектор полиции вытаскивает из кровати для "установления личности". Я вручаю ему свою *carte de sejour*<sup>1</sup>, свой исправно проштампованный паспорт и жду, что он вернет мне их назад. Однако равнодушным, ничего не выражающим тоном он велит мне одеться и следовать за ним. Мои документы остаются у него. Мне бы взволноваться, протестовать, задавать вопросы, но я сохраняю безразличие и равнодушие, как и он. Что он может мне сделать? Мои документы в порядке, это я могу доказать. Легально приехав во Францию, я вел упорядоченный образ жизни, я не являюсь нагрузкой для хозяйства страны и не стою Франции ни гроша, поскольку живу на ежемесячное пособие от своего отца.

Я кончаю одеваться, и мы спускаемся вниз. У входа стоит черный автомобиль. Через пять минут я уже в шумной приемной, набитой людьми и назлектризованной напряжением. Я задаю вопрос и получаю ответ: полиция устроила облаву на всех агентов коммунизма — иностранцев. Почему? Никто не верит мне, что я ничего не знаю. Что? Вы не знаете, что Россия и Германия подписали пакт, и какой пакт — пакт века? Я отвечаю: "Невозможно, ложь, пропаганда. Россия никогда не делает этого. Никогда, никогда". Они показывают мне заголовки в "Пари-Суар", в "Пти Паризьен". Я продолжаю твердить одно слово — "Никогда!" Они показывают мне статью мелким шрифтом в нашей партий-

---

<sup>1</sup> *Carte de sejour* (франц.) — вид на жительство (прим. переводчика).

ной газете. Они говорят: читайте! Я читаю. Я перечитываю. Товарищ, стоящий рядом, говорит: политические, стратегические, дипломатические причины, разве я знаю? Мы не должны делать поспешных выводов. Теперь у меня на устах другое слово: невероятно, невероятно! И я снова начинаю думать и реагировать. Таким образом, понадобилось событие исторической важности, чтобы вывести меня из глубокой апатии, транса. Я оббегаю все скамейки в поисках знакомых и дополнительных сведений.

Что будет с иностранцами? Их посадят в тюрьму? Выгонят? А как же с теми, у кого нет гражданства, с политическими беженцами из Германии? Мой случай прост. Инспектор, который через несколько часов подверг меня тщательному допросу — хотя менее тщательному, чем ваш, гражданин следователь, — прямо объявил мне, что я буду выслан с территории Франции. И куда я должен ехать? Куда угодно. В Бельгию или Италию, или в Германию, добавляет он, посмеиваясь. Да, в Германию, повторяю я, смеясь. Если конечно... — говорит он. Если что? Если я согласен ехать домой, в Румынию, то в этом случае мне будет разрешено задержаться еще на сорок восемь часов, чтобы подготовиться к отъезду. Восстановив несколько свою способность думать, я торгуюсь. А почему не семьдесят два часа? Он соглашается, но подчеркивает: через семьдесят два часа чтобы вашего духа здесь не было. Вам ясно? Яснее быть не может.

Из префектуры я направляюсь напрямиком к Пинскеру, который связывает меня с кем-то, кто знает кого-то. В конце концов я встречаюсь с товарищем, который занимается такими случаями, как мой. Он изучает мои документы очень подробно, тщательно выверяет их, и вдруг лицо его озаряется.

— Вы не сказали мне, что родились в Краснограде!

— В Краснограде? В первый раз слышу. Я родился в Барассах.

— Но это же одно и то же!

— Разве это имеет какое-нибудь значение?

— Еще какое! Вы родились в Советской России!

— Ну и что же! Я же гражданин Румынии.

— Румынский гражданин русского происхождения. Сколько лет вам было, когда вы покинули Красноград?

— Я был ребенком.

— Хорошо, очень хорошо. Давайте снова посмотрим все ваше досье. Вы родились в Барассах, которые теперь стали Красноградом. А Красноград сейчас входит в территорию Советского Союза. Иными словами, вы являетесь советским гражданином. А это означает, что вам надо заявить о себе в вашем консульстве, и оно позаботится о вашей репатриации. Ну, так что вы на это скажете?

Он страшно воодушевлен, этот товарищ. Он нашел уникальное решение проблемы. Он горд своей изобретательностью. А я смотрю на

него как на мага. Он сработал уж слишком быстро, с моей точки зрения, он открыл чересчур много дверей всего за несколько секунд. Советский гражданин?! Я?! А как же мой румынский паспорт? А моя лояльность к Его величеству королю? А моя национальность? А мои родители? Поехать в Советский Союз, когда мои родители живут в Румынии? Как долго может продолжаться эта разлука? Я должен сориентироваться, определить свое место в этой коллекции городов, которые меняют названия. Я должен все это спокойно обдумать, тщательно проанализировать, но товарищ не оставляет мне такой возможности. Семьдесят два часа — это очень мало. Он так взволнован, что не может спокойно стоять.

— Здрóрово! Вы счастливчик, товарищ, — говорит он. — Ну, доложу я вам, если бы все мои случаи решались так великолепно...

Он знает обо мне все, ему все известно: Берлин, Испания, моя культурная деятельность в Париже.

— Все пойдет как по маслу, — обещает он. — Новый паспорт, билет на самолет или теплоход. Не беспокойтесь об этих формальностях — всем этим займется ваше консульство.

Дни бегут, я волнуюсь, меня лихорадит, дорога каждая минута.

Предупрежденное "соответствующим отделом" Советское консульство любезно принимает меня как гражданина, жаждущего вернуться к себе на родину. Мне выдают документ, выправленный в России, кое-какие советы, инструкции и билет на теплоход. Я должен сесть на первый датский корабль, идущий рейсом в Одессу. Когда? Через два дня. У меня едва хватает времени обнять Шейну — *увиджу ли я ее когда-нибудь снова?* — написать чересчур длинное путаное письмо родителям, сбегать к Пинскеру, который тут же, на первой странице, объявляет своим верным читателям, что "поэт Палтиель Коссовер, вопреки клеветническим слухам буржуазной прессы, едет домой, в Советскую Россию, где бок о бок с нашими друзьями будет продолжать борьбу за мир..." Остается только уплатить по счетам в гостинице, ресторане и прачечной, купить теплый костюм и белье и... мое время истекло. Скоро я уже в Бельгии, потом в Голландии. Роттердам. Порт. Корабль. Я на борту, офицер проверяет список пассажиров, изучает мой румынский паспорт, мой русский документ и называет мне номер моей каюты, в которой кроме меня едет еще японский бизнесмен. Я облегченно вздыхаю. Прощай, изгнание.

Стук в дверь. Матрос спрашивает, не надо ли мне чего. Поесть? Выпить? Нет, ничего, спасибо. Совсем ничего? Нет. Он уходит, и у меня остается странное чувство, что он сказал не все, с чем пришел.

Я сталкиваюсь с ним еще несколько раз на протяжении плавания. Он наблюдает за мной, шпионит. Я решаю, что он, скорее всего, работает на датскую секретную полицию. Но он оказывается сотрудником советской госбезопасности. Он говорит об этом накануне прихода в

Одессу. Он ловит момент, когда я остаюсь один в каюте, и входит. Он задает свой обычный вопрос: не нужно ли чего? Я отвечаю, как всегда, и жду, что он уйдет. К моему удивлению он остается стоять на месте и смотрит на меня в упор. Я предлагаю ему сесть, но он предпочитает сохранять дистанцию. Прекрасно, что вам надо? Он спрашивает о моих планах. У меня их нет. Где я буду жить? Я не знаю. У вас есть знакомые в стране? Да, я знаю нескольких человек, но не представляю, где они живут, — дело в том, что я не знаю даже их настоящих имен. Поль, Яша... Матрос заинтересовался ими, нашими взаимоотношениями. Я расслабляюсь, рассказываю о своем сотрудничестве с Полем, о годах в Испании, о Яше, человеку очень важном, который работает в... Я замолкаю. Я сказал слишком много. Откуда мне знать, что этот стюарт действительно работает на нас? А что, если он агент противника? Его французский явно не родной для него. Правда, это мало что значит, мой тоже не лучше, и все-таки... Неужели он немец? Я прикусил язык, море смыло весь мой подпольный опыт чересчур уж быстро. Я молчу. Матрос — друг? враг? — прощается. Небольшой совет, говорит он уже на пороге.

— Да?

— Чем меньше вы будете говорить, тем лучше для вас.

Нет, он не из гестапо. Нет, он не причинит мне зла. Он убеждает меня не говорить, в особенности о моих бывших друзьях, не вспоминать мое прошлое. В нынешних обстоятельствах прошлое слишком обременительно. Инстинктивно я следую его советам.

На вопросы, которые мне задают сразу по прибытии в Одессу, я отвечаю, что никого не знаю в Советской России. У меня нет ни родственников, ни друзей. Почему же я решил приехать сюда и жить здесь? Просто меня выслали из Франции, и я не знал, куда направиться. В Румынию? Но там меня считают дезертиром. Моя откровенность производит более благоприятное впечатление, чем любое, самое клятвенное заверение в преданности, и меня гостеприимно оставляют. Франки и датские кроны мне меняют на рубли. И вот я дома — на родине бездомных.

Я покинул порт и направился в центр города, по следам памятных, ярких и привлекательных персонажей Бабеля: сентиментальных мерзавцев и негодяев. Река людей, впадающая не в море, а в смерть.

Я сажусь в трамвай, который везет меня в торговую часть. Я спрашиваю кондуктора о гостинице, и он кое-как объясняет мне: там, за магазином, маленькая площадь, дешевая гостиница.

Правильно ли я сделал, что приехал сюда? Идя вниз по холодной улице, оглядывая дома, я вдруг испугался, что завел себя на one-way street.<sup>1</sup> Разрыв с прошлой жизнью был слишком резким. Что будет со

<sup>1</sup> One way street — улица, по которой движение разрешено только в одну сторону.

мной? Я голоден. Меня мучает жажда. Я не знаю, что уготовило мне будущее и есть ли вообще у меня какое-нибудь будущее? Имеет ли мое отвергнутое прошлое хоть малейший шанс возобновиться здесь? А еще... я думаю о Лянове и моих друзьях. Эфраим — я пытаюсь представить его в этой оправе, в этой стране его мечты. Я вижу перед собой Ингу и Трауба — они идут со мной вниз по улице. Вся моя жизнь разворачивается перед моими глазами. Как будто я двигаюсь навстречу смерти. Я цепляюсь за прошлое, пока оно не ускользнуло от меня. Я тороплюсь, пока не провалился в темную дыру, которая становится все шире и шире, прямо у меня на глазах, и где, я чувствую, молчаливо присутствуют все мои друзья из прошлого. Я знаю, что когда-нибудь последую за ними — оступлюсь и упаду. Ничего не поделаешь, я не виноват, что ташу сейчас этот чемодан, не виноват, что выбрал этот путь из всех других. Случай или судьба? Все дороги моего прошлого ведут в Одессу. Счастлив ли Бог в Одессе?

Я останавливаюсь на минуту передохнуть и ставлю свой чемодан на землю. Гостиница уже, наверное, недалеко. Вперед. Не трусь. Что там, в этом проклятом чемодане, что он такой тяжелый? Одежда. Несколько рукописей. Филактерии в маленькой синей сумке. Несколько стихотворений. Слова.

Моя жизнь.

Укутанная и ушедшая в себя Москва как бы спряталась в укрытие, чтобы затаить дыхание и сохранить тепло. Схваченные холодом, как параличом, улицы ее были пусты, если не считать отдельных пешеходов, спешивших на работу, или случайных саней, запряженных маленькими сибирскими лошадьми. Из своего окна на первом этаже я смотрел, как снег падает с низкого серого неба.

Я жил в Советском Союзе уже несколько недель и чувствовал себя отрезанным от всего мира, загнанным в угол. Писем не было ниоткуда — ни от родителей, ни от друзей. Лянов и Париж остались в другом мире.

Я почти не выходил. В своей комнате я думал о друзьях, по которым очень скучал. Я не осмелился никому в этом признаться — ностальгия не относилась к числу пролетарских добродетелей, и мне бы на это указали. А кроме того, у меня все еще не было никого, с кем бы я мог поделиться.

Меня дружески приняли в Клубе еврейских писателей, где я объявился вскоре после приезда в столицу. Некоторые из моих стихов, опубликованные в "Дос Блэттель" были здесь известны; несколько было даже переведено в ежемесячном журнале, выходившем в Пирожеве. Мне было сказано много приятных слов, и еще больше задано вопросов о разных людях. Я старался ответить как можно лучше, правильнее: да, у Пинскера все хорошо, да, Швебер написал хорошую

статью, да, его похвала в адрес русской системы привлекла большое внимание. У меня же был только один вопрос: как мне найти работу?

— Подождите, — говорили мне. — Первое, чему вы должны научиться здесь, — это ждать. Терпение!

И я со смехом отвечал:

— Я думал, что как раз на родине революции люди отказались ждать.

Мне указали на то, что я совершаю ошибку, позволяя себе насмешки над революцией. Я принял это к сведению.

Посещение Клуба оставило у меня неприятный осадок. Я видел издалека великих еврейских художников и писателей: Михозлса, Маркиша, Дер Нистера; я обменялся рукопожатиями с Кульбаком, Квитко, Гофштейном. Я знал и любил их произведения, я даже испытывал любовь и нежность к ним самим — они были старейшинами, старшими братьями. Но мне было грустно. Они были словно в намордниках, с заткнутыми ртами, и изо всех сил старались не показать этого. Они улыбались, обменивались несколькими словами о каком-нибудь романе или эссе, но без малейшего энтузиазма.

Мрачные взгляды, затяжное молчание, необъяснимое покачивание головами. Эти еврейские романисты и поэты, одни из самых крупных, боялись привлечь к себе внимание и навлечь злобу. Позднее я понял, в чем дело. С момента подписания пакта с Гитлером в Москве создалась странная обстановка — по собственному почину евреи затихли, стусевались. Они благоразумно оставались на заднем плане, чтобы не ставить в трудное положение Молотова. Вывод Литвинова из Комиссариата по иностранным делам был истолкован в нашем клубе как предупреждение евреям: пусть они подавят в себе ненависть к нацизму. В интересах государства дьявол стал уже не врагом, а союзником. Евреи теперь ходили с опущенными головами и на всех ступенях общественной лестницы не должны были появляться на публике, чтобы не вызвать неудовольствия высокопоставленных гостей из Берлина. Им следовало превратиться в тени. Они уже не принимались во внимание. Их мнения, страхи, их чувства и жизни мало что значили. Если бы Гитлер потребовал депортации миллионов евреев в Сибирь, его требование было бы воспринято с величайшей серьезностью и не было бы отвергнуто. И мои старшие братья в Москве знали это лучше меня. Но никто не говорил обо всем этом даже шепотом, в клубе, в еврейском театре или в ресторане — во всяком случае, при мне.

Может статься, что в тесном кругу, подальше от незнакомцев, они и чувствовали себя свободнее — этого я не знаю. Но знаю определенно, что в своих разговорах политики они никогда не касались. Они прятались за расцветающую литературу, за колхозы, возделанные поля, девственные леса. Я спросил одного из них (я не назову его, гражданин сле-

дователь — он еще жив) об этой сторонней позиции наших прославленных умов.

— В Париже, — сказал я ему, — мы боролись, мы разоблачали нацизм с утра до вечера в наших статьях, речах, и все это во имя коммунистической революции. А здесь вы храните молчание. Я не могу понять.

Мой коллега писатель, явно напуганный, прошептал:

— Оставьте эту тему, прошу вас.

— Но почему?

— Вы только что приехали и не в состоянии понять этого.

Другой мой коллега высказался яснее.

— Вам тут не иезива, молодой человек. Мы не занимаемся изучением Талмуда, когда каждый может высказывать свою точку зрения. И не заставляйте нас слушать то, что не должно быть услышано.

А третий пошел даже на то, чтобы пригрозить мне:

— Роптать — значит критиковать партию и ее прославленного вождя. Вы оплатите за это.

И все они продолжали повторять, что я не понимаю. И они были правы — я не понимал. Я думал об Инге и ее подпольной борьбе, о Поле и его группе. Они делали все, что могли, чтобы поднять свободный мир против нацизма. Нет, я не понимал — русская пресса была единственной, кроме стран, где у власти были нацисты, не выступавшей против злодеяний нацизма. Я страдал от этого. Однажды, не имея больше сил скрывать свое смятение, я заговорил об этом с Гранеком, прославленным переводчиком Вергилия. Сдержанный, мягкий и очень застенчивый, еще больше, чем я сам, он поднял руку, как бы намереваясь оттолкнуть меня.

— Вы не должны, молодой человек, не должны.

— Гранек, выслушайте меня. Я должен с кем-то поговорить, иначе я сорвусь, сойду с ума.

Мы вышли на улицу. Здесь я рассказал ему о своем разочаровании. Говорил о годах своей борьбы против Гитлера и его банды убийц. Рассказывал ему о Поле, о его влиянии, его нравственном воздействии на интеллектуальную среду Франции.

— Мне больно признаться вам в этом, Гранек, друг мой, но в Париже мне было куда лучше. Там я, по крайней мере, мог выкричаться, поднять тревогу, бороться.

— Вы не должны, вы не должны, — шепотом бормотал Гранек, болезненно и испуганно ежась.

Гранека уже нет в живых. Поэтому я могу рассказать об этом разговоре. "Не должен"... Чего я не должен был делать? Приезжать в Москву? Откровенно разговаривать с другом?.. Мобилизованный во флот, он исчез в море в 1943 году. Ему посчастливилось умереть смертью героя. Если бы он уцелел...



— Вы не должны вспоминать о прошлом, — шептал Гранек, пока мы медленно шли вниз по улице, направляясь в клуб.

И видя мое недоумение, пояснил:

— Разве вы не знаете? Неужели вы действительно ничего не знаете обо всем, что происходило здесь все эти годы? Ваши друзья... их нет больше.

— Вы хотите сказать, что они уехали отсюда?

— О нет, мой бедный друг. *Их больше нет.* Гамбургера и...

Наконец я понял. Жертвы чистки, они исчезли бесследно. Было запрещено вспоминать о них. Вспоминать значило любить их, а любить значило быть их сообщинками.

У меня все поплыло перед глазами. Земля содрогалась подо мной, небо рушилось на землю. Я вспомнил наш последний разговор с Полем. Подозревал ли он о том, что ждет его здесь? Возможно. Но тогда зачем же он вернулся? И зачем здесь я? Но было слишком поздно сожалеть об этом. Мне предстояло найти этому хоть какое-то оправдание: подражать другим, петь о стальных моторах, растущих фабриках и новых людях, строящих их под мудрым, непогрешимым руководством партии, — ну, в общем, вы понимаете, что я хочу сказать.

Я получил скромную работу корректора в государственном издательстве, во французской редакции. Ленин, Маркс, Энгельс и, конечно же, Сталин — я читал их произведения в переводе на французский язык и правил ошибки, т. е. держал корректуру. Я работал на совесть, как всегда, но без энтузиазма. Я ведь не философ, а поэт. Нет необходимости понимать то, что читаешь, и наоборот.

Однажды мне до смерти захотелось встретиться с кем-нибудь из *настоящих* евреев, и я пошел в синагогу. Полное фиаско. Несколько старых испуганных мужчин смотрели на меня с недоверием. Маленький горбатый человек спросил меня резко:

— Что вам нужно?

— Ничего.

— Вы хотите помолиться? Где ваши филактерии?

Я ушел униженный. Да, униженный — каким же иным словом могу я назвать испытанное мною тогда чувство?

Я стал предпочитать общество других писателей: русских, татар, башкиров или узбеков. Их поддержка политики в пользу Гитлера угнетала меня меньше, нежели заявления, которые делали еврейские писатели, выполнявшие те же приказы. Я все реже и реже виделся с еврейскими писателями. Я старался не попадаться им на глаза, чтобы не сорваться, не желая накликать беду на "великих", которых я почитал несмотря ни на что. Для их и собственного блага мне лучше было держаться подале.

Я снял маленькую комнату в квартире старой женщины, которая хвасталась своей глухотой, объясняя, какими преимуществами это

обернется для меня: "В моем доме вы сможете храпеть, топтать ногами, ломать себе шею — я и пальцем не пошевелю, чтобы помешать вам".

Это был трехэтажный дом на улице генерала Комарского. Тишина компенсировала отсутствие удобств. В комнате не было ни воды, ни отопления, но зато было много грязи и пыли.

В другом конце квартиры жила девушка по имени Анна, только что приехавшая из Тифлиса. Она училась в Институте иностранных языков. Мы встречались с ней на лестнице или в "салоне", как наша хозяйка называла свою собственную спальню, и обменивались краткими приветствиями, вежливо желая друг другу доброго утра или доброго вечера. При иных обстоятельствах я бы наверняка попытался завязать роман с Анной. Высокая, но стройная, она напоминала мне романтическую княжну древней Руси. Но я был слишком подавлен, чтобы желать женщину. Я не испытывал охоты привязываться к кому-нибудь.

Время от времени хозяйка неодобрительно покачивала своей костлявой головой, и я отводил глаза. Она изводила меня своими пританиями:

— Что за поколение! Не способны завлечь женщину. Вы молодой и здоровый, она молодая и здоровая и... ничего? Так-таки ничего? Ой, ой, ой, глаза бы мои не смотрели на этот позор. За что меня только Господь наказывает?

Просто голова моя была занята совсем другим. Время было зловещим, особенно для евреев, а также и для верных коммунистов, т. е. для людей, которые коммунистические идеалы ставили выше политических соображений и дипломатических кризисов. У нас нигде не было друзей, союзников, поддержки. На улицах мы торопливо, крадучись вдоль стен, шли по своим делам.

Однажды я почувствовал, что просто должен прочесть что-нибудь помимо официальных речей. И я пошел в клуб, чтобы полистать зарубежную коммунистическую прессу. Я надеялся найти в ней отклик на свои муки и смятение. Я говорил себе: "Там, на свободе, они могут позволить себе правду и, без сомнения, делают это". Но меня ожидало полное разочарование. Идишистские газеты в Нью-Йорке и Париже, публикуемые и распространяемые еврейскими секциями партии, просто-напросто повторяли наши официальные газетные передовицы. Это было очень больно, да, страшно больно. Я читал колонки Пинскера, и в моих жилах закипала кровь. Самодовольство анализов Швебера заставляло меня краснеть.

Однажды Гранек, мой единственный друг, застал меня за таким чтением. В глазах у меня стояли слезы. Он сжал мне руку :

— Нужно набраться терпения, братец вы мой, — сказал он. — Вспомните наших пророков. Наступает ночь? Значит, наступит день, мрак несет обещание света.

— Они лгут, Гранек, друг мой, они лгут. Мы все лжем. И здесь, и там.

Знал ли он редакторов коммунистической прессы в некоммунистическом мире? Да, разумеется, он встречался с ними прежде, как и Маркиш, Бергельсон, Дер Нистер. Разве еврейская коммунистическая литература не была замкнутым кругом? Волей-неволей все знали друг друга.

Дер Нистер и его роман "Семья Машбер"... Мне бы очень хотелось поближе познакомиться с этим суровым, сдержанным, почти аскетической внешности человеком, обладавшим знаниями и пылом раби Нахмана. Где он сейчас, гражданин следователь? Может быть, в соседней камере? Несомненно, вы держите его в Москве. Как мне недостаёт его! Я вспоминаю его медленную поступь, его хрупкую фигуру.

Среди всех еврейских писателей был только один, который раздражал меня — молодой поэт, рыжий, надменный, умеющий приспособливаться, он подписывал стихи именем Арк Гелис. По-зимнему тепло и богато одетый, он всегда вступал в разговор непрошено. Ему не доверяли — голоса смолкали, как только он появлялся. Гранек подозревал его в сотрудничестве со "службами". Теперь я в этом убежден. Во время войны он носил ту же форму, что сейчас на Вас, гражданин следователь. Он был майором, а у вас люди так просто не становятся майорами.

Этот Гелис выглядел счастливым и радостным даже в самые печальные дни. И чем больше росла наша подавленность, тем яростнее он нападал на нас, обвиняя в робости, пассивности, а следовательно, и в скептицизме, а следовательно...

— Наша политика справедлива и выгодна, — ревел он, выпячивая грудь. — Более того, она нравственна, она защищает интересы рабочего класса во всем мире. Больше того, она противостоит призраку войны. Надо быть идиотом или реакционером, чтобы не видеть этого.

— А Гитлер? — спросил я однажды вечером, стараясь изо всех сил не выказать своего гнева и презрения, — как быть с его ненавистью к нашему народу? А с жестокостями, которым подвергаются коммунисты в его концентрационных лагерях?

Гелис побагровел:

— Как вы смеете? — закричал он. — Вы явились с декадентского Запада поучать нас? Преследуемый, изгнанный, вы постучались к нам в дверь, и мы приняли вас как брата, а вы отблагодарили нас саботажем против политики мира! Так вы хотите войны? Гибели нашей молодежи? На меньшее вы не согласны?!

Все смущенно отворачивались. Над нами нависла мертвая тишина. "Он пропал — думали они, наверное, обо мне. — Он подписал свой смертный приговор". Казалось, Гранек сейчас потеряет сознание. В его

взгляде был упрек: "Я ведь предупреждал вас, братец вы мой". Меня снедали раскаяние и ужас. Моя невыдержанность навлекла на него беду. Я готов был отступить, взять свои слова обратно, но Менделевич, знаменитый комик, игравший в классических комедиях, спас меня от этого унижения, выступив на мою защиту.

— Товарищ Гелис, — сказал он своим мощным басом, — позвольте мне. Известно ли вам, что Палтиель Коссовер видел гитлеровцев вживе? Известно ли вам, что он помогал их жертвам? Известно ли вам, что он сражался с фашизмом в Германии, Франции, в Испании? Известно ли вам, что он посвятил свое перо, свою жизнь — я подчеркиваю — свою жизнь служению нашему народу, еврейскому народу?

— Это не имеет никакого отношения к делу, — пробормотал Гелис и стушевался.

Устрашенный авторитетом, которым пользовался Менделевич у еврейских писателей и интеллектуалов, стукач постарался спустить все на тормозах. Ведь у Менделевича были могущественные поклонники — на его спектакли приходили обитатели Кремля.

— Ах, так это к делу не относится? — продолжал Менделевич, повышая голос. — И вы считаете себя коммунистом? Да еще еврейским поэтом в придачу. Мы, еврейские коммунисты, учились принимать участие в судьбе всех, кто страдает, уважать всех, кто присоединяется к нашей борьбе. Еврей, равнодушный к еврейским бедствиям, все равно что коммунист, равнодушный к страданиям пролетариата. Втемяжьте это себе в голову, молодой человек!

После этого он подошел ко мне и положил свои сильные руки мне на плечи, как бы беря меня под свою защиту и физически.

— Пойдем, Коссовер. Давай выпьем, и ты расскажешь мне о том, чего некоторые не достойны услышать.

Мы вышли из Клуба писателей на улицу. Стоял прекрасный день. Июньское солнце, ясное и серебристое, прогнало весенние холода и туманы. Я шел приплясывая, легким шагом и с легким сердцем, радуясь поражению Гелиса. Я не знал как благодарить моего заступника. Я готов был для него на все. Он повел меня к себе домой на Октябрьскую улицу, усадил в своем кабинете, уставленном книгами, увешенном рисунками, набросками костюмов, и стал расспрашивать о моей жизни, работе, творчестве. Я отвечал без опасения и колебания. Мало к кому я испытывал подобное доверие.

Гранек потом признался мне, как он был напуган. Он был уверен, что, несмотря на вмешательство Менделевича, мне придется расплачиваться за свое безрассудство. Гелис несомненно донес о случившемся своему начальству. А поскольку он проявил беспомощность в присутствии актера, ему надо было обвинить меня в таком политическом преступлении, которое повлекло бы за собой мой арест и об-

винение, хотя бы для острастки других. Откровенно говоря, я тоже ожидал этого, я уже постиг действительность этой страны. По ночам я ждал стука в дверь и заранее утешал себя мыслями, что на дворе июнь и мне, по крайней мере, мерзнуть в тюрьме не придется.

Но случилось чудо. Простите, я беру назад это слово. Разразилась война, и хотя она спасла меня от тюрьмы, она стоила жизни двадцати миллионам мужчин, женщин и детей и — мы знаем это теперь — война унесла жизни шести миллионов евреев — моего собственного народа. Нет, это не было чудом.

И все-таки я встретил этот взрыв враждебности с нескрываемым облегчением. И не только я один. Слушая речь Молотова, я испытывал дикое желание кричать от радости: ура, наконец-то мы готовы дать бой Гитлеру и его приспешникам! Ура, наконец-то мы дадим выход своей ярости!

Я помчался в Клуб. Задыхаясь, дрожа от волнения, я присоединился к своим коллегам-писателям, столпившимся вокруг Менделевича. В этот момент мне хотелось быть среди своих, поздравлять, обниматься, плакать вместе с ними, смеяться и опустошать стакан за стаканом, понимая при этом, что это неожиданное празднование было первым и последним взрывом нашего единства на долгое, долгое время. И будет ли оно вообще когда-нибудь? *Увижу ли я их когда-нибудь снова?* Кто останется в живых, кто погибнет?

Но в самый разгар веселья меня вдруг как громом поразило. Я подумал о своих родителях, моих сестрах и их детях. Отныне между нами проляжет кровавый, смертоносный фронт; отныне между нами будет только многорукая и многоглазая смерть, которая никогда не уступает, не отступает и никогда не насыщается.

Преодолевая подступившую к горлу тошноту, я поставил свой бокал и закрыл глаза.

Вы обвинили меня в трусости, гражданин следователь. Евреи, сказали вы мне, — трусы. Им всегда удастся предоставить другим воевать. Это и правда, и в то же время ложь. Это ложь в отношении евреев вообще и это правда, когда речь идет обо мне одном.

Во время войны, гражданин следователь, во время нашей великой отечественной войны я знал таких людей, как доктор Лебедев, который под пулями полз на коленях, чтобы помочь раненому, иногда пробирался на вражескую территорию, чтобы вытащить стонущих, зовущих на помощь солдат. Или таких, как лейтенант Гроссман, в одиночку поджегший одиннадцать немецких танков. Я знал одного бойца — подростка, почти ребенка, — он пролез сквозь колючую проволоку, чтобы подложить гранаты под платформы с танками, и остался там ждать, когда они взорвутся. Все они сражались храбро, героически, во славу русских и во славу евреев, поверь-

те мне.. Я говорю это не для самовосхваления, наоборот — чтобы принизить себя. Я не был героем. Я не воевал в этой войне так, как они. Я провел эту войну с ранеными.

И с мертвыми.

Война, война, что за грязь! Что за бойня! А больше всего — хаос!

В одну ночь, в мгновение ока вся страна пришла в смятение. Полный сумбур. Все не на месте. Дезорганизован весь государственный механизм. Вместо слов — крики и приказы. Вчерашние союзники — сегодня уже враги, неумолимые, жестокие, кровожадные. Вчерашние враги — капиталисты-империалисты-колониалисты — сегодня стали верными товарищами, образцовыми друзьями. Вместо того чтобы расширять свои границы, мы отдаем территории; вместо того, чтобы гнать врага, непобедимая Красная армия отступает. Человек? Годен только на то, чтобы убивать или быть убитым.

Рискуя разочаровать вас, я не стану все же рассказывать обычных военных историй, дышащих благородными чувствами самопожертвования и подвижничества. За мной не числится никаких подвигов — я не выиграл ни единой битвы, не одержал ни единой победы, не спас ни одного военного объекта. Как и все остальные, я откликнулся на призыв о всеобщей мобилизации и явился на призывной пункт; как все стальные, не более того, я хотел принять участие в драке.

Оправившись от шока, вся страна, обманутая, введенная в заблуждение, бросилась защищать отечество, на которое покусился враг. Своей словно высеченной на камне, торжественной, "братолюбивой" речью Сталин зажег весь народ. А еврейское большинство вдохновилось вдесятеро сильнее.

Ни одна война в истории не была встречена с большим энтузиазмом. Мы, евреи, готовы были отдать все, все сделать, чтобы разбить злейшего врага нашего народа и всего человечества. Наконец-то мы почувствовали себя гражданами этой страны. Мы разделили судьбу ее народа — все, что происходило с другими, хватало за живое и нас. Мы не были больше ни подданными, ни собственностью какого-нибудь товарища, ни даже генерального секретаря — мы были его компатриотами, его братьями. С точки зрения закона, политики, морали и практической жизни мы были с ним по одну сторону баррикад. Мы питали одинаковую ненависть к "рыцарям ненависти". Как и все остальные, мы жаждали пожертвовать всем для победы. Что же касается меня, то мне нечем было жертвовать — у меня ничего не было.

Я все еще вижу перед глазами эту картину. Каждый с мундштуком, зажатым между пальцами, уже представляет себе, как на фронте он поведет полк в атаку. Он дрожит от возбуждения. Кто-то говорит ему: "Но ведь вы никогда не были солдатом, вы никогда не держали в руках оружие".

— Ну и что?! — кричит он, разгневанный тем, что ему отказывают в праве командовать боем из-за таких пустяков. — А храбрость и патриотизм уже не в счет?

Самое удивительное, что в тот момент мы все думали, как Каждан. К черту диалектику, да здравствует вера!

Растрепанный Фельдлинг пересказывает куски из Библии: Гитлер, как фараон, потонет в крови. Фельдлинг уже видит себя произносящим речь на тему: война в еврейской поэзии, и наоборот.

Моравский сохраняет ясную голову:

— Мы, конечно, победим, но...

— Но что? — кто-то резко обрывает его.

— Я думаю о том, чего это будет стоить, — говорит Моравский.

Ему уже пятьдесят, он боится, что его могут признать негодным к военной службе. Но ничего, он смошенничает. Еврейский поэт просто обязан скрывать свой возраст — он всегда моложе или старше своего возраста.

На следующий день я узнал, что Каждан и Фельдлинг направлены в военно-воздушные силы, а Моравский — в пехоту. Я же, даже после довольно поверхностного медицинского осмотра, был решительно забракован.

Я вышел из себя:

— Но я не болен, я не болел никогда в жизни.

— Никогда? — доктор был изумлен. — А когда вы обследовались последний раз?

— Ох, да я не помню.

— Так вот, товарищ, я сам только что осмотрел вас, и все не так уж хорошо.

— А что со мной такое?

— Сердце.

И все-таки мне кое-что удалось сделать. Я "потерял" свое медицинское свидетельство и в той чудовищной неразберихе, которая царилла во всех учреждениях и министерствах, очень скоро поменял свою потрепанную гражданскую одежду на не менее потрепанную форму красноармейца.

Наконец-то я чувствовал себя счастливым в Советском Союзе. И так, все в жизни поэта может случиться и случается. Я с состраданием вспоминал моих французских друзей, оказавшихся в немецкой оккупации — их судьба была далеко не такой удачной, как моя.

Но теперь, когда все сказано и сделано, гражданин следовательно, не вообразите, что сын Гершона Коссовера, и тем более ученик ребе Менделя-Такитерна, так уж сразу и превратился в храброго русского воина или бравого казачьего рубаку. Несмотря на мое военное снаряжение и документы, я никак не был угрозой моторизованным легионам врага. И весь мой опыт службы в Интернациональных бригадах не помог мне

справиться с непреодолимыми препятствиями сейчас. Я горел желанием, я искренне пытался, но так и не сумел приспособиться к невзгодам армейской жизни. Муштра — не самое страшное, от нее я бы не умер. Подъемы по тревоге, марши-броски протяженностью вдвое больше положенного — тоже можно преодолеть. Я кашлял, харкал кровью, страдал постоянными головными болями и сердцебиениями, но никогда не жаловался. Рядовой Палтиель Гершонович Коссовер прошел боевую подготовку с хорошей оценкой, данной его старшими офицерами.

Но чего я не сумел преодолеть — Вы будете смеяться, — так это армейского жаргона. Слишком грубый, слишком хамский, слишком примитивный — он заставлял меня постоянно краснеть и смущаться, словно я был учеником иешивы, который столкнулся с пьяницами в ярмарочный день.

В Испании все было иначе. Там, конечно, тоже солдаты были далеко не святыми — они гонялись за женщинами и постоянно изобретали новые ругательства, как будто, прости Господи, им не хватало тех, какие они знали. Но в Испании мне повезло — я не понимал их. Чтобы почувствовать их запах, мне пришлось бы постичь основы тридцати древних и современных языков. А тут я все понимал. И, сам того не сознавая и не желая, я стал выражаться, как мои соседи по бараку, как истинный солдат Красной армии.

Мы входили в состав 96-ой стрелковой дивизии, где все народы, населявшие Советский Союз, были перемешаны: калмыки, узбеки, татары, грузины, украинцы. Перед их глазами постоянно стояли снега Сибири, яркое солнце Украины, темные воды Волги или Днепра. Верховное командование держало нас в резерве на время наступления на Москву, которое ожидалось зимой. Захватчик все теснил нас, все продвигался вперед, явно непобедимый, неодолимый, непреклонный — как Бог в Апокалипсисе. Наши города лежали в руинах, деревни пылали огнем. Почему же враг не устремлялся к воротам самого Кремля? Ведь Наполеону же это удалось. Но мы разгромили Корсиканца, и то же или еще худшее ждет лунатика из Берлина. Пусть только подойдет ближе и мы снесем ему голову и протащим ее по грязи и снегу через всю Москву.

Мы должны были все это время тренироваться, чтобы быть готовыми к этому дню. Но были ли мы готовы? На самом деле — нет. Нам недоставало всего, даже ружей. Что же касается человеческих ресурсов, то тут мы были неисчерпаемы.

Мои же силы пришли к концу.

В начале сентября со мной произошел довольно неприятный инцидент во время проверки, с которой к нам приехал генерал Колбаков. В ожидании этого события проводилось несколько репетиций в обстановке всеобщего помешательства, без которого ни одна уважающая себя армия не может обойтись. Лейтенанты орали, сержанты вопили, а



бедные солдаты бегали, ползали, вытягивались в струнку, салютовали, равняясь на невидимый ориентир то вправо, то влево, то вперед. Они выбрасывали ружья вперед с такой силой, что раздавался звук, напоминавший щелканье бича. "На пле-е-чо!", и еще один свист кнута: "хоп!" И все сначала. Так велик был наш страх перед этим генералом, что мы забыли о фронте и о враге.

Когда наступил этот знаменательный день, 96-ая стрелковая дивизия выстроилась по стойке "смирно", со знаменами, развевающимися на ветру, и как один выполняла команды полковника — начальника базы. Вытянувшись в струнку, напряженный, неподвижный как столб, я смотрел прямо перед собой. Генерал обходил весь строй и, подумать только, решил остановиться прямо передо мной. Он оглядел меня с головы до ног, как будто я был каким-то диковинным деревом, свалившимся с небес и гротескно маскирующимся под солдата. Окаменев, я смотрел мимо генерала, чтобы не выдать свое волнение. Чтобы спрятать его еще лучше, я прибег к доброму старому способу — я дал своим мыслям унести меня отсюда в Берлин к Инге, в Париж к Шейне, в Барассы к родителям. И вот мой отец печально спрашивает меня: "Ты ли это, сын мой, неужели ты действительно все еще мой сын? Ты так не похож на него. Ты говоришь, ешь, одеваешься, как Иван или Алексей, а совсем не как еврей". — "Мои тфилины здесь, у меня в сумке. Хочешь, я надену их?" Он кивает утвердительно. И тогда я вынимаю свою сумку, лихорадочно открываю ее, роюсь среди каких-то странных вещей и не могу найти их. Я весь обливаюсь то горячим, то холодным потом: филактерии, куда я дел свои филактерии? Я так напуган, мне так стыдно, что я едва стою на ногах. Я бросаюсь к своему отцу и оказываюсь в ногах у генерала в полном оцепенении и с протянутой по ритуальным правилам рукой...

Я очнулся в госпитале. Офицер с огромными усами страшно ругался, стоя надо мной:

— И такой сморчок собираетесь охотиться на немцев! Сумасшедший идиот! — и он с презрением сплюнул. — А где твоя медкарта? Спрятал, сукин сын! Из-за тебя в чертовых бараках все вверх дном, а тебе хоть бы хны! Тратишь чужое время и в ус не дуешь! Знаешь, как это называется? Саботаж! И знаешь, чем это пахнет? Пулей в лоб.

Он хочет отправить меня в тыловой госпиталь, а потом вернуть домой. Я продолжаю уговаривать его, угрожаю самоубийством.

— У меня нет дома, — говорю я ему. — Я не знаю, куда мне ехать, я поэт.

Как бы это ни казалось абсурдно и смешно, но именно этот последний аргумент убедил доктора Лебедева, еврея из Витебска, не отправлять меня в тыл. Он оставил меня при себе, но не без объяснения:

— Ты знаешь историю парня, влюбленного в девушку, которой

он каждый день писал письма? Кончилось тем, что она вышла замуж за почтальона.

— Не вижу связи.

Он готов был рассердиться:

— Ты не видишь связи? Ну так я тебе скажу... Черт! Я рассказал тебе не тот анекдот.

Он расхохотался.

— Я знаю, что ты за тип. Если я тебя отправлю, ты найдешь способ вернуться и еще всех нас тут отравишь. Лучше уж мы как-нибудь используем тебя, раз уж ты все равно здесь.

Так я стал санитаром-носильщиком.

— Будешь таскать других, пока не придет время нести тебя, — сказал Лебедев. — Такова уж судьба солдат на войне.

Он был добряк, этакий неограниченный алмаз. Когда бы он не заговаривал о Витебске, губы его подрагивали и пук черных волос падал на морщинистый лоб. Мы с ним очень сошлись, хотя у нас было мало общего. Он пил как сапожник, а я только делал вид. Я злился, когда он тоже начинал притворяться, что не пьет. Он не давал мне курить, но мне нравился его табак. Как и ему самому.

— Черт тебя побери, — распекал он меня отечески, — если бы ты не был болен, то я бы тебя сделал больным; задушил бы тебя собственными руками, если бы не был уверен, что ты все равно скоро помрешь.

— Что, товарищ доктор, вам мало пациентов, которых вы убиваете? Вам еще подавай?

Я смешил его, и он был мне за это благодарен. Таков был мой вклад в войну: я смешил людей. В то время, осенью 1941 года, смех был очень ценным товаром.

Газеты никогда не писали об этом или писали с большим опозданием и очень завуалированно. Наша славная армия, застигнутая врасплох нападением немцев, все равно превозносилась только как славная. Но я знаю, я там был. Наспех создаваемые нами линии обороны, едва успевшие преодолеть расстояние от чертежных досок к реальности, уже оказывались прорванными. Города и крепости сдавались и падали под натиском вражеских танков. Защитники либо оставляли там свои трупы, либо сдавались массами в плен. Поступающие раненые и план эвакуации, штудируемый в штабе, держали медицинский персонал в курсе происходящих событий. После Киева, Одессы и Харькова следующей была Москва.

Настроение у Лебедева портилось с каждым часом. Он знал больше меня, но грубо огрызался на мои вопросы. Я приставал к нему, он отворачивался. Однажды вечером в его теплой комнатке в казарме, за бутылкой водки, взяв с меня слово молчать, он подробно рассказал мне о судьбе евреев на территориях, оккупированных захватчиками.

Первые рапорты партизан и агентов в тылу у врага говорили о массовых убийствах.

— Я не понимаю, я не понимаю, — повторял сокрушенно Лебедев.

— Чего вы не понимаете, товарищ полковник? Немцы ненавидят евреев, русских и коммунистов. Они заявили об этом достаточно громко и четко! И теперь, захватив в свои руки сразу и евреев, и русских, и коммунистов, они убивают их, этого следовало ожидать...

— При всем при том... — повторял Лебедев, наливаясь водкой, — даже если это так...

— Вы не знаете их, а я знаю. Они бесчеловечные варвары. Способны и на худшее.

— Пусть так, пусть так... — продолжал повторять Лебедев, не слушая меня. Он слушал иные голоса, свой внутренний голос.

— Люди в Витебске. Я знал их всех. Я вырос в Витебске. Я лечил там больных, всех больных, независимо от их национальности или религии. Почему же хорошие люди в Витебске позволяют этим разбойникам убивать их соседей-евреев? Разве они не могли защитить их или дать им убежище? Но они не сделали этого. Столько лет коммунистического воспитания... Я не понимаю, не понимаю.

Между нами была огромная разница — я знал Берлин, а он думал, что знает Витебск. Приговоренные к смерти в Берлине, евреи были принесены в жертву Витебском.

— И все-таки, и все-таки... — настаивал Лебедев. — У меня были друзья в Витебске, обязанные мне годами жизни.

А где его семья, все там же, в Витебске? Я порывался спросить его об этом, но потом предпочел не выяснять ничего.

Летели дни и ночи, не оставляя следа в памяти. По мере того как наши армии откатывались назад, нашей базе все прибавлялось работы. В Москве люди рыли траншеи, а наши санитары разбивали полевые госпитали. Если октябрь был месяцем смятения, то ноябрь стал месяцем безверия. Враг продвигался уж очень быстро, в очень многих направлениях одновременно. Боги войны покровительствовали ему. И только чудо могло остановить его, но разве кто-нибудь, кроме евреев, верит в чудеса?

И чудо случилось. Я знаю это так хорошо, что могу смело говорить об этом. Для этого генералу Зима достаточно было сделать всего один рывок. И вот мы уже не лечим солдат, раненных в бою, а возимся с обмороженными. Нас буквально завалили этими жертвами мороза, но мы не жаловались, наоборот, мы поздравляли друг друга, как будто это внезапное падение температуры было задумано и осуществлено нашим Верховным командованием.

И еще одна странность — медицина объявила меня больным, и серьезно, об этом говорили все мои документы, но на деле я не обна-

руживал никаких симптомов этой болезни. Мое состояние не только не ухудшалось, но я был в наилучшей форме.

Лебедев не скрывал своего изумления:

— Я видел тебя на краю могилы, а теперь ты полон жизни, как маляр.

— Почему как маляр, товарищ полковник?

— Сам не знаю. Думаю, потому, что один такой работал однажды у меня дома. Он был похож на портового грузчика.

— Почему на портового грузчика?

— Ну откуда мне знать почему? Потому что — ой, перестань приставать.

Долгими томительными зимними вечерами мы болтали, говорили о евреях, о литературе, философии. Он знал, что я поэт, но избегал этой темы. Фронту нужны были бойцы, а бойцам санитары, а не поэты. Но однажды ночью, когда стояла какая-то странная тишина, как у истоков мироздания, я не смог удержаться и прочитал несколько стихов о смерти и умирании. Это были не мои стихи, они принадлежали малоизвестному средневековому поэту, дону Педро Бартсалому из Кордовы, другу евреев Кастилии.

Все эти умирающие,  
Безголосые и ненасытные,  
Тревожат память ангела  
И клянут его...

— Ты хорошо читаешь, — бросил Лебедев, растянувшись на своей койке, — давай еще.

И я начал читать следующее четверостишие:

Смерть, ты гасишь  
Огонь, что сияет,  
Но не погасишь солнце,  
Что освещает тебя...

В эту ночь Лебедев забыл о своей бутылке. Он слушал, закрыв глаза. Он ждал окончания стихотворения, но я забыл его.

— Продолжай, — сказал Лебедев.

Я рылся в памяти, взывал к своему другу-сефарду, Давиду Абулеси, с чьей помощью я открыл для себя кастильского поэта. Но все напрасно. Усталость физическая, измотанность душевная, одержимость тем, что происходило вокруг, затуманили мне разум. Я жил только событиями сегодняшнего дня, от одного коммуниста до другого, от одной проповеди политкомиссара до другой.

— Ну, — нетерпеливо подстегивал меня Лебедев, — ты что, заснул?

Я ухватился за последнюю соломинку — за импровизацию, не сказав ему об этом, разумеется. Когда потом я как-то признался ему, он рассмеялся:

— Так что хуже, присвоить себе чужое стихотворение или свое выдать за чужое?

Я ответил, что поэты дают и берут щедрой рукой — чем больше берут, тем больше дают. Потому что поэзия...

— Надеюсь, ты не собираешься прочесть мне лекцию о том, как пишутся стихи? Ты что, спятил? — обрезал он меня со своей койки.

— Простите. Я увлекся. Больше этого не случится.

— Глядите-ка, он еще хмурится. Ты что, обиделся?

Я не ответил.

— О, обиделся... Ну извини, я не знал, что ты такой чувствительный.

— Просто я... — промямлил я и так и не закончил фразы.

— Ладно, ладно, проехали, — сказал Лебедев. — Ты смешной санитар.

— Я, несомненно, и поэт тоже смешной, товарищ полковник.

Я забыл те детские стишки, что сочинил для него, чтобы закончить чтение дона Педро Бартсаломы, как забыл и все остальные свои стихи. Зима приглушила мой голос. Я смотрел, как Лебедев ампутирует руки и ноги, я склонялся над умирающими, вдыхая зловоние их ран, и мне было нечего сказать тем, кто переживет меня. Я был свидетелем конца столь многих жизней, что смерть убила во мне все слова. Я слушал ветер далеких степей, который выл и скулил, как тысяча зверей, у ворот скотобойни, и это лишало меня моего собственного голоса.

— Выпей, — говорил мне Лебедев. — В твоём состоянии...

Я чувствовал себя плохо, все хуже и хуже. Однажды сильное головокружение свалило меня прямо на снег. В груди кололо, словно иглоками.

— Ничего особенного, — говорил я Лебедеву. — Сердце болит, но это нормально. Разве у вас не болит сердце, товарищ полковник?

— Выпей, — говорил он. — В твоём состоянии...

Наконец другие санитары отнесли меня в госпитальные бараки. В бреду я видел себя в двух лицах — я сам себя нес на носилках. Я слышал голос, десять голосов, спрашивавших меня, где болит, тут или там, но какое это имело значение, если я был в бреду и думал в бреду, что вот, наконец, у меня есть право бредить.

Как в сказках, за мной ухаживали сестры, которых я считал красавицами, нежными и добрыми. Они кормили, поили меня и помогали во всем остальном. Я, как ребенок, позволял им заботиться о себе. Я принимал их умелые профессиональные движения за ласку. Один их вид вызывал у меня желание встать и идти за ними и, значит, — жить. Я влюбился сначала в одну из них, а потом во всех сразу. Я любил На-

ташу за то, что она была здоровячка, Полю — за ее хрупкость, Тину — за рыжие волосы, а Галину — за то, что она напоминала мне девочку цыганку из Лянова. Я любил их потому, что был слаб и беспомощен и жаждал любви. Все мужчины в палате, включая умирающих, начинали чаще дышать, услышав шаги одной из сестер, идущей со шприцем или с чашкой бульона. Но скоро я забыл этих лучезарных и обворожительных сестричек. Не успел я выписаться из госпиталя, как перестал о них думать. Другая женщина, как принято говорить, покорила мое сердце. Ее звали Раисой. Лейтенант политотдела дивизии, она обращала меня в панику всякий раз, как приходила к Лебедеву. Она влетала как вихрь, устремлялась прямо к полковнику и просматривала список пациентов. Усевшись на угол стола, она свысока разговаривала с офицерами, даже старше ее по званию. Меня же, простого рядового, она не удостоивала даже положенным ответным приветствием. Почему же я увлекся ею? Вы опять будете смеяться — мне нравилась ее форма, ее нашивки, ее власть.

Потерявшаяся в тяжелой шинели, в меховой шапке, закрывающей ее светлые волосы и половину лица, она нетерпеливым жестом сбрасывала и то, и другое. Все время она ругала студеную зиму, которая не желала ослабить свои ледяные объятия, немецких ублюдков, которые не желали спокойно сидеть у себя дома, этих симулянтов, которые придумывают всякие болезни и ознобы, только бы не работать. “Сегодня, — обещала она, — мы посмотрим, что и как”. Она выражалась как мужик, ругалась, как десять мужиков, а пила, как двадцать. И мне, красневшему по-прежнему при малейшей вульгарности, мне все это нравилось. И Лебедеву тоже, он сам признавался мне в этом. Скромный и осторожный, я был начеку, я не хотел делать из себя посмешище.

— Эта девчонка, — ворчал Лебедев, — она сводит мужчин с ума, вскружит голову самому дьяволу, встретить она его.

Я был уверен, что он спит с ней, что все офицеры спят с ней. Выше рангом удостоиваются длительной привязанности, рангом ниже достаётся время покороче. Нас же, рядовых, оставалось только пожалеть, поскольку мы не обладали правом никем командовать, даже солдатами третьего класса. Поскольку таковых не существовало.

Полностью раскрепощенная и бесстыдная, она всех подчиняла своим прихотям. Я представлял ее себе в постели, в ночной сорочке, отдающей приказы своим любовникам:

— Люби меня, если не хочешь проснуться в тюрьме или в Сибири.

Я бы поехал и в Сибирь — за ней или ради нее. Но вместо этого Сибирь придвинулась к нам. Мы дрожали от холода, мы были погребены под снегом, наши слезы и плевки тут же превращались в льдинки. Казалось, мы в самом Оймяконе.

С оттепелью дивизия получила приказ двигаться в направлении фронта. Заваленный работой, я больше не томился по Раисе. Наше под-

разделение шло сразу за боевыми частями. Враг планировал наступление, но мы не знали, на каком участке. Везде готовились к обороне и контратакам. Мы изучали карты, пристально вглядывались в облака, чистили винтовки, смазывали пулеметы, считали часы и минуты.

И вот однажды ночью небо и земля раскололись. Со всех сторон пушки открыли ураганный огонь. И не было уже больше ни восходов, ни закатов — кругом одна только война. Наступления и отступления, позиции взяты, сданы и захвачены вновь. Мы пересекали деревни туда и обратно, перестав уже понимать, наступаем мы или отступаем. Я был погружен в галлюцинирующую бездну раненых, у которых уже не было сил даже стонать, в бездну исковерканных трупов, разбросанных конечностей, обмороженных лиц. Светило ли солнце или лил дождь, под свист снарядов, летящих над ручьями и лесами, во время стремительных атак и отступлений, мы с моими товарищами-санитарами двигались вслед за первым эшелонем сражавшихся, вытаскивая из-под огня солдат, которые, успев только выкрикнуть: "За родину, за Сталина!", уже звали на помощь. Их вопли преследовали меня по ночам: я просыгался как от удара, услышав во сне зов раненого, простиравшего ко мне руки — именно ко мне одному.

Окруженный мертвыми, окутанный смертью, я исполнял свой долг с чувством необъяснимого удовлетворения и гордости. Я не был героем, но я подвергал себя опасности так, словно был рожден только для того, чтобы бросать ей вызов.

Кроме взрывов гранат и стрекота пулеметов я слышал еще и предсмертные хрипы своих искалеченных товарищей. Я делал все возможное, чтобы отыскивать их в воронках от снарядов, под дымящимися обломками и в развалинах. Мало-помалу я научился отличать тяжело раненных от тех, кто не так нуждался в немедленной помощи. Я мог поставить диагноз, даже не видя ран. Согнувшись в три погибели, чтобы сделаться как можно меньше, я бегал вдоль траншеи между телами, по лужам крови, чтобы взять первым офицера высокого ранга, а следующим — самого тяжело раненого солдата. Я все бегал и бегал... Когда бы я ни вспоминал о войне, я все вижу себя бегущим с перехваченным дыханием, склонившись над убитым бойцом, а в следующую минуту уже над другим, еще живым, но тяжело раненным в глаза, или в грудь, или в плечо. Срывающимся, но дружеским голосом я говорю ему привычную ложь:

— Не бойся, ложись на меня, просто повисни на мне, и все. Теперь уже все позади, врачи в двух шагах отсюда. У нас очень хорошие врачи, вот увидишь. Ну давай, дружок, мы уже почти дошли. Тебе повезло — ты легко ранен, а в ранах-то уж я разбираюсь. Твоя — просто царапина, у тебя все будет хорошо...

И раненый, если он еще в сознании, прижимается ко мне, собрав все силы, а другие, полумертвые, шепчут невнятно свои последние

слова, обращенные к матери, к бабушке или — к святой Богородице. А я подбадриваю их, заставляю говорить, кричать или хоть стонать — пока они стонали, они были живы, а их жизнь значила для меня так же много, как и моя собственная, если не больше. Я бежал под огнем и бегом возвращался обратно, чтобы разговаривать с ранеными и заставлять говорить их самих. Некоторые ругались, другие жаловались. Третьи ныли и стонали, как старики, их зубы стучали. Пули свистели над нами, зажигательные бомбы пробивали небо шквалом желтого и красного огня; люди кидались в рукопашные схватки с криками "Ура! За родину!" или "Ура! За Сталина!" И тут же падали как подкошенные, крича теперь уже: "Сюда, сюда, на помощь!" Из всех слов, созданных Богом и человеком, только эти последние и имели еще какой-то смысл. Другие санитары и я бросались к нашим братьям, скошенным огнем, чтобы укрыть их от врага и вырвать у смерти. Неся их в тыл, я чувствовал себя победителем; спасая хотя бы одного незнакомого мне товарища, я заставлял смерть отступать, даже если знал, что это всего на один час.

Я благодарил Бога за то, что Он дал мне большое сердце. Если бы я был совсем здоров, то был бы брошен в боевую часть, должен был бы убивать или быть убитым — я вынужден был бы умножать владения смерти, тогда как в роли санитаря я их только сокращал.

Между двумя операциями полковник Лебедев — мрачный, измученный, с расширенными зрачками, — выговаривал мне:

— Ты опять идешь? Ты что думаешь — ты бессмертен?

— Как поэт, товарищ полковник, только как поэт, — кричал я ему, поворачиваясь спиной.

— Ты ненормальный. Ты опасен. Воображаешь, что смерть чит поэтов?

Я ссаживал со спины своего раненого и снова шел на линию огня, а Лебедев возвращался к своему операционному столу. Мы оба были безумцами. Ничто не могло остановить нас. И все-таки однажды...

Это было под Смоленском в одну из особенно жестоких битв, которая стоила нам четвертой части наших боевых подразделений. Немецкий солдат, раненный в горло, схватил меня за сапог и попросил по-немецки прикончить его. Я попытался высвободиться, но он вцепился в меня. Я наклонился над ним. Он был небрит, взгляд дикий, лицо искажилось от боли. Вглядевшись, я увидел, что он ранен еще и в живот. Глаза его были неправдоподобно белыми, губы — невероятно распухшими, он говорил, задыхаясь: "Товарищ, убей меня, пожалей..." И после минутного колебания, преодолев приступ отвращения, я ответил на своем скверном немецком: "Невозможно, не разрешается, не имею права". Всклипывая, он повторял одни и те же слова: "Пожалей, товарищ... прикончи, товарищ..." И вот посреди рвущихся снарядов, зовов о помощи, хриплых офицерских окриков, я пытался успокоить



его: 'Ты будешь жить, потерпи. Я вернусь и возьму тебя. Сначала я должен позаботиться о своих... И, как идиот, я сдержал слово. Я оставил немца лежать в луже крови и понес за линию огня усатого сержанта, который тер глаза и кричал, что они выжжены. Он был очень тяжелым, этот сержант, он весил тонну. Не знаю уж как я справился, но я донес его. Я тянул, тащил, волочил и доставил его на пункт первой помощи, и всю дорогу я говорил ему то, что он хотел услышать: с глазами у него все будет в порядке, он увидит жену и детей и его родную Киргизию снова... После этого я вернулся за немцем. Я приволок его и положил рядом с ранеными, которых санитары перетаскивали в бараки, где Лебедев и его помощники, как автоматы, осматривали, обследовали, резали.

Вдруг раздался знакомый голос, который я слышал когда-то:

— Скажи-ка, солдат, а вот с этим ты что собираешься делать?

Я поднял голову и встретил холодный тяжелый взгляд Раисы. Она меня не узнала.

— Ну как? Я жду ответа, солдат! — прошипела она. — Какого черта он здесь делает?

— Он ранен в горло и в живот.

— Пусть сдыхает.

— Ему очень больно, — сказал я, глядя в сторону.

— Наши врачи завалены работой, а ты хочешь, чтобы они занимались этими бешеными собаками?

Тем временем раненый открыл глаза и наблюдал за нами. Он не понимал слов, но догадался, о чем шла речь, потому что снова начал стонать: "Убей меня, прикончи меня".

— Выброси его отсюда, — приказала Раиса.

И я, как дурак, стал ее уговаривать. В десяти шагах от нас люди падали сотнями, тысячами, а я тут старался сохранить жизнь врагу. К счастью, немец выручил меня — у него достало благородства умереть самому. Раиса одарила меня презрительным взглядом и ушла. А я раздумывал в изумлении: неужели было время, когда я считал ее человеческим существом, когда я желал ее?

Лебедев, которому Раиса рассказала об этом эпизоде, согласился с ней. — Война есть война, мой дорогой еврейский поэт. Эмоции хороши в любви, а любовь годится только для твоих стихов, а твои стихи сам знаешь на что годятся, а если не знаешь, то могу тебе сказать, хотя тебе это не понравится. Жалость, мой дорогой, сохрани для наших братьев, а заботу — для наших бойцов. Что же касается немцев, то пусть они сдыхают, раз не хотят мирно сидеть в своих пивных!

И все остальные в нашей части думали так же — он говорил за всю Красную армию. Ненависть к захватчикам была всеобщей, она была, так сказать, требованием текущего момента. Возмездие стало самой жгучей потребностью, самым неотвязным стремлением. Никакого ми-

лосердия к убийцам из СС, ни к молодым, ни к старым, никакой жалости к их приспешникам. Чего же еще можно было ждать от ожесточенных солдат, которые, отражая нападение захватчика, встречали виселицы и братские могилы в каждой отбитой деревне? Эту жажду отмщения пережил и я, когда мы вошли в Харьков. Будь я в состоянии, я бы перенес руины города в Германию, демонстрировал бы их по всему миру. Его обгорелые липы, его сломанные высохшие тополя — с повешенными на оставшихся ветвях, — я бы перенес их во все парки, на все улицы, во все города, населенные и украшенные людьми.

Украинные фабричные районы разрушены, окрестности опустошены, здания, церкви, магазины, склады, школы, дома крупных чиновников и хижины рабочих — все уничтожено. Нацистская политика "выжженной земли" не сохранила ничего, кроме пепла. Настоящий ад. Один сержант, харьковчанин, всхлипывая, показывал мне город: "Вот это улица Сумская, она была такая красивая, что снилась мне во сне. А это улица Петрова, здесь жил мой дядя, профессор университета. А вот там площадь, где мы собирались в праздники". Он галлюцинировал, он видел заполненные толпой, кипящие жизнью улицы, а мы — только смерть и опустошение.

Наша дивизия разместилась в деревне, в нескольких милях от города, окопалась, чтобы встретить немецкое контрнаступление, которое, как мы знали, вскоре ожидалось. Фронт продвигался вперед, а наш командир, генерал Колбаков, получил разрешение Верховного командования закрепиться на этих позициях в ожидании подкрепления. Наконец — несколько дней облегчения, несколько ночей сна.

Лебедев квартировал в самом Харькове, я жил у крестьянки в деревне. Мне не на что было пожаловаться — питался я лучше своих офицеров. Моя хозяйка, Ольга Калиновна, славная "бабушка" в вечной черной юбке и повязанная черным платком, относилась ко мне как к сыну. Ее собственные сыновья пропали после сдачи города в октябре 1941. С ней жил только ее недоразвитый внук. По вечерам я просил ее рассказывать мне о немецкой оккупации. Она засыпала посреди своего рассказа, я же не мог сомкнуть глаз до утра. Из ста тысяч евреев, живших, учившихся, преподававших и работавших в Харькове, остались в живых единицы. Я боялся заснуть и увидеть их во сне, истерзанных и замученных.

Я слонялся по городу, ища своих, евреев. Я опрашивал бывших чиновников, партизан, дезертиров, сотрудников военной разведки. Все впустую.

Тогда я отправился один в Дробицкий Яр, где было уничтожено от пятнадцати до двадцати тысяч евреев. Я хотел плакать и не мог. Я хотел сказать что-нибудь и молчал. Про себя я подумал, что когда-нибудь вернусь сюда, чтобы прочесть Кадиш. Не сейчас, когда-нибудь.

Я приходил туда ежедневно на час, на два. Это место неудержимо

притягивало меня, хотя я и не мог бы объяснить почему. Мне казалось, что здесь я на родной почве, дома. Эти мертвецы были моим народом. Но что я мог сказать им? И потом... чтобы читать Кадиш, нужен кворум по крайней мере из десяти мужчин. А что если попросить Лебедева помочь мне организовать эти десять человек...

— Когда захочешь, — сказал он.

Когда-нибудь... Но когда?

Я ходил по толкучкам. Мужчины и женщины, одетые в рвань, приходили сюда, чтобы купить и продать. Но у них ничего не было... Пустые ящики, одежда, настолько ветхая, что носить ее было бы невозможно. Трагический фарс. Чья-то насмешка, но чья?..

Пришел приказ сниматься с позиций. Колбаков назначил выход на два часа дня, а в одиннадцать утра враг произвел сокрушительную атаку. Дивизия, застигнутая врасплох, потеряла несколько танков и вынуждена была отступить, чтобы избежать окружения. Лебедев успел вывести свою часть, но забыл обо мне. Раненный в голову, я лежал без сознания в воронке от снаряда.

Когда я очнулся, то был уже в темном сыром подвале. Кровь шла у меня из глаз, носа и рта. Острая пульсирующая боль билась в висках. В паническом страхе я попытался встать, найти свои вещи. Где я? Сколько времени я здесь? И где мои товарищи? Я услышал рядом чье-то дыхание. "Кто здесь?" — прошептал я. В ответ раздался хриплый бессвязный звук. Я понял — это убогий внук моей хозяйки. Я попросил его подойти поближе, но он не понял. Однако его присутствие успокоило меня — значит, я не один. Потом открылась дверь и вошла его бабушка. Она склонилась надо мной и едва слышно заговорила:

— Боже, смилуйся над нами, они опять пришли. Наши отступили, и мы вдвоем с внуком перенесли тебя в сарай. Если бы немцы нашли тебя на улице, то прикончили бы, а если они найдут тебя здесь, то убьют всех нас.

Я слышал ее как бы издалека, вместе с другими голосами, другими звуками... я покорился мысли, что не увижу дня великой победы, а умру, как евреи в Дробицком Яру, — нет, не как еврей, а только как русский пленный. Никто не узнает, кем я был, никто не прочтет по мне Кадиш.

— Будь осторожен, — говорила бабушка Ольга, — я их знаю: проклятые убийцы, они обшарят все дома, в развалины спустят собак. Я-то уж их знаю. Будь осторожен, обещаешь мне?

Я не ответил. Один важный вопрос беспокоил меня: "Когда это случилось?" — "Сегодня утром, — сказала бабушка, — перед полуднем. Они налетели как гром с ясного неба, и все началось сначала".

— А Харьков? В чьих руках Харьков?

— Не знаю, родимый, ничего не знаю. Надеюсь, что у наших. Харьков слишком важный город, чтоб его так легко отдали, не то что наш

Ровидок. Зачем отдавать молодые жизни за маленькую деревню? Если нас не освободят сегодня, так освободят завтра. Разве не так?

— Да, бабушка, я тоже так думаю.

На самом деле я так не думал. Я вообще ни о чем не думал, кроме смерти.

Она дала мне кружку горячей подслащенной воды, и я сделал несколько глотков. Кровь моя текла и текла — жизнь уходила из меня, и на сердце становилось все тяжелее.

— Ровидок, — сказала бабушка. — По мне так эта деревушка стоит больше всяких известных мест. Сколько тут крови пролилось, сколько людей погибло... Пять раз она переходила из рук в руки, и каждый раз такой ценой... Разве люди стали бы так биться за какую-нибудь бросовую деревнюку?

— Это правильно, бабуся, там, наверху, считают Ровидок объектом большого стратегического значения, — сказал я, чтобы порадовать ее. Ровидок, Ровидок, я никогда прежде не слышал этого названия.

— Ты останешься здесь, — сказала бабушка. — Митя и я будем сторожить тебя. Только будь осторожен. И мы тоже побережемся. Теперь мы пойдем, сосед может зайти, и нам лучше быть дома.

Я пролежал в сарае три дня и две ночи, в бреду и лихорадке и со страшной болью, ломая пальцы, чтобы не стонать. Время от времени Митя приносил мне то горячей воды, то вареной картошки. Он садился прямо на пол и в полутьме глядел на меня не отрываясь, произнося какие-то жалобные звуки, как побитое животное. Был ли он и вправду убогим? Не думаю. Возможно, это была уловка, придуманная бабушкой, чтобы оставить его при себе. Он понимал многое, я в этом уверен. Когда я просил его принести мне мокрое полотенце, он делал вид, что не понимает. А через час приходила бабушка с мокрой тряпкой и обтирала мне лицо.

— Я решила, что тебе так станет легче, — приговаривала она при этом.

— Спасибо, бабуля, большое спасибо. Если мы выиграем войну, то только благодаря таким людям, как вы.

— Не болтай чепухи. Наши солдаты, наши героические воины, это они одолеют войну, а не старухи, как я.

В период моего уединения я принимал еще одного гостя — кота. Он нашел дорогу в мой подвал. Сначала он боялся меня, но постепенно понял, что я не двигаюсь, что я не погонюсь за ним и не поддам сапогом. И тогда он, наверное, подумал: этот парень прячется, он в бегах, я могу делать что хочу. И он начал действовать. Он вел себя как антисемит, этот ровидокский кот. Он грыз мои сапоги, вспрыгивал мне на живот, потом обратно, и снова — с другой стороны. И как только этот зверь не терзал меня! Я ненавидел его больше всех на свете. Он угадал это и постарался превратить мою жизнь в пытку: он кусал меня за ухо,

прыгал на шею и лицо. Я едва сдерживал слезы ярости и беспомощности.

Я сказал об этом старушке:

— Я боюсь закрыть глаза, он способен сожрать меня, этот мерзкий кот.

— Что же ты хочешь? Чтобы я его убила? — спросила она. — Он мне полезен. Ты у меня не один постоялец, в моем доме полно мышей и крыс.

— Я сойду с ума, бабуля.

Наконец, Митя запер его в амбаре. Очень вовремя, я был на грани помешательства.

Когда наши солдаты отбили, наконец, деревню и когда Лебедев увидел меня снова у себя на пункте первой помощи, на этот раз уже на операционном столе, он решил, что я необратимо сошел с ума: я говорил только о котях. Я оскорблял их, клял их, называл убийцами, людоедами, варварами.

— Лебедев, дружище, вы столько знаете о человеческой природе, объясните мне, почему кошки ненавидят евреев и поэтов?

Меня эвакуировали в Харьков, но я приехал в Ровидок снова, много времени спустя, после победы уже. С бьющимся сердцем я шел к дому бабушки Калиновны. Жива ли она? Я постучал и прислушался к приближающимся шагам. Да, это была она, но очень постаревшая и ко всему равнодушная. Я обнял ее, протянул ей свой подарок — юбку, которую купил на толкучке, поцеловал ее редкие седые волосы, костлявые синеватые руки.

— Поплачь, — сказал я ей, — тебе полегчает. Поплачь.

Она покачала головой, нет, она не хотела плакать. "А где Митя?" Я стал искать его. Его не было ни в комнате, ни на кухне. Старуха все качала головой, она не могла плакать. "Где же Митя?" — спросил я опять. И тут плотину прорвало, она разрыдалась. Мити больше нет. Его унес шквал войны, ее любимого немого внука.

— Что же произошло, бабуля?

— Они пришли снова, — сказала она, утирая слезы уголком своего платка. — Да, сынок, они снова пришли после вашего ухода.

— И что же?

— Их последний приход был самым страшным.

— Расскажи мне, что они сделали с Митей.

— Нет, ты расстроишься. Я не хочу...

— Но я хочу знать...

Она продолжала качать головой, отказываясь говорить о своем внуке.

— Ну ладно, тогда давай поговорим — о котях, да?

Она засмеялась, хотя слезы все еще бежали у нее по щекам. Мне стало невмоготу смотреть, как она плачет и смеется одновременно.

— Если хочешь, бабуля, я поживу у тебя немного. Побудем вместе, я помогу тебе, хочешь так?

— Здесь тебе не место, — сказала она, взяв себя в руки.

Мы оба думали о Мите, который погиб от рук образованных, цивилизованных людей.

Мое пребывание в госпитале и последующее выздоровление затянулись до осени. Я воспользовался случаем влюбиться в Татьяну и Галину, а потом и в сестричку, которую все звали "святой", не помню уже почему. Потом я снова присоединился к своей 96-ой дивизии, переформировавшейся перед предстоящим наступлением на Карпаты. Я доложил о прибытии и попросил разрешения повидать полковника Лебедева. Дюжий сварливый сержант прорычал мне в ответ:

— Никогда о таком не слышал.

— Как? Да ведь он начальник...

— Говорю же тебе — никогда не слышал о нем.

Я вышел и прямо у землянки командира дивизии встретил знакомого санитаря, ветерана нашей старой бригады. Он обнял меня. "Рад тебя видеть, Палтиель Гершонович!" И он рассказал мне обо всех изменениях, которые произошли в нашей части. Новости эти потрясли меня, как удар гигантского кулака. Не стоило продолжать... Об остальном я догадался сам. Лебедев — и его я тоже уже никогда не увижу. Я чувствовал себя раздавленным. Опустошенным, покинутым. Был ли еще хоть кто-нибудь в моей жизни? Я взбирался на гору пепла. По другую сторону меня ждал старик. Он говорил: "Пойдем, сынок, пойдем".

С этого момента и до самой победы я жил в каком-то трансе. Я больше не искал общества живых, меня интересовали только мертвые, только им я был нужен. Я был их компаньоном, их спасителем.

Новый начальник медслужбы дивизии, полковник Зароневский, отказался принять меня к себе, так что я оказался при отряде могильщиков. Их командир, постоянно пьяный кавказец, набирал всех, кого мог. Нужно было иметь только две здоровые руки.

Я не мог понять враждебного отношения Зароневского. То ли ему не нравилась моя дружба с его предшественником? То ли он считал, что я слишком слаб для того, чтобы таскать носилки? Более вероятно — он не терпел евреев. В его глазах мы все были трусами, но поскольку наши военные заслуги противоречили его теориям, он старался держать нас подальше от передовой, так проще было презирать нас.

Что же до меня, то я продолжал сражаться. Не за родину — она уже была освобождена Красной армией — а за трупы. И видел одни только трупы, дышал только трупным запахом. Всю то зиму, а потом и весну я ползал по грязи и лужам, по равнинам и лесам, собирая трупы, чтобы доставить их к последнему месту сбора.

Я жил с ними и для них. Постоянно копая землю, я разучился видеть небо.

Наконец-то Красная армия ломала и крушила оборону противника, освобождала города и деревни, сожженные захватчиком перед отступлением. Немцы бежали, а мы настигали их, как ангелы страшного суда.

Наши праздновали каждую победу, напиваясь и горланя песни во всю мощь легких. Все, кроме меня. Сознаюсь, я не объединял себя с советскими героями, которые так радостно праздновали наш триумф. Я не мог праздновать. Я следовал за ними, восхищался ими, молился за них. Они нанесли врагу поражение, которое он заслужил. Но в остальном я предпочитал оставаться позади, со своими мертвыми, которые стали частью меня самого.

Газеты на каждой странице описывали битвы за Воронеж, Одессу, Киев, Харьков, Умань, Бердичев... Я же помнил только сожженные трупы в Воронеже, виселицы в Умани, истерзанных детей в Бердичеве. Сколько же трупов перевидал я? Всех возрастов, всех социальных и религиозных принадлежностей. Я старался придумать каждому из них жизнь и судьбу. Я пытался прочесть их последние мысли, застывшие в их невидящих глазах. Пусть не говорят, что все мертвецы одинаковы. Тот, кто так думает, просто не видел их в массе или старался не смотреть на них, отвернуться. А я нет. Я видел тысячи неопознанных тел и все-таки узнавал их. Я ничего не знал о каждом из них, но я знал такое, что было для них при жизни гораздо важнее, чем их имена и род занятий. Тогда я знал это, но — как глупо с моей стороны — теперь я этого уже не помню.

Их пальцы, сомкнутые смертью в кулак, какую тайну скрывали они? Их руки, протянутые вперед — какой справедливости требовали они? Молодой офицер плакал от ярости, другой — от жалости; их слезы струились по мне, я все их впитал в себя. Казалось, старик молил меня, а другой попрекал. Я с таким усердием вслушивался во все то, чего они не произносили, что уже перестал слышать звуки жизни.

Я постепенно сходил с ума.

Хуже всего было летом 1944 года, когда мы дошли до благословенного и проклятого города моего детства. Немцы упорно не желали сдаваться, Лянов все еще оставался у них. Они вцепились в него с такой силой, что выбить их оттуда никак не удавалось. Несмотря на непрерывный огонь нашей артиллерии и бомбежки с воздуха, наши ударные дивизии встречали такое сопротивление, что никак не могли заставить врага сдать позиции. На смену выбывшим из строя людским и материальным ресурсам ускоренными темпами прибывали пополнения и резервы. После каждой атаки я бросался подбирать раздробленные, растоптанные и брошенные человеческие обломки. И сердце мое трепыхалось. Мой отец, моя мать, сестры, их мужья и дети. Живы ли они?

Узнаю ли я их? Прошло шестнадцать лет с тех пор, как я бросил их, и пять — со времени их последнего письма. Что расскажу я им о своей жизни? Я не мог ни спать, ни есть. Так близко к ним, и так далеко. Илья, мой товарищ, внушал мне, что я пренебрегаю собой, гублю себя, ищу прибежища в смерти. "Ты не понимаешь, Илья..." Но я ошибался. Илья понимал, он был евреем. В свои восемнадцать лет он уже многое повидал и многому научился. В тот день, когда мы наконец прорвали оборону врага и наши доблестные войска набросились на Лянов, как дикие звери, Илья все время был рядом со мной. Сам с налитыми кровью глазами, он еще пытался успокаивать меня. Ни одно наступление не вызывало во мне такого напряжения. Нервы были взвинчены до предела. Я все время дергал нашего командира: "Разве нам еще не время? Ну что, начнем двигаться?" — "Нет пока, бой еще в разгаре. Подождем, пусть он стихнет". — "Чего ждать? Наши товарищи умирают, некоторые уже мертвы, а мы все тут бьем баклуши!" — "Потерпи, — говорил мне Илья. — Я понимаю тебя и твои чувства, но потерпи".

Ничего другого мне не оставалось. Наша похоронная бригада шла вслед третьей волне наступавших. Илья не отходил от меня ни на шаг. Хотя он был моложе, он опекал меня в это время. И мне было необходимо его присутствие. Не знаю, как бы я пережил тот день у ворот Лянова, если бы его не было рядом.

Бой все еще шел в окрестностях города. Я летел к дому своего детства, и Илья — за мной по пятам. Солнце садилось, спускалось с пылающего неба, под которым я увидел сначала свою школу, потом маленький рынок, Дом учения. Солдаты вели огонь по крышам, бросали гранаты в подвалы, а я бежал к своему дому, где меня ждали мои родители, и их дети, их и мои молитвы. Все дома уже стояли, завернувшись в сумерки. Я застыл перед нашим. Я не мог шевельнуть рукой, чтобы открыть дверь. Илья сделал это за меня. Я был охвачен глубоким, черным страхом: этот дом не выглядел моим. Я крикнул: "Есть кто-нибудь?" Никакого ответа. Я снова вышел во двор, заглянул в амбар — да, это был мой дом. Я смотрел на яблони и сливовые деревья — да, это мои деревья. Но тишина была чужой. И тот солдат, что прислушивался к ней, был не отсюда родом. Я вернулся в дом. Вот кухня. "Есть кто-нибудь?" Илья открыл дверь в столовую. Пусто. Спальня моих родителей. Пусто. Мой страх растет, я вот-вот сорвусь. Если это мой дом, то почему он пуст? Где моя семья? Почему никто меня не встречает? В памяти всплывают далекие картинки: погром, чердак, сарай. Может быть, они прячутся там, как и прежде? Я бегу туда. Ничего. Безумная идея пронзает мой мозг: дом — мой, но я... я уже не я. Я почти поверил в это, когда Илья обнаружил под кроватью в детской двух стариков, мужчину и женщину. Напуганные до смерти, они вылезли, опрокинув стул.



Неужели это мои родители? Неужели я забыл их лица? Разве такое возможно? Все возможно, если я уже не я. Илья обращается к ним на русском, спрашивает, кто они. Они молчат. На идиш. Молчат. Илья раздражен, они в ужасе. Они причитают на румынском: они не виноваты, они не сделали ничего плохого, они никогда не состояли в Железной гвардии... Я готов их ударить, но как можно бить двух напуганных старых людей? Я спрашиваю их, как давно они живут в этом доме. "Всегда", — отвечает муж. Однако увидев ярость в моих глазах, поправляется: "Ой, простите меня, господин офицер, простите... Господин офицер говорит по румынски. Этот дом, они отдали его нам". — "Когда? Кто его вам отдал?" — Я уже кричу. Муж, заикаясь, отвечает: "Муниципалитет". Я кричу громче: "Когда?" Муж пытается найти нужные слова: "Когда... фашисты... когда фашисты увели... евреев".

Что я пережил? Этого вам не понять. Я не испытывал ни гнева, ни ненависти, ни жажды крови, ни потребности отмщения. Только печаль, глубокую, всеохватывающую печаль. Древняя печаль, поднявшаяся из глубины времен, заслонила для меня настоящее. Я был там и в то же время где-то еще, один, и не один. В голове у меня было яснее, чем когда-либо, и в то же время я никогда прежде не переживал такого волнения. Моя печаль была личной, и в то же время коллективной. Мои воспоминания, поведение, ток крови, биение сердца, все было пропитано этой печалью. Между миром и мной, между моей жизнью и мной стояла черная лава бесконечной, непередаваемой словами, постоянно кипящей печали; она возникла еще на пути первого человека и погубит последнего. Я же стоял в стороне беспомощным наблюдателем. Совсем так же, как я стоял сейчас, безучастно наблюдая, как мой товарищ, Илья, без единого слова стал бить по щекам старика. Женщина, стоя на коленях, обхватив наши ноги, выла и билась головой об пол. Илья не мог остановиться. Я смотрел на это и испытывал только глубокую грусть — и за него, и за моих исчезнувших родителей, и за их сына, стоящего здесь. Мне было грустно за весь мир с его яростью и за самого Творца. Грустно за мертвых, и за тех, кто остался жить, чтобы помнить о мертвых. "Перестань, Илья, — сказал я своему другу. — Остановись. Что толку теперь..." Но он меня не слышал. А может быть, я так и не произнес этого вслух. "Пойдем", — сказал я тихо. Взял его за руку и вывел на улицу. Там Илья расprostерся на земле, глубоко вздохнул и начал ругаться, все более и более ожесточаясь...

— Сукин сын, ублюдок, сукин сын, ублюдок...

Наша похоронная бригада квартировала в окрестностях Лянова три дня. Население оказывало освободителям теплый прием, балуя нас вином и женщинами.

— Если так будет продолжаться, то я дам отставку войне и останусь тут, в твоём городе, — говорил мне Илья.

Приказы Главного штаба, однако, предостерегали от каких бы то ни было эксцессов. Румыния была уже не нашим врагом, а нашим союзником, и армия должна была считаться с этим. Нам надлежало быть чуткими, полезными, добродушными. С обеих сторон только и разговоров было, что о взаимопомощи и взаимопонимании.

Я же блуждал по улицам и аллеям моей памяти и думал, не сон ли это. А что, если я брежу? Я снова подросток, хожу в школу, учусь вместе с Эфраимом, я ученик ребе Менделя-Такитерна и вместе мы отыскиваем тайные пути славы. Вместе мы слушаем наших мудрецов, которые, описывая события своей жизни, описывают и нашу жизнь тоже. Я никогда не уезжал в Германию, никогда не жил во Франции, ноги моей не было в Испании. Евреев никогда не убивали. А ты, отец, никогда не ехал в опечатанном поезде, ночи и дни без воздуха, без надежды; ты не задыхался, не погиб удушенный вместе со своей семьей и своей общиной. Нет, отец. Ты не умер так. Ты вообще не умер. А я не пережил этого кошмара. Человечество не рухнуло в бездну, оно не истребило собственной души.

Я побывал в нескольких синагогах, которые еще не были закрыты, и заставлял десятки, сотни раз рассказывать мне о страшных днях 1941 года: рейды, расстрелы, поезда смерти, соучастие населения. Фашисты осуществляли свою программу на глазах у всего города. Это происходило здесь, на этих улицах, окаймленных пышными деревьями. Здесь люди гуляли, встречались, обменивались приветствиями, желали друг другу доброго утра, доброго вечера и приятного аппетита. По этой дороге хозяйки ходили на рынок, обсуждали цены и кулинарные рецепты. Здесь встречались, влюблялись и бросали друг друга любовники. Здесь дети бегали, играли в мяч, смеялись, их родители бранили их, а в это время совсем рядом, так близко от них, шли поезда с закрытыми наглухо вагонами, груженными мертвыми или умирающими людьми. Поезда эти шли ниоткуда и никуда, они останавливались только когда последний из пассажиров выпускал последний вздох. Но как же все это было возможно? В конце концов я перестал задаваться этим вопросом.

Но Илья продолжал бормотать себе под нос все те же ругательства: сукин сын, ублюдок, сукин сын, ублюдок. Иногда он сопровождал меня в моих хождениях, и тогда мы выглядели как два друга-солдата, ищущие развлечения, приключений и женского тепла.

Я пошел на кладбище, бродил среди слегка покосившихся белых и серых надгробий. Я останавливался то у одного, то у другого, чтобы прочесть имена раввина, мудреца, филантропа. Вот памятник рабби Якову, чудотворцу, спасшему свою общину во время погромов в семнадцатом веке. "Почему ты не вступился за мою общину, рабби?" — спросил я его едва слышно. Я упрекал его: "Тебе бы надо было сотрясти Небесный трон, рабби Яков, а если у тебя не хватало на это сил, ты

должен был призвать тех, у кого они есть. Почему ты не обратился за помощью к Баал-Шем-Тову и его ученикам, к Иеремии и его предкам, которые тоже являются частью нашей общины? Ты был здесь, рабби Яков, и не смог защитить своих потомков". Илья заворчал:

— Что это ты там разговариваешь сам с собой?

— Ты не поймешь, — сказал ему я, думая, что такой парень, как он, комсомолец и все прочее, коммунист до мозга костей, не мог верить в раввинов, творящих чудеса. Но Илья поразил меня снова:

— Ты ошибаешься, Палтиель, я пойму.

И это было правдой, он понимал. Он был евреем, этот Илья.

Мы подошли к общей могиле. После долгого молчания Илья начал было снова бормотать свои ругательства, но я осадил его. И он понял. Он дотронулся до моей руки, как бы прощаясь, и ушел. Я остался один. Наедине с кем? Сколько их там было, этих невинных жертв? Могила казалась мне недостаточно широкой, слишком узкой для такого числа мужчин и женщин. Земля обманчива. Живому человеку нужно много места: учреждения, дворцы, мастерские, магазины. Мертвому — только место для одного себя: тоненькую щель в земной поверхности.

Внезапно мной овладело дикое желание вскрыть могилу, отыскать мою семью и похоронить ее надлежащим образом, в ее собственной могиле. Но я не сделал этого. Мой отец, там, по ту сторону смерти, запрещал мне это. Он не хотел быть разделенным со своей общиной. Мне думалось, что я слышу его голос:

— Место еврея, живого или мертвого, среди его народа.

Солнце садилось, тени стали длиннее. Близилась ночь, предвещающая сумерками, тяжелыми от ужаса. Пора было уходить. Я вспомнил легенду, которая напугала меня, когда я был ребенком. Мужчина заснул на кладбище, проспал там всю ночь. А на завтра нашли его труп — мертвецы предъявили на него свои права. Да, мне надо было идти, но я не мог. Невозможно было оторваться от этого места, ноги мне не повиновались. Я уже готов был просить мертвых отпустить меня, когда голос, чем-то мне знакомый, обратился ко мне с вопросом:

— А ты прочел молитву над мертвыми?

— Нет, — ответил я.

— Почему?

— Не могу.

— Не можешь или не хочешь?

— Я не могу сейчас благословлять Его имя или славить Его пути — нет, не могу.

Голос продолжал удивленно:

— Ты что, пришел сюда богохульствовать?

— Не знаю, — ответил я. — Не знаю, зачем я пришел сюда...

Человек, с которым я разговаривал, был высок и строен, вели-

чественен. Сердце мое замерло — Давид Абулесия! Нет же, и о чем я только думаю? Какая нелепая мысль. Я выбросил ее из головы.

— Кто вы?

— Я — могильщик, — ответил он.

— И я — тоже, — сказал я.

— И ты принадлежишь к Святому обществу? К какому же?

— Я — солдат, — сказал я.

— Тогда что же ты делаешь здесь, на моем кладбище?

— Здесь похоронены мои родители.

Могильщик покачал головой и произнес ритуальную молитву:

— Бог дал, Бог взял, благословенно будь имя Господне во веки веков...

В сгущающихся сумерках мы были двумя тенями, объединившимися, чтобы противостоять тайне ночи.

— Мужчин и женщин, с которыми я прощаюсь, — сказал могильщик, — я делаю своими посланцами. Я говорю им: "Идите и предстаньте перед Небесным трибуналом и скажите, что Шевах-могильщик, член Святого общества Стражей Мессии, потерял терпение, что он очень устал и горе его велико. Скажите, что бесчеловечно жить и умереть в ожидании, что тяжело и бесчеловечно предать земле целое поколение евреев".

Он рассказал мне о проклятых днях, пережить которые доводит-ся только могильщику. Это ему пришлось принять целый эшелон мерт-вцов, ему пришлось обмывать исковерканные трупы. Он был послед-ним, кто окинул живым сострадательным взглядом моих отца и мать, сестер и их детей.

Страж Мессии. Я думал о своем друге Эфраиме и его мечтах о спасении, освобождении. Я вспоминал молитвы своего отца о Иеруса-лиме. О ребе Менделе-Такитерне и его ключах от Небесного Дворца. А также — необъяснимо — ведь он принадлежал к иным широтам, был из другой истории — о своем попутчике Давиде Абулесии. Он зани-мал в моей памяти несоразмерно большое место; я вновь слышал его фантастические рассказы, где странник мечется в погоне за Мессией, словно полицейский сыщик, которому поручено найти преступника, бежавшего от правосудия.

Прощаясь со мной, Шевах-могильщик обещал присматривать за моей семьей. Я поблагодарил его. Я знал, что он будет это делать. Но я знал также, что он не сумеет присматривать за ними, потому что я за-бирал с собой свою семью. Их могилой станет моя жизнь.

В лагере я нашел Илью. Он не спал. Вытянувшись на койке, он пил, уставившись в пространство. Я рассказал ему о своем вечере.

— Ты не поймешь, — сказал я снова. Я ошибался. Он понимал. Он был евреем, этот Илья. Он знал, что мы все — могильщики.

В моем сне  
отец  
спросил меня,  
неужели это правда,  
что он все еще  
отец мне.

Я держал его руку  
в своей,  
и мне было больно.  
Я говорил с ним,  
и мне было больно.

Я сказал ему:  
позови меня,  
удержи меня,  
постарайся понять.

Я говорил ему  
о моих странствиях  
в будущее  
и в прошлое.

Я говорил ему  
о пепле  
и о шрамах  
у меня на лбу.

Я просил его  
остаться со мной,  
охранять меня  
и никогда не покидать.

Вот так, я видел  
во сне своего отца  
и никогда не видел  
самого себя.

Знали ли вы,  
что мертвые тоже плачут?  
Умершие вчера и давно,  
почему они плачут?

Ночь не выносит сама себя,  
она убегает от себя и  
исчезает в рассвете.

Почему же ночь  
не желает быть ночью?  
Знаете ли вы почему?

Хворый незнакомец  
смеется и смеется.  
Зачем же мне слушать  
как он хохочет?

Потому что его ожидает ночь?  
Потому что смерть  
ждет его тоже?

Я прошу моего отца  
явиться мне во сне  
и дать все ответы.

Он слушает  
и заставляет слушать меня.  
Я знаю все, что было известно ему,  
но  
знает ли он то, что известно мне?

Зусия, Учитель мой,  
Зусия, мой брат,  
ты что ж, передумал?

Ты говорил,  
что счастье существует,  
что им полно Творение.

Ты говорил,  
что Господь своей милостью  
уберегает человека  
от страданий,  
от стыда  
и от смерти.

Зусия, отец мой,  
вспомни о своих детях и об их детях,

о твоих учениках и их учениках,  
подумай о всех них, Зусия,  
и скажи мне потом,  
скажи мне,  
что страданий не существует.

Я вижу, Зусия,  
как ты улыбаешься своему брату,  
великому рабби Элимелеху,  
я слышу, как ты говоришь ему,  
что все под солнцем,  
созданное Творцом,  
есть милосердие и сострадание.

Видишь ли ты потомков  
пророков, Зусия?  
Видишь ли ты их  
в запечатанных вагонах для скота,  
в пылающих лесах?  
Слышишь ли ты их крики,  
Зусия?

Они горят, брат мой,  
они горят, мой учитель,  
огонь пожирает их  
на алтаре  
народа нашего.

Прошу тебя, Зусия,  
будь Зусией и перестань улыбаться —  
или лучше не будь Зусией.

В моем сне  
Отец смеется.

Не смеются только глаза его.

Почему отец смеется  
В моем сне?

Потому, что я рассказал  
Ему о своем открытии?

Я сказал ему, что нашел нового рабби  
нового мудреца,  
нового пророка.

Он защищает братство,  
равенство  
и мир среди народов.

Новый рабби проповедует радость  
для бедных  
и угнетенных.

Он пророк, как Исая,  
мечтатель, как Осия,  
утешитель, как Бешт.

Отец засмеялся,  
когда я назвал  
имя.

Рабби Карл,  
наш учитель, Карл,  
наш пророк Карл Маркс.

Мой отец смеется,  
а тишина моего сна  
пропитана слезами.

(Перевод с идиш)



— ТВОЯ МАТЬ НЕ ПРИЛЕТИТ СЕГОДНЯ, — говорит писатель.

Гриша часто моргает. Он так усиленно старается прогнать сон, что не схватывает смысла того, что сказал его друг.

— Я разбудил тебя, прости.

Его друг никак не может справиться со своим волнением. Он вытирает губы тыльной стороной ладони.

— Они позвонили мне, — объясняет он. — Срочное сообщение из Вены. Твоя мать не полетит этим самолетом.

На какое-то мгновение, смутное и бесконечно долгое, как показалось ему, Гриша был парализован. Ничто не действовало на него, ничто не трогало. Он ничего не чувствовал, ничего не пытался осознать. Он просто парил в заоблачной вселенной, где мертвые перемешались с живыми. Далеко от Иерусалима.

— Твоя мать заболела, — говорит писатель, как будто это могло утешить.

Гриша реагирует вяло. “Я глуп, — говорит он себе. — Похоже, что я не способен говорить с людьми”. Он раздвигает занавески. Утренняя заря отступает перед режущей глаза яркостью куполов и башенок, возвышающихся над городом.

— Хочешь, я сварю тебе кофе?

Гриша делает над собой усилие. Он удивлен, что это известие так опечалило его. Последний вечер, проведенный с матерью, накануне его отъезда в Израиль, был куда менее тяжким. Хотя тогда у него не было ни малейшей надежды увидеться с ней снова. С какой стати стала бы она уезжать из Краснограда, расставаться со своими привычками, удобствами и своим другом Мозляком? И все-таки она бросила все это. Почему? Именно об этом он и собирался спросить ее прежде всего. А уж потом задать все остальные свои вопросы. Теперь он знал, что не сумеет спросить ее ни о чем.

“Как удачно, — думает Гриша, — как удачно, что я провел ночь дома!” Он уже было остался у Кати, но около двух часов ночи почувствовал, что должен идти домой. Как будто он чего-то ждал, какого-то известия, беды.

Он одевается, чувствуя себя несчастным. “Она не придет, — говорит он себе. — Я больше никогда не увижу ее. Я никогда не узнаю той истинной роли, которую она сыграла в жизни отца, и наоборот. Отец был слишком скрытен, хотя и меньше, чем его жена. Все те события и факты, о которых он говорит в своем “Завещании”, — реальны они или

реальны ли они или вымышлены. И этого я тоже никогда не узнаю. Н и к о г д а — это слово терзает его. Почему ему было так важно встретиться с ней снова? Потому, что он больше не любил ее, или потому, что любил сильнее прежнего? В памяти всплыли картины детства, образы отроческих лет, сначала по порядку, а потом вне всяких временных рамок...

— Ты любила его, скажи мне? Ты любила моего отца?

— Конечно, я любила его, Гриша.

— Тогда почему его сердце было разбито? Я знаю это, я читаю его стихи. Его сердце было разбито.

— Но детка, у всех поэтов разбитые сердца.

Или в другой раз:

— Расскажи мне, как вы встретились.

— О, это еще в войну... Я не люблю говорить о войне.

— А что он делал на войне?

— Воевал, как и все остальные.

— А ты? Что ты там делала?

— Я тоже воевала.

— А ваша первая встреча? Расскажи мне о вашей первой встрече.

Она не захотела рассказать. Он настаивал, но впустую. Она не могла предвидеть, что однажды он узнает об этой встрече больше, чем она знала сама. Она ведь не знала о существовании "Завещания". Он скрыл это от нее по совету Зупанева.

— Я доверяю твоей матери, но вот этот доктор Мозляк, если он прослышит о нашем плане, то с этим планом будет покончено. Будь осторожен, сынок. Ты посланец еврейского поэта и ты обязан соблюдать осторожность.

Шла последняя неделя перед его отъездом. Гриша заучивал последние страницы завещания, последние стихи. Как и много раз до этого, сторож, положив тетрадь на колени, читал стихи тихим, монотонным голосом, а Гриша слушал, запоминал каждое предложение, каждую запятую, дисциплинируя память, не двигаясь, полуоткрыв рот, напряженный до предела. Он слушал, слушал вдумчиво, напряженно, почти не дыша. Только глаза его отражали жизнь — он слушал глазами, регистрируя каждое слово, все его оттенки и колебания. Он считал своим долгом запомнить все, ничему не дать ускользнуть. Никто не умел слушать так, как он; никто не мог сравниться с ним в памяти.

— Какая удача, что ты нем, — говорил Зупанев, почесывая свою лысую голову. — Они тебя отпускают, они и не подозревают о могуществе твоей немоты, как не понимают и моего могущества. Для них я простой стенографист, всего лишь одушевленный предмет. Вот как обстоят дела, мой дорогой, палачам недостает воображения — а иначе они не стали бы палачами.

Потом Зупанев обратился к нему с последней просьбой:

— Расскажи мне, как ты стал немым.

Беспомощным жестом Гриша показал: если бы я мог говорить, я бы не был немым.

— Какой же я дурак, — сказал Зупанев. Он открыл ящик стола, достал карандаш и тетрадь и протянул их своему юному другу.

— Напиши, — сказал он, — и... — Он задумался на мгновение, а потом закончил с улыбкой: — Эту тетрадь я буду хранить вместе с записями твоего отца.

И Гриша начал писать...

**ДОКТОР МОЗЛЯК, ВОЗМОЖНО, РАБОТАЕТ** на Госбезопасность. У меня нет доказательств, это только мое предположение.

Однажды, вернувшись из школы, я увидел его в нашей комнате. Он сидел на диване, а мама стояла перед ним и казалась испуганной. Наверное, он опасен и могущественен. Я не люблю его. Честно говоря, я его ненавижу.

Похоже, что моя мать влюблена в него. Она говорит, что он прекрасный врач. Мне это безразлично, я не болен. Но моя мать больна. Она часто бывает у него, в его квартире, которая находится как раз над нашей. Сам бы я, даже умирая, не обратился к нему за помощью. Я его боюсь.

И все-таки однажды я был вынужден позвонить в его дверь. Моей матери нездоровилось и она послала меня к нему за рецептом. Мне запомнилась белизна, его окружавшая: Мозляк, в белоснежном халате, сидел на белом стуле за белым столом. Это было ослепительно.

Он выписал рецепт и сказал:

— Аптека еще закрыта. Давай побеседуем, пока она откроется, хорошо?

Я не соглашался. Он настаивал. Говорил о болезни матери. Его сладкий голос, казалось, прилипал к моей коже, меня от него мутило.

— Расскажи мне о своем отце, — сказал он.

Его интересовал мой отец, а не я. Он подверг меня обычному допросу. Я отвечал гробовым молчанием. Он начал раздражаться, но старался не показать этого. Жизнь моего отца, его смерть, его поэзия не касаются этого человека. Сказать по правде, я и сам мало что знал обо все этом, но не хотел ему признаваться. До моей встречи с Зупаневым все это занимало в моей памяти более чем скромное место, было очень туманным: фотография, несколько стихотворений — все это только мое, личное, интимное. Но он был напорист. Поэтому я предпочел встать и уйти. На улице я облегченно вздохнул и заспешил в аптеку. Слава Богу, она была открыта.

Вечером он снова пришел к нам. Он пристально посмотрел на

мать, потом сел и начал повторять все свои вопросы. Все о моем отце, всегда только о нем. Я выбежал вон.

Он приходил снова и снова — на следующий день и через день. Матери стало уже лучше, но он продолжал навещать нас по вечерам, чтобы осмотреть ее и допросить меня.

Наконец я понял, что он приходит ко мне, а не к матери. Какова же была его цель? Украсть у меня моего отца? Забрать его у меня во второй раз? Чем чаще он приходил, тем больше я убеждался в справедливости моей догадки.

Несомненно, он работает в спецслужбе, ответственной за промывание мозгов населению, за выколачивание из голов всякой самостоятельной мысли, за то, чтобы стирать все в человеческой памяти, как стирают написанное со школьной доски.

А этот ублюдок знал, как это делается. Он бросал мне вопрос и поторял его в десяти разных вариантах, пока я не начинал чувствовать себя опустошенным, лишенным права владения.

Например, история с пробкой. Я нашел эту пробку в ящике стола, еще когда мне было три или четыре года. Самая обыкновенная пробка, но я придумал ее историю. Я сказал себе, что отец положил ее в ящик намеренно, чтобы я мог найти ее однажды. Я уверил себя, что пробка эта хранит некую тайну, которую я должен раскрыть. Глупость, разумеется, я знаю. Но для меня эта пробка стала некой интимной связью с отцом. Я не рассказывал этого никому, даже матери. Но к несчастью, Мозляк видел, как она выпала у меня из кармана, и обо всем догадался. Он взял ее в руки и раскрошил. "Видишь, — сказал он, — это всего лишь обыкновенная пробка". Ублюдок. Он хотел сделать мне больно и сделал. Пробкой, которую он сломал, был я сам, и теперь я больше не был живым существом, школьником, а только раскрошенной пробкой. И мне было так больно, как будто мне вырвали зуб. Всегда очень тяжело утрачивать тайну.

Или история с солнцем. Это еще одна тайна, но только уже настоящая. Помните стихотворение отца о солнце пепла? Ну вот, с тех пор как я прочел его, я видел солнце, невидимое никому другому, оно принадлежало только мне: оно ни красное, ни серебристое, ни золотой или медный диск, а шар из пепла. Всегда, когда я видел золу в печи, я находил в ней солнце. Это солнце светило только для меня, даже ночью. Мозляк догадался и об этом. Не понимаю как. Нет, нет, я знаю как: отвечая на его вопросы, я избегал слов, связанных с солнцем или с золой и пеплом; я просто выбросил их из своего словаря. Я говорил о чем угодно, только бы не коснуться опасной темы солнечного пепла. Я нес что-то несурзное, отвечал невпопад. А он только смотрел на меня пристально и бесстрастно и засыпал меня градом бессвязных слов, чтобы вызвать мою реакцию, и я кончил тем, что выдал себя. С тех пор я жил в мире, лишенном солнца.

Став осторожным, всегда начеку теперь, я стерег остальные свои тайны. Но я был недостаточно умен, чтобы ускользнуть от него. Он был специалистом. Он вытягивал из меня силой отдельные слова, целые предложения, обрывки моего молчания. Я все более и более нищал. Чем больше я говорил, тем меньше оставалось от меня самого; он украл у меня все, чем я больше всего дорожил. Я переставал узнавать себя — исчезала моя любознательность, по временам я впадал в транс. Мои движения и намерения перестали координироваться. Я чувствовал себя так, как будто я заблудился в темном туннеле. Я чувствовал себя придушенным. Я потерял надежду. Я сдался. Еще один такой месяц и я забыл бы обо всем. И вот тогда случилось чудо. Было ли это чудом или несчастным случаем? Случайностью или сознательным актом? Кто может это знать? Я знаю только одно: в один прекрасный момент, когда я почувствовал себя загнанным в угол более обычного, я с силой стиснул зубы, с ожесточением сцепил челюсти, открывая их только, чтобы вдохнуть воздух и облизнуть кончиком языка пересохшие губы. Неожиданно для самого себя, охваченный яростью, я каким-то неконтролируемым движением, похожим на спазм, стиснул челюсти, не успев спрятать язык, и перекусил его пополам. Я потерял сознание, и с тех пор я не в состоянии произнести ни слова.

Моя бедная мать со свойственной ей гордостью доверила свою печаль только одному доктору Мозляку. Она не могла примириться с мыслью, что ее единственный сын останется немым на всю жизнь.

— Гришино состояние куда более серьезно, — ответил Мозляк. — Здесь дело в умственном развитии.

Если его слушать, выходило, что я ненормальный. Но это не так. Доказательством моей умственной полноценности были вынашиваемые мною планы отмщения и справедливого возмездия. Разве они не свидетельствовали о здравости моего ума? А может быть, как раз об обратном — тогда в чем же различие?

И все-таки, друг мой сторож, есть еще одна немаловажная вещь: не будь я немым, наши пути не перекрестились бы. А без тебя мне никогда бы не обрести своего наследства. Без тебя мне бы не досталось ничего, кроме молчания и пепла.

— ТВОЯ МАТЬ БОЛЬНА, — говорит его друг-писатель.

Грише хочется спросить, насколько это серьезно. Но он не знает, каким жестом задать этот вопрос. Он берет лист бумаги и пишет. Писатель отвечает, что не знает ничего определенно, — врачи еще не поставили диагноз. У нее был сердечный приступ, вероятно, ее придется оперировать.

— К сожалению, тебе не удастся полететь к ней сразу. Сегодня

Йом-Киппур, Судный день, и до самого воскресенья не будет самолетов на Вену.

Надо ждать, всякий должен уметь ждать. И молиться — почему бы и нет? Да, сегодня он и его друг пойдут к Стене Плача и примут участие в торжественном богослужении — Кол-Нидре. Сегодня там, наверху, будут вынесены приговоры: выздоровление или смерть, прощение одним и наказание другим. А мне как же быть? Простить — значит судить. А я не знаю, как полагается судить. Но хотел бы знать.

Город выплывает из тьмы. Несколько подвижных островков. Звук шофара прорывается сквозь назойливый шум арабского рынка за крепостными стенами, гомон детей и крики их матерей. Двое мужчин обмениваются приветствиями: пусть год уходящий идет своим путем, а тот, что наступит, пусть будет щедр на добрые дела!

“Я не увижу ее больше, — говорит себе Гриша. — Почему мне так грустно?” С того момента, как он узнал о ее приезде, у него сложилось так много планов. Он собирался решить заново все загадки своего прошлого: меланхолию отца и молчание матери. У нее тоже были свои тайны, в которые она, несомненно, решила теперь посвятить его. Вот почему она, наконец, порвала с Красноградом — с доктором Мозляком. И прежде всего, чтобы открыть Грише истинную роль доктора во всем, что случилось с их семьей. А что же с Зупаневым? Виделась ли она с ним? Доверил ли он ей какое-нибудь послание к Грише? Жив ли он еще?

“Странно, — думает Гриша, — я знаю отца лучше, чем мать”.

В его памяти вспыхивает вдруг яркая картина: однажды зимним вечером он возвращается домой из школы и видит, что Раиса, грациозная, с царственной осанкой, сидит на стуле, положив обе руки на стол, уставившись в пространство. Он бросает свой портфель на пол и кидается утешать ее. Он берет ее голову в свои маленькие руки; ему так хочется сказать ей много приятных и нежных слов, но он слишком взволнован, так опечален, что не может произнести ни одного.

Она так и не поняла, а теперь уже никогда не узнает, что так тянуло его к ней: чувство, которое ему не удастся обозначить каким-нибудь одним словом. И сейчас он тоже не знает, как назвать это чувство, мучительное и утешающее одновременно. Оно заставляло его сердце биться сильнее.

И теперь он переживает его снова. И сердце его колотится.

## ЗАВЕЩАНИЕ ПАЛТИЕЛЯ КОССОВЕРА

### 9

ОНА УЛЫБНУЛАСЬ МНЕ, и это меня смутило. Она никогда прежде не улыбалась мне, даже иронически. Может, победа так на нее подействовала? Вся Красная армия праздновала. Восторг был всеобщим: офицеры и сержанты устраивали вечеринки и напивались пьяными. У нас в полевом госпитале даже больные казались счастливыми. Один я не разделял всеобщего счастья.

Раненный во второй раз, я был отправлен в госпиталь в Люблине, где 96-я дивизия наконец встала на отдых. Она дорого заплатила за свою славу и теперь поправляла свое здоровье, а это требует времени. Офицеры жаловались: они мечтали первыми вступить на немецкую землю, первыми воздвигнуть знамя над руинами Берлина. Солдатам тоже не терпелось, но они подчинялись приказам. Для них не имело значения где, главное — воевать. И они сражались.

Итак, моя война закончилась в Люблине. Я выносил молодого солдата из огня. Он был очень красив и легок, как ребенок. Я, как всегда, разговаривал с ним, повторяя все то, что обычно говорил мертвым: "Не беспокойся, мальчик, мы уже почти дошли". Но, казалось, всем своим видом он возражал мне: нет, мы никогда не дойдем. Он советовал мне быть осторожным, остерегаться снайперов, случайных пуль и мин. Остерегаться, остерегаться, легче сказать, чем сделать, как будто фронт — это переход через улицу. Со своим ангелом-хранителем на плечах я двигался вперед вприпрыжку. И вдруг меня подбросило вверх. Жестокая, острая боль. Я открыл глаза: волной меня отбросило в траншею. А молодой солдат, разорванный на куски, был уже только обезглавленным и безногим трупом. Он спас мне жизнь, я был только ранен. Операция, бессонные, ночи, тяжелые пробуждения — веки мои вешили тонны.

Фронт двигался вперед, а мое тело прилепилось к Люблину, а я — к моему телу. Меня переводили из одного госпиталя в другой, и я не мог понять, делалось ли это с какой-то определенной целью или без всяких причин. Старые и молодые хирурги, склоняясь надо мной, покачивали головами и выглядели встревоженными. Они были так заняты моими сломанными костями, что забывали о моем сердце. Теперь настала их очередь утешать меня: "Не беспокойся, солдат, мы доберемся до них".

Я видел приходящих и уходящих врачей как через мокрую сетку. Я слышал их шепот. Был ли я еще жив? Если да, то почему? Если нет, то отчего нет рядом моего отца? Чего я определенно не знал, так это умирают ли и могильщики тоже. Мысль об этом никогда не оставляла меня. Иногда, чтобы отвлечь себя, я размышлял над тем, где это случится: здесь же, в Люблине? Голова моя была полна магических и почитаемых имен, таких, как провидец \* и рабби Цадок из Люблина. Иешива мудрецов в Люблине — мой отец страстно желал определить меня туда. Я позвал Борьку, еврея, студента-медика из Одессы, который был олицетворением изобретательности, и сказал, что у меня к нему есть просьба.

— Ну, конечно же, — сказал он, потирая руки. — Чего только пожелаешь. Хочешь, чтобы тебя перевели в Москву? Нет? Другое? Вкусно поесть? А может, подружку? — и он захохотал, похлопывая себя по ляжкам.

— Послушай, — шептал я, — если я умру...

— Ты в уме или что? Ты не умрешь, ты почти здоров.

— ...Если я умру, Борька, обещаю, что ты заставишь их похоронить меня на еврейском кладбище.

— Нет, ты спятил, совсем спятил, — сказал он, и лицо у него вытянулось.

— Обещаю тебе, Борька.

— Обещаю поколотить тебя как следует, если ты не прекратишь.

— Борька, прошу тебя! Для меня нет ничего более важного, чем...

— Ничего не выйдет, мой маленький идиот. Ты не умрешь. По крайней мере в Люблине. Слишком много евреев умерло в Люблине.

Госпиталь переехал в здание начальной школы. Здесь мне сделали еще одну операцию, которая наконец принесла плоды. Через три недели я был переведен в центр для выздоравливающих. Там, несмотря на мою слабость, я смог принимать участие в жизни палаты. Обсуждалось все, начиная с молниеносного продвижения наших армий и кончая тактикой Конева и стратегией Жукова. Заключались пари, кто из них первым войдет в Берлин. Все соглашались на том, что война близится к концу. Некоторые из раненых просились домой. Какой смысл подвергать себя опасности теперь, что толку пасть смертью героя прямо перед победой?

Раиса приходила в госпиталь часто. Ее произвели в капитаны, и она выискивала тех, кто надеялся смотать удочки. У нее был наметанный глаз и бранчивый язык: она называла их мокрыми тряпками, трусами, предателями, и они ее боялись.

Совершая эти набеги, она останавливалась вдруг то у одной, то у

---

\* Провидец из Люблина — рабби Яков Ицхак Горовец, глава хасидов Люблина в начале 19 в. (Прим. переводчика)



другой кровати, якобы поболтать, но на самом деле, чтобы оценить моральное состояние своего войска.

Узнала ли она меня? Она показала на корсет, закрывающий мой торс, и спросила:

— Когда же, наконец, ты избавишься от него, а? — Она смотрела не на меня, а на корсет. Я ответил:

— Не так скоро, как хотелось бы, товарищ капитан.

— Хорошо сказано, солдат, хорошо сказано. Но давай поживей, слышишь?

Потом она обрушилась с руганью на моего соседа:

— Тебе не стыдно околачиваться здесь, спать и позволять себя обслуживать, как старая карга на покое, когда твои доблестные товарищи крушат врага на его собственной территории?

Таким манером мы узнавали от нее фронтовые новости:

— Взяли уже Краков, Катовице, Сосновец. Мы идем на Берлин, а вы тут дремлете?..

Как будто мы были в этом виноваты. Или у нее была такая манера развлекать нас, подбадривать? Или выражать свое неудовольствие? Она кипела от злости, что ее лишили возможности принять участие в этих исторических, но далеких от нее боях. Люблин уже стал прошлым. Пресса теперь кричала о других военных победах. Другие города, более экзотические, более живописные были в центре внимания — а ее, капитана, политического комиссара, низвели до того, чтобы заниматься кучкой инвалидов и симулянтов... И она склонна была считать нас в этом виноватыми. Не будь нас и наших дурацких ран, не будь этих проклятых госпиталей, она бы могла в данный момент быть с маршалом Коневым или с маршалом Жуковым, и партия гордилась бы ею и воздавала бы ей заслуженные почести! Вот почему она была такая злая — мы возмущали ее. И с каждым днем все больше. Каждая новая битва, каждая новая победа добавляли ей горечи.

Корсет мне сняли в апреле. Но я по-прежнему был прикован к постели и ждал отправки домой. Казалось, уже ничего не может случиться. Настал май и день капитуляции немцев. Наша дивизия была ответственна за организацию военного парада в Люблине. Это было величественное зрелище, достойное Москвы. Хорошо, пусть я преувеличиваю, но так по крайней мере мы чувствовали, когда дивизия маршировала мимо трибун, где Колбаков и его начальник штаба стояли по стойке смирно, салютуя нашим знаменам.

Даже самые печальные и апатичные из нас испытывали радость. Мы пили, пели, хлопали в ладоши и кричали: *"Да здравствует Сталин!"*, *"Да здравствует Советский Союз!"* И мы непрерывно повторяли хором: *"Ура! Гун-гун-Ура!"* Мы танцевали в парках, на площадях, на улицах; мы обнимались, незнакомые люди обменивались подарками и трофеями. Мы прожили этот самый прекрасный день в нашей жизни

в полную силу, дорожа каждой минутой, каждым воспоминанием. Мы были живы и мы победили. Будущее принадлежало нам, нас ожидало счастье. Мы были горды тем, что справились с чудовищем. По томки будут нам благодарны.

В эту ночь никто не спал.

А назавтра нам объявили, что в начале июня, следующим эшелом, нас отправят домой. А до этого мы должны пройти проверку у компетентных представителей власти и в разных комиссиях.

Одним прекрасным утром в нашей палате появилась Раиса, неся под мышкой стопку папок. Ее холодная улыбка насторожила нас. Как обычно, она прошла по рядам, останавливаясь там у постели сержанта, там — солдата и поддразнивая их. Неожиданно взгляд ее синих глаз задержался на мне, и губы растянулись в истинно женскую улыбку:

— Ну, солдат, счастлив, что едешь домой?

— Еще как, товарищ капитан.

— Скучаешь по дому?

— Очень, товарищ капитан.

— Откуда ты?

— Не знаю, товарищ капитан.

— Не знаешь? Но ведь у тебя наверняка есть семья, дом?

— Нету, товарищ капитан...

И тут она вдруг делает такое, чего никогда не делала прежде, эта Раиса. Она садится на край моей кровати! Что она, заинтересована, заинтригована или у нее возникли подозрения? Она спрашивает меня о моей военной карьере, о моей личной жизни. Похоже, она забыла о наших прежних встречах, это было так давно. Нет, она не забыла, просто не узнала меня. Напомнить? Я молчу. Зачем? Она улыбается. А если я что-нибудь скажу, она еще перестанет улыбаться. Что же касается истории с немецким пленным... Даже если бы я положил его на операционный стол к моему другу Лебедеву, и тогда бы немец все равно умер. А если не там, на столе, то где-нибудь на великом Севере. Во всех случаях лучше забыть об этом. Война кончилась, Германия побеждена, а самое главное, Раиса мне улыбается. Она не думает о мертвых пленных, зачем же мне думать о них? Она — капитан, а я — только солдат. По вашему приказанию... Слушаюсь, товарищ капитан!

Она интересуется тем, что я делал до войны. "Я был корректором", — отвечаю. Она снимает шапку, ее светлые волосы падают ей на плечи и достают до самой талии. Мне хочется дотронуться до них, хотя бы дотронуться, даже не погладить. Глупо, я знаю, но это ее вина... Когда-то я ненавидел ее, находил отталкивающей. Теперь мы изменились оба. Теперь мне хочется дотронуться до ее волос. Мои однополчане смотрят на нас и ничего не понимают: никогда прежде Раиса не ве-

ла себя так запанибратски с подчиненными. Они стараются прислушаться к нашей беседе, но мы говорим очень тихо, хотя речь идет только о моем возвращении домой.

— Корректор? А кто это такой?

Я объясняю ей и добавляю, краснея:

— У меня есть еще и другое дело.

Она широко раскрывает глаза:

— Другое?

— Я поэт, — говорю я почти неслышно.

Она воодушевляется:

— Правда? Так ты поэт... Как Симонов?

— Нет, Симонов знаменит, его стихи читают даже в окопах, а мои...

— А что же твои?

— А мои никто, кроме меня, не читал, я не думаю, что они очень хороши.

— Ты мне считаешь их? Обещай. — Она наклоняется ко мне. — Обещаешь?

Я киваю. Да, я обещаю.

— Завтра, — говорит она, — я приеду и заберу тебя, мы погуляем в саду.

И вот она уже говорит с Димой,левой, Алексеем, без всякого перехода, в то время как я все еще взволнован, упоен, разрываюсь между желанием понравиться ей и страхом показаться смешным. Не стоило мне говорить ей о своих стихах. Что она понимает в поэзии? Песни, которые надо петь шепотом, строфы о тоске и раскаянии, молитвы неверующих. Что может она понимать во всем этом, как она может оценить их по достоинству? Особенно, если они написаны на идиш. Я пытаюсь урезонить себя: ну что же так волноваться? Она не придет больше, мы не пойдем с ней гулять, и мне не придется быть клоуном и читать свои стихи, хвала Господу. Сначала я любил Раису, потом ненавидел ее, потом снова любил, потом... К черту ее. Я больше ни люблю, ни ненавижу ее. У меня другие заботы. Что я буду делать в Советской России? Где буду жить, работать? А что если мне навестить семью Лебедева в Витебске? Какой же я дурак. В Витебске больше не осталось евреев. Ладно, поеду еще куда-нибудь, к Мите и его бабушке, все равно куда. Рано или поздно я сумею найти место, где еврейский поэт не будет слишком уж раздражать окружающих.

Но я, конечно, ошибся. Раиса пришла, как обещала. Она хотела послушать мои стихи.

И вот он я — жертва собственной поэзии.

Люблин пострадал меньше других больших городов. На улицах было мало разрушенных домов. Жизнь в городе шла почти нормально. Костелы полны, рестораны забиты. Польские и русские солдаты братались. Под деревьями парни и девушки заново открывали любовь.

Все еще слабый, я шел с трудом. Я опирался на Раису, положив правую руку ей на плечо. Всякий раз слегка шевельнув рукой, я нечаянно касался ее груди, и кровь ударяла мне в голову. Я часто останавливался отдохнуть.

— Давайте посидим на этой скамейке, — сказал я.

Она помогла мне сесть.

— Ну так как насчет твоих стихов?

— Вы и вправду хотите их послушать?

— Читай, я скажу тебе после того, как их услышу.

— Но вы не поймете.

— Не дерзи, солдат.

— Я хотел сказать, что вы не поймете их потому, что я пишу не по-русски, они на идиш.

— Ну и что же, — сказала она, не моргнув глазом, — я понимаю идиш.

Да, она выучила идиш в детстве — ее дедушка и бабушка говорили с ней на идиш.

— А где они сейчас? — спросил я.

У нее потемнели глаза:

— Они были убиты.

— Когда?

— Я не знаю.

— Где?

— В Витебске.

И тут для меня исчезла белизна неба, пышные кроны деревьев, человеческий поток, несшийся к центру города. Я больше не видел всего этого. Я достал из кармана несколько листков и начал читать вслух. Она нетерпеливо перебила меня:

— Как все мрачно! Довольно. А более радостного у тебя ничего нет?

Я покачал головой. Я сердился, что дал уговорить себя. Уж очень она холодна и равнодушна была ко всему, чтобы понять поэзию. Я сложил листки со стихами и спрятал их обратно в карман.

— Поэты должны петь о любви, о родине или о том, и о другом, — сказала Раиса язвительно. — Почему ты не пишешь об этом?

Вот тебе и на! В результате она же еще и обижена, обманута в своих ожиданиях! Она резко встала:

— Пошли обратно.

Я как раз собирался просить ее об этом.

Прогулка утомила меня. Я не хотел больше ощущать тепло и си-

лу, которые исходили от ее тела, поэтому я пытался идти самостоятельно. Она оставила меня у дверей и ушла, не сказав ни слова. Я едва добрался до кровати, упал на нее в изнеможении, без единой мысли, и тут же заснул. Как поэт я явно неудачник, что же касается женщин, то и тут дела обстояли не лучше.

Раиса появилась снова во второй половине дня. Она потрясла меня за плечо:

— Проснись!

Я протер глаза и увидел ее, еще более сердитую, чем утром. Это “проснись” она прошипела сквозь плотно сжатые зубы, и я подумал про себя: “У, змея-блондинка”, а вслух сказал:

— Я устал, гулял слишком долго.

— Вставай.

Я поднялся и последовал за ней, влез в ее машину. Мы ехали минут десять, не больше, и перед нами вырос Майданек, окруженный колючей проволокой с прожекторными вышками, во всей своей безмятежности и леденящем ужасе.

— Раз тебя тянет на все ужасное, то давай, взгляни, дай пищу глазам.

Я вылез из машины, уверенный, что она пойдет со мной, но она поразила меня в очередной раз. Она бросила резкую команду шоферу, и тот тронулся с места. Через минуту машина была уже далеко, осталось только облако серо-белой пыли, напоминавшей человеческий прах.

Я пошел в Майданек. Я не стану рассказывать Вам, гражданин следователь, всего, что пережил, — это было бы почти неприлично. Скажу только одно: я забыл о своей усталости, болях, невзгодах, иллюзиях. Я забыл обо всем. Я ходил и ходил, часами, до самой ночи. Я зашел во все бараки, во все камеры; я трогал и гладил камни, прижимался к дверям, за которыми целый народ, мой народ, исчез в облаке огня. Нет, я не стану пересказывать историю Майданека, другие сделали это до меня. Пусть слова тех, кто выжил здесь, живут и звучат вечно. У меня нет желания перебивать их своими. Но позвольте мне сказать еще кое-что: я почувствовал желание упокоиться там. Навсегда. Я испытал желание остаться с невидимыми мертвыми и разбить себе голову о стены, о потолок, как это делали они, вдохнуть воздух, которого уже нет, погresti себя в безумие, шепча и плача, проклиная и молясь, и повторяя про себя: все это ложь, они не мертвы, а я не жив... Никогда прежде мне не хотелось с такой силой спрятаться от всего в безумие или в смерть, как в тот вечер в Майданеке.

Сжавшись в комок, я лежал на боку возле одного из барачков, как бы в окружении теней бывших его обитателей, и слышал то стоны, то крики ужаса, пронесившиеся мимо вместе с ночной дымкой; я видел детей, прижавшихся к матерям, я ловил их безмолвие, уне-

сенное вечностью, мертвой, замаранной вечностью. И я клялся никогда не покидать их.

Я был совсем один — никогда прежде не был я так одинок. И все-таки со мной был кто-то, старавшийся утешить. Он шептал мне:

— Не оставайся здесь, возвращайся к живым.

И снова, минутой позже:

— Раиса права, тебя тянет ко всякой жути.

И потом опять, после недолгого молчания:

— Раиса молода и красива, тебе она нравится, чего же тебе еще?

Будь с ней, люби ее.

— Не говори о невозможном, — отвечал я ему. — Да и потом, сейчас не время и не место.

— Ты не прав, именно сейчас и здесь ты должен преодолеть этот зов бездны, потому что здесь бездна глубже и чернее, чем везде.

Я узнал его голос. Я хотел подчиниться ему, принять его совет, но был не в состоянии сделать это. Я только что увидел правду правд, я видел предсмертные судороги человека, и немыслимо было отвернуться от них. Мне должно было следовать за ним за пределы лагеря и настоящего, за ним, в небеса, весь путь до Небесного трона, где молчаливый могильщик взывал шепотом к Богу:

— Мальчиком я был верующим, потому что мне сказали, что нельзя называть Тебя по имени, так же как нельзя отрицать Тебя или возводить на Тебя хулу. Но только теперь я понял! Ты просто могильщик, Бог моих предков. Ты закапываешь Твой избранный народ в землю, совсем как я закапывал в землю солдат, павших на поле боя. Твоего народа больше не существует. Ты похоронил его. Уничтожили его другие, но Ты уложил его в невидимые, неизвестные могилы. Скажи мне, прочел Ты хотя бы Кадиш? Оплакал ли Ты его смерть?

Слова мои были встречены каменным молчанием. Господь предпочел не отвечать мне. Но хриплый голос моего прежнего спутника откликнулся во мне:

— Ты преувеличиваешь, друг мой, ты зашел слишком далеко. Бог — воскреситель, а не могильщик. Господь сохраняет и воскрешает узлы, которые связывают Его с твоим народом. Разве тебе этого недостаточно? Я жив и ты жив, чего же тебе еще?

— Нет, этого мне недостаточно!

— А чего ты хочешь? Скажи мне, чего ты хочешь.

— Спасения, — ответил я и поспешил добавить: — Здесь, на этом самом месте, я имею право потребовать и получить все. И я требую спасения.

— Этого же требую и я. Того же хочет и Господь, — сказал мой спутник.

Дрожа как в лихорадке и бредя, ведомый ангелами — прислуж-

никами смерти, я вернулся в госпиталь. Я достал свою тетрадь и во сне написал моему отцу обо всем, что видел.

Вернувшись домой и демобилизовавшись, я снова стал работать корректором в иностранном отделе Государственного издательства. Текли дни, серые и тоскливые, и ночи, длинные и одинокие. Меня ничего не интересовало, моя жизнь была мне отвратительна, хотя другим могла показаться завидной. Как ветеран войны, получивший ранения, награжденный орденом Красного Знамени, я пользовался разными полезными привилегиями: не надо было стоять в очереди на трамвай, можно было бесплатно ходить в кино и в зоопарк, кроме того, меня обеспечивали определенными продуктами. Я вернулся в ту же маленькую комнатку в квартире моей прежней хозяйки. Том моих стихов должен был вскоре выйти в Москве: Маркиш и Дер Нистер прочли его и горячо рекомендовали. Посещение Клуба еврейских писателей улучшило мое настроение, и я стал бывать там чаще. Я посещал собрания и лекции, организованные Антифашистским комитетом в честь еврейской интеллигенции — коммунистов или сочувствующих — из Европы и США. Я слушал писателей и поэтов, рассказывавших, над чем они работают. Мне нравился спектакль "Восстание Бар Кохбы", поставленный Михозлсом в его театре. Короче говоря, я всеми силами старался вернуться к прежней жизни, убеждая себя, что убийца не выиграл в игре и что могильщик во мне может уже покинуть кладбище, что еврейский народ все еще жив, даже если вся моя семья погибла. Но, чтобы восстановить хотя бы былое равновесие души, если уж не энтузиазм, мне чего-то или кого-то недоставало — мне нужна была Раиса. Именно в ней я нуждался.

Одним сентябрьским утром, по дороге на работу, я остановился перед витриной магазина неподалеку от гостиницы "Националь". Я собирался купить себе зимнее пальто, но колебался. Дело в том, что я образцовый покупатель: продавец может всучить мне все, что угодно. Я никогда не возражаю, не торгуюсь, беру и плачу, хотя и знаю заранее, что никогда не надену то, что купил.

Я как раз решил, что не буду заходить, когда увидел в магазине женщину, отдающую распоряжения продавщицам. Пораженный, я рывком открыл дверь.

— Слушаю вас, товарищ, — обратилась ко мне полная молодая продавщица.

Но я прошел мимо нее и, сняв свою армейскую фуражку, остановился перед Раисой.

— Как, это ты? — вскричала она и тепло пожала мне руку. — Как живешь, мой поэт ужасов?

Не обращая внимания на сослуживцев и покупателей, которые искоса на нас поглядывали, она повела меня в служебную комнату, чтобы

мы могли свободно поговорить. Раиса изменилась. Без формы она выглядела еще более женственной и чувственной. Светлые волосы собраны в пучок, глаза холодные и блестящие. В ней была, как говорится, изюминка. Что-то, чем она выделялась из толпы. Вне всякого сомнения. Мы условились встретиться после закрытия магазина, пообедать в Клубе писателей, а потом — в театр, смотреть Михозлса в “Короле Лире”.

— Если это покажется грустным, мы уйдем, — пообещал я.

Подогревать любовь и суп вообще не рекомендуется. И это абсолютно верно. Но я очень легко загораюсь. Такой уж я есть, и ничего тут не поделаешь. Достаточно женщине проявить ко мне симпатию, как кровь во мне закипает. Когда мне улыбается незнакомка, я вспыхиваю как мальчишка и тут же наделяю ее всяческими добродетелями. Я так хорошо знаю все свои недостатки, что всегда благодарен женщине, которую они не отталкивают; в ответ я готов подарить ей луну. О, я знаю, это просто один из тех комплексов, которые я таскаю за собой еще со времен Лиянова и Краснограда; просто я все тот же ученик, штудирующий Талмуд и отказывающийся от освобождения. Что касается Раисы, то после нашей третьей встречи я был готов сделать предложение. И я сделал его. Она не казалась удивленной.

— Ты уверен, что любишь меня?

— Уверен, Раиса, уж в одном, по крайней мере, поэт может быть уверен — в своей любви. А ты? Ты любишь меня, хоть немного?

Ответ ее прозвучал странно:

— Если бы только мои родители видели меня сейчас...

— Твои родители?

Глаза ее затуманились. Она посмотрела на меня не видя.

— Палтиель Коссовер, еврейский поэт, — сказала она. — Когда ты не наводишь на меня тоску, ты забавляешь меня.

И в подтверждение этого она три раза подряд пошла со мной в еврейский театр, где именно на той неделе давали какую-то многословную, но патристическую мерзость. Она просила меня читать и перечитывать мои стихи и делала довольно разумные замечания, хотя и посмеивалась над моей угрюмостью. Она предсказывала мне более блестящее будущее как поэту, чем как мужу. Польщенный, вдохновленный, я жил только для Раисы. Она же, хотя так и не сказала, что любит меня, приняла мое предложение. Мы заполнили массу всяких анкет и отправились в ЗАГС с Менделевичем и его женой в качестве свидетелей. Чиновник выпятил грудь и объявил нас мужем и женой. Брачная церемония не продлилась и пяти минут.

— Если бы мои бедные родители могли видеть меня, — пробормотала Раиса.

Я тоже думал о своих родителях, но ничего не сказал.

Менделевич пригласил нас в ресторан. Раиса улыбалась, хотя в ее улыбке крылась насмешка. Мне было трудно справиться со своей



грустью. Я думал о тех, кого не было с нами: об отце, матери, сестрах, о моих дядях, учителях, друзьях. Я думал о Лиянове. Если бы только свадьба была там... Я представлял себе всю церемонию, сине-пурпурную шелковую хупу, свечи, раввина, скрипачей, речь, которую я должен был бы произнести. Здесь же вся церемония свелась к еде в ресторане, посещаемом в основном художниками. Обед был обильным, запивался водкой и — ради особого случая — крымским шампанским. Менделевич развлекал нас рассказами из жизни театра, Раиса хлопала ему.

Я молчал, вспоминал нашу древнюю традицию: жених-сирота должен был пойти на кладбище, чтобы пригласить своих покойных родителей на свадьбу. Но как я мог это сделать? Лиянов был так далеко, да и во всех случаях Раиса не поняла бы этого. Она бы сказала: "Зачем тебе кладбище? У тебя только одно сердце. Прочти свою короткую молитву, и переступи через это".

— Почему вы так грустны? — спросила меня жена Менделевича.

— Такова традиция, — ответил за меня Менделевич. — Пары должны быть печальны в день своей свадьбы: они разбивают бокал и посыпают себе лоб пеплом в память о разрушении Храма. Это, конечно, театрально, но очень трогательно.

— Что? — воскликнула его жена. — Палтиель грустен из-за прошлого?

— Конечно же нет, — вступила Раиса. — Он печалится о будущем... сам того не ведая.

Вот когда я понял, каким-то шестым чувством, что счастливы мы не будем.

Сегодня, когда я пишу эти строки здесь, где все кажется таким ясным и понятным, я вижу, что и Раиса знала это, даже раньше меня. Тогда зачем же она вышла за меня замуж? Привлекательная, образованная, с таким партийным прошлым, как у нее, она не испытывала недостатка в поклонниках и, конечно, могла найти себе лучшего мужа, чем я. Позднее я узнал, что был ей нужен для изгнания ее собственных бесов.

Она была помолвлена до войны. Но ее отец воспротивился этому замужеству — Анатолий не был евреем. Мать плакала, а Раиса гневалась:

— Да, он не еврей, не еврей, ну и что? Я — еврейка, но мне наплевать на это!

— Раиса, вспомни, — молил ее отец.

— Кого вспомнить? Оставь меня со своими воспоминаниями, я хочу жить своей жизнью, а не по-твоему.

В конце концов она порвала с родителями и переехала к Анатолию. Их разлучила война. Анатолий погиб в Минске, и боль Раисы обернулась яростью. Она ненавидела своих родителей, потом всех евреев. Если бы не они, она бы вышла замуж за Анатолия, у них были

бы дети, они бы жили счастливо... И здесь, в армии, евреи были ей невыносимы, и если уж приходилось с ними общаться, то она всячески их задирала, чтобы наказать своих родителей. Перемена в ней наступила после того, как она узнала об избиении в Витебске: все члены ее семьи были похоронены заживо. С того самого момента новое чувство — вины — влекло ее к евреям, и ко мне. Надеялась ли она умиротворить таким образом своих покойных родителей? Знала ли она, что, наказывая себя, она заставляла страдать меня? Но — простите, гражданин следователь, — давайте перевернем тему. Моя личная жизнь — это мое дело.

День нашей свадьбы пролетел мгновенно. Вечером мы пошли в театр смотреть Менделевича в пьесе Шолом-Алейхема. Наш друг и покровитель умудрился вставить в текст своей роли строчку, адресованную только нам двоим: "Мазал тов, удачи, наилучшие пожелания молодоженам". Она не имела никакого отношения к пьесе, но доставила нам удовольствие, а публика ничего не заметила.

После спектакля мы пошли в уборную к Менделевичу поблагодарить его. Он рассмеялся:

— Вы видели, они ничего не заметили. Я мог говорить что пожелаю. К счастью, Шолом-Алейхема уже нет в живых.

Мы пошли домой, к Раисе. И там, в ее мире, среди ее вещей, в ее постели, я в свою первую брачную ночь потерпел фиаско. Рассеянная Раиса не была даже обижена. Она быстро заснула, а я лежал без сна, строя планы, мечтая без разбору о тысяче различных вариантов нашей будущей жизни. Мне нужно было принять несколько решений. Гальперин, деревенский поэт, с голосом младенца, предложил мне перевести на французский его кантату о войне, с условием, что я вступлю в партию. Я обсудил это с Раисой, которая настойчиво советовала мне соглашаться. И действительно, почему нет? СССР разбил Гитлера, и дорогой ценой. Красная армия освободила Майданек и Освенцим. Почему не показать, что я благодарен? К тому же, в памяти всплывали мои старинные дружеские связи: Инга, Трауб, Эфраим... Правда, были еще и Яша, Поль Гамбургер, чистки и исчезновения... Но ведь история состоит из многих глав.

Я решил вступить в партию.

Сборник моих стихов вышел в свет в 1946 году. Его приняли с оговорками. Некоторые критики хвалили, другие уничтожительно ругали, не поняв в нем ни строчки. Должен признаться, что я сделал все, чтобы привести их в смятение. Сборник был назван "Я видел во сне своего отца", но ни в одном стихотворении отец не упоминался — в последнюю минуту я вдруг решил исключить стихотворение, являвшее собой некое лирико-мистическое видение похоронной процессии, возглавляемой моим отцом. Я спрашивал его, куда он направляется, но он не отвечал мне. Я дал процессии пройти и последовал за ней на

расстоянии. И вот мы идем, идем и молчим. Я слышу, как кто-то обращается ко мне, но не знаю кто. Он говорит со мной, но я знаю, что мне запрещено спрашивать, кто он. Я смотрю прямо перед собой и никого не вижу, потом опускаю глаза и вижу маленького мальчика, который растет у меня на глазах. Он машет мне рукой; я узнаю его; он вопрошает меня молча, без единого слова, и я понимаю, что и раньше ко мне взывало его молчание. Он спрашивает меня, даже не глядя в мою сторону: "Во что ты превратил меня?" Позади него появляется мой отец и тоже, указывая на меня, спрашивает: "Что ты сделал со мной?" И весь сборник моих стихов будет им ответом.

Зачем же я изъял это первое стихотворение? Я боялся огорчить и шокировать коммунистического читателя.

В общем и целом, мне не на что было пожаловаться. Маркиш щедрой рукой устроил вечер в мою честь. Критик из "Известий", приглашенный Менделевичем, написал короткую, но хвалебную колонку обо мне. Ходили даже слухи, что обзор книги и вечера появится в "Литературной газете". Поэтому у меня были все на свете основания быть счастливым, и я был им, насколько это было возможно. Наше материальное положение улучшалось. Иностраннный отдел Государственного издательства поручил мне перевод Фефера на французский и Золя — на идиш. Второе издание сборника моих стихотворений было уже в работе, и меня просили составить еще один сборник. Моя статья в "Правде" о поэтическом воплощении идей Ленина вызвала значительный интерес. Короче, я становился знаменитостью.

И, пожалуй, мне нравилась слава. Не только из-за материальных благ, какие она сулила мне: более просторную квартиру, выступления для массовой аудитории, лекции в колхозах, приглашения на официальные и частные обеды для избранных, — но также и властью, которую она мне давала. Вдруг мои суждения и поступки обрели вес, значимость.

Теперь меня сделали главным рецензентом иностранного отдела Государственного издательства, и я писал отчеты для всемогущей Идеологической Комиссии. Рукописи, проекты, корректуры, лекционные заметки, рецензии — я тонул в бумажной работе. Мои начальники отмечали мой хороший литературный вкус и политическое чутье, они принимали мои рекомендации, — одним словом, я делал как раз то, чего они от меня хотели.

За пределами же моего непосредственного окружения меня далеко не так ценили. Люди льстили мне, лгали мне, говорили комплименты, но не любили меня и завидовали мне. Арк Гелис вел против меня закулисную кампанию, напирая на мое религиозное детство. Со своей стороны, я был против опубликования его откровенно бездарного романа о гражданской войне. Но ему удалось найти людей, более влиятельных, чем я, которые высказались в его пользу, и Комиссия не по-

считалась с моим мнением — роман был издан с большой помпой.

С другой стороны, я смог выступить в поддержку старого Аврума Залмена. Он был арестован за то, что в пьяном виде прочел литанию, посвященную памяти царя Саула, величайшего и самого милостивого из царей, потому что у него хватало мужества не предавать смерти своих врагов. Обвиненный по доносу Арка Гелиса в том, что тем самым он позволил себе оскорбительные намеки в адрес нашего бессмертного Иосифа Виссарионовича, Залмен был в большой опасности. Я помчался на прием к самому майору Карязину и сказал ему:

— Возможно, Аврум Залмен коммунист и посредственный, но поэт замечательный.

Оказалось, что дело было представлено на рассмотрение нашему любимому Вождю, который, как говорили, еще с семинарских дней испытывал особую симпатию к несчастному царю Саулу. Если верить слухам, он сам отдал приказ освободить моего безумца — старого певца Библии. Провал Гелиса усиливал мою радость.

— Видишь, — сказала мне Раиса, — партийный билет значит больше, чем материальные блага.

Однако в большинстве случаев он влек за собой всевозможные нагрузки и обязательства: идеологические заседания, политические собрания, лекции и подписание петиций — слушание, аплодисменты, голосование. Это было нетрудно — существовала генеральная линия, и я следовал ей без особых усилий — партия всегда права. Для меня, как и для многих других, она стала своеобразным религиозным орденом. Мне нужно было только вспомнить свою юность и заменить Закон или Бога партией. Таким путем я мог принять все без оговорок и колебаний. Невидимая, но вездесущая и трансцендентная, партия обладала истиной и ключами к будущему: ей было известно, куда ведут самые мучительные дороги, она знала все, что может составить счастье человека. Я изучал партийные материалы совсем так же, как давным давно одолевал премудрость "Трактата о Санхедрине", т. е. с абсолютной убежденностью, что найду в них все ответы на все вопросы. Я сказал бы даже, что мое религиозное образование помогало мне ориентироваться в этой новой вере: в толковании и послушании я преуспел куда больше самых ортодоксальных марксистов.

Менделевич, хоть и сам был коммунистом, считал, однако, мое рвение неофита преувеличенным.

— Не забывай, — сказал он мне однажды, — что ты прежде всего еврейский поэт.

Он не добавил, что моя причастность к коммунизму носит вторичный характер, но именно это он имел в виду. Я же был слишком занят, чтобы задумываться над этим.

Дер Нистер, я думаю, принимал меня с оговорками; он считал меня чем-то вроде оппортуниста. Мне это было обидно, и я искал случая

сказать ему о своем к нему отношении, но эта возможность так и не представилась. Я сожалею об этом. Я уважал в нем человека и высоко ценил его творчество; его мнение обо мне значило для меня очень много. Должен признать, что я часто думаю: а если бы наш разговор состоялся, что бы я сказал ему? Наверное, чтонибудь в таком роде:

— После того как моя семья погибла в вагонах для скота; после того как я порвал с религией моих отцов и понял, на что способен нацизм; после того как я ускользнул от тысячи врагов и увидел то, что увидел в остекляневших глазах моих трупов, — я нашел в коммунистической революции идеал, который меня удовлетворяет. Я делаю полезную работу и делаю ее как еврей. Я реализую себя как человека и как еврея. Если бы, как в начале тридцатых годов в Германии, партия сказала мне, что для того, чтобы быть коммунистом, я должен перестать быть евреем, это вызвало бы у меня протест. Но в 1947 году в Советской России все обстоит иначе. Партия создала Антифашистский комитет, клубы еврейских писателей и художников, послала еврейских поэтов в Америку. Михоэлс принадлежит к числу наиболее почитаемых и заслуженных артистов СССР, Фефер получил высшие награды, Маркишу поклоняется вся интеллигенция, и даже мои собственные сочинения появляются в престижных сборниках Союза писателей. Совершенно очевидно, что можно быть евреем и коммунистом в то же время. В иностранной политике тоже наметились благоприятные моменты. Москва поддержала жалобы палестинских евреев и выступила в их защиту на заседаниях Объединенных Наций. Речи Громыко носили более сионистский характер, чем выступления самих сионистов. Говорят даже, что мы посылаем оружие подпольной еврейской армии. Почему же я должен оставаться в стороне, ни в чем не участвовать и быть бесполезным?

Вот что я попытался бы объяснить писателю, которому я поклонялся. Но мы никогда не оставались с ним вдвоем. У меня создавалось впечатление, что он избегал меня. Это меня огорчало, но я, опять-таки, был слишком занят, чтобы предпринимать что-либо. Возглавляя целый отдел и будучи жертвой собственной славы, я работал как лошадь. Я писал и заставлял писать других. Я готовил к печати свой второй сборник: эпическую поэму о еврее-революционере, ставшем партизаном во время оккупации. Спал я мало и плохо. Рассвет заставал меня за письменным столом.

Раиса дразнила меня: "Что ты хочешь доказать? Что ты лучший коммунист, чем я?" Она меня не понимала, она не разглядела моего расцвета. Моя книга была уже в типографии. Ее выход был намечен на весну 1949 года. Гальперин, полный, как всегда, энтузиазма, уже говорил об официальном вечере, с приглашением львов еврейской литературы. Михоэлс был готов предоставить в наше распоряжение свой театр; Зускин, конечно же, не станет возражать. Но возражал

я: "Немного преждевременно, право же. Книга еще не вышла, зима еще не кончилась, давайте подождем..."

Еще один — последний — раз у меня возникло предчувствие: что-то должно случиться. И вот что случилось: Михоэлс погиб в таинственной автомобильной катастрофе в Минске. Странно, когда я услышал о случившемся, у себя в кабинете, в памяти всплыла строка из Талмуда: "Смерть праведника означает, что человечество созрело для сурового наказания". Я побежал в еврейский театр. Толпы друзей, приятелей, знакомых и незнакомых уже собрались там. Некоторые плачут, не таясь.

Уже нет сомнения, произойдет что-нибудь страшное. После похорон — торжественных, памятных, незабываемых — запущенный в работу механизм начал набирать темп. События разворачивались стремительно. Сначала распустили Антифашистский комитет, потом закрыли еврейский театр, из газет исчезли определенные фамилии. Потом наступила очередь кампании против сионистов и космополитов. Мои друзья начали избегать общественных мест. Перестали приходить приглашения. Я проводил все свободное время дома, с Раисой. Когда я пытался вместе с ней анализировать ситуацию, она уклонялась.

— Что ты думаешь обо всем этом? — спрашивал я.

— Сиди тихо. У тебя есть работа, у меня тоже. А об остальном забудь.

Она снова обрела капитанский тон.

Однажды по дороге в типографию я увидел на улице Гальперина, его медленный шаг и сгорбленная спина навели на меня грусть. Когда я подошел к дверям типографии, испуганные рабочие делали мне знаки не входить. "Но что происходит?" Старик Мелех Геллер, на деле совсем не старый человек, показал мне на двери наборного цеха. Я открыл дверь: дюжина агентов в штатском и милиционеров молча и грубо открывали один ящик за другим, вынимая все рукописи и книги, разбивали молотками, рассыпали уже набранные страницы, в том числе и моей книги. Когда они завершили свой погром нового типа, то ушли, не сказав ни слова, и унесли с собой целые комплекты матриц.

Сначала я был ошарашен и растерян, потом почувствовал себя больным. Колющая боль в груди напомнила мне о состоянии моего сердца. Я проглотил таблетки без воды. Боль притупилась, но я чувствовал такую слабость, что боялся потерять сознание. Я сел, глядя на рабочих, которые ждали от меня какого-нибудь объяснения. Если все эти типографские планы прошли идеологическую цензуру, то как милиция могла саботировать ее решения? Когда боль стихла, я побежал в свой кабинет и позвонил в ЦК инспектору по делам культуры. Его не было на месте, не было и заместителя, а секретарь был занят. Мой друг, редактор "Известий", был в отъезде. Майору Карязину невозможно было дозвониться, а его помощник ничего не знал.

Всего этого было достаточно, чтобы сойти с ума. Я не мог представить себе, чтобы партия заклеила целую культуру, отвергла и зачеркнула литературу целого народа. А как же с книгами, переведенными с русского? А третий том собрания сочинений Ленина? А эссе во славу Иосифа Виссариновича пера юного Грабодкина? Зачем понадобилось, чтобы и они тоже исчезли? Этого не знал никто. Борьба с дурными людьми, подрывными идеями, публикациями уклонистов — такова уж природа политической схватки. Но сражаться с языком? Зачем нападать на язык? Кому понадобилось истреблять идиш? Загадка загадок.

Разумеется, я пытался рассуждать рационально: может быть, партия ничего не знает. Если же знает, то тогда я не вижу логики в ее действиях, что отнюдь не означает, что они несправедливы и не вызваны необходимостью. Партию надо принимать целиком. Подвергать ее сомнениям, значит отмежевываться от нее и тем самым осуждать ее, отвергать ее. Вера! Человеку необходимо иметь веру. Сомнения запрещены. Повторяя про себя эти доводы, я думал: "Но сейчас я был свидетелем моего второго погрома".

Я пришел домой раньше обычного. И Раиса тоже. На сердце у меня было тяжело и у нее тоже. Наконец мы пришли к взаимопониманию. Я рассказал ей о своем дне.

— Все гораздо хуже, чем ты думаешь, — сказала она после минутного молчания.

— Объясни.

— Не могу. Просто поверь мне на слово. Все очень серьезно. Помни, что я вступила в партию задолго до тебя. И выполняла в ней более важные функции, чем ты. Мои источники надежны...

Она была подавлена, пришиблена. Никогда прежде я не видел ее такой.

— Что ты предлагаешь? — спросил я.

— Давай уедем, — сказала она решительно.

— Ты что, серьезно? Ты хочешь, чтобы мы оба бросили свою работу, вот так просто, под влиянием момента?

— Послушай, — сказала она. — Не надо спорить. Предоставь решать мне. Все только начинается. Самое лучшее быть как можно дальше отсюда. В тридцатых уцелели только те, кто жил далеко от Москвы и других больших городов.

Помимо отвращения, страха и боли я чувствовал еще любовь к Раисе. О да, я любил ее. Ее уравновешенность и сила воли, решительность и мужество сблизили меня с ней так же, как и в начале наших отношений. Была ли тому причиной опасность? Но мы стали как одно целое.

— Слушай, ты болен, походи к своему врачу. Попроси отпуск по болезни. Жена поедет с тобой.

— Но куда же мы поедем?

Она думала, широко раскрыв глаза, как она часто делала.

— Мы поедem в Красноград. Это в горах, далеко отсюда. Маленькое местечко, как раз то, что нам нужно.

Я уже не помню почему, но я обнял ее; я уже не помню почему, но она обняла меня в ответ.

События дня изнурили меня. Я не могу сейчас отчетливо воспроизвести их. Рейд милиции, телефонные звонки в никуда, предостережения Раисы. Что все это было? Мы прошли войну — и какую войну! — чтобы кончить ее вот так? Мукой? Бегством?

Мы легли, не поев, как будто искали в постели укрытия. И тут Раиса опять поразила меня. Не дожидаясь моего первого шага, она прильнула ко мне и была ласковой, нежной, полной желаний. Предвидела ли она нашу разлуку? Она тесно прижималась ко мне, и наслаждение мое было так сильно, что даже причиняло боль.

Возвращение в Красноград прошло без осложнений. С медицинской справкой в кармане я получил нужные разрешения. К счастью, наша бюрократия оказалась менее эффективной, чем это принято думать. Вопрос с жильем решился легко. После массовых арестов не было недостатка в пустых квартирах.

Рассказывать о моих возобновленных контактах с родным городом значило бы возвращаться к детству, а это я уже проделал. И все-таки, я чувствовал себя в нем чужим. Улицы, здания, парки, неужели они изменились? Я не узнавал их. Дом моего отца, например, он больше не был моим, никогда не был моим. Я предпочел не видеть его больше. Пропал, умер дом моего отца. Умер город моего детства. Барассы далеко отсюда. Красноград не имеет ничего общего с моим детством в изгнании.

Будучи официально инвалидом, я не мог искать работу, но Раиса могла. Ее зарплата позволила нам прокормиться в течение нескольких месяцев — всего нескольких месяцев, потому что Раиса готовилась стать матерью.

Откровенно говоря, я пытался убедить ее сделать аборт.

— Рожать ребенка теперь? Откуда ты знаешь, где я буду завтра? А что если мы оба будем арестованы? Но даже если нас пощадят, ты считаешь, что мир стоит того, чтобы дарить ему еще одного еврея?

Но она стояла на своем. Она твердо решила иметь ребенка, мои доводы не производили на нее никакого впечатления. Я понял, что почти не знал ее. Я знал о ней только то, что относилось к периоду нашей совместной жизни. Мои постоянные вопросы о ее юности в Витебске, о ее родителях, о ее прошлых увлечениях казались ей надоедливыми. Ее скрытность мучила меня.

Ожидание беды и нервозность не проходили. Когда же они придут и постучат в дверь? Совсем как в испанскую войну, и потом у нас на



фронте, я все время ждал своей персональной пули. Но там все было иначе: я знал, что я в опасности, но невинен. А здесь... здесь я был в опасности и так же невинен, но если там никто ни в чем и не обвинял меня, никто не ставил мне западни, то здесь... здесь, зная, что мне приписывают вину, я и вел себя как виновный. Я ходил по комнате, уже заложив руки за спину, как осужденный.

По ночам я лежал без сна, прислушиваясь к шуму на улице и на лестничной площадке... я задерживал дыхание. Будить Раису? Но шаги удалялись... Я снова начинал дышать. До следующего подозрительного шума.

Раиса не работала уже месяц — была в декретном отпуске. Хозяйка, видя ее поднимавшейся или спускавшейся по лестнице, бормотала вслед: "Бедняжка, бедняжка!" Позднее, когда она видела нас уже с ребенком, она бормотала: "Бедняги, бедняги!"

У себя в комнате я разглядывал своего ребенка — мальчика, названного именем моего отца, Гершоном, — и сердце мое млело. Я был в ответе за его будущее; оно, как я понимал, будет полно туч и печали. Буду ли я еще здесь, чтобы научить его ходить, как научил меня мой отец? Кто обучит его первым словам, первым песням, именам птиц и цветов? Кто укроет его от злого глаза? Я гладил его маленькую лысую головку, целовал в мокрый лобик и шептал: "Да пребудет Господь с тобой, мой сын. И с тобой, мой отец".

Я из-под земли достал — не скажу где и как — мохеля, который сделал моему сыну обрезание. Произнося молитву завета, я плакал. Мой сын у меня на руках смотрел на меня молча, и я молча пожелал ему познать радость. Когда мохель произнес имя моего отца, я разрыдался.

Я не посоветовался с Раисой и опасался взрыва ярости. Но она снова удивила меня. В ее синих глазах не было больше холода:

— Ему предстоят страдания, — сказала она, покачивая головой с нежностью. — Да, он будет страдать, это неизбежно, но хоть будет знать за что.

Тем временем петля затягивалась. Из Москвы пришли ужасающие вести: Маркиш и Бергельсон, Дер Нистер и Квитко были арестованы. Эмболия скосила Менделевича. Я сел в поезд и отправился отдать ему последний долг. Ни одного из наших общих друзей не было на похоронах. Старый Аврум Залмен был помещен в психиатрическую больницу после того, как в ресторане начал вдруг кричать, что он двоюродный брат царя Давида: "Саул, убей меня, убей меня!"

Подходила и моя очередь, я чувствовал это. Тюрьма, безумие, смерть. Разлука. Я смотрел на сына, который, казалось, улыбался мне. Я смотрел на него и улыбался ему.

Я не мог понять, почему я все еще на свободе. Я знал, что был под надзором, но почему мне было позволено продолжать вести жизнь отца

мужа, хоть и в добровольной ссылке, — вместо того, чтобы заставить разделить судьбу моих коллег?

Самим ожиданием несчастья я как бы накликал его. А что если заявить самому в милицию? Покажу свои стихи и скажу:

— Вот свидетельство моей виновности, арестуйте меня.

Я уже и не знал, что делать. Страх тюрьмы был еще хуже, чем сама тюрьма. Наедине с Гришей — мы дали ему это уменьшительное имя на второй день после рождения — я рассказывал ему сказки на идиш, пел ему колыбельные песни, которые обычно пела мне мать. Раиса снова пошла на работу, а я оставался с малышом. Открывая вечером дверь и видя меня в комнате, она облегченно вздыхала: меня еще не взяли. Мы предусмотрели все варианты: если за мной придут днем, то хозяйка присмотрит за Гришей до возвращения Раисы.

Она казалась спокойнее меня. Она заставляла себя быть уравновешенной и спокойной, но я чувствовал, как она подавлена. Она знала больше об опасности, которая ожидала нас. Она никогда не улыбалась, кроме как играя с Гришей. Она, бывало, взглядывала на меня так, что выдержать этот взгляд было нестерпимо больно. Загнанный, я искал спасения в глазах своего сына, как когда-то в глазах своего отца.

Чтобы убить время, дежуря у кровати спящего Гриши, я перечитывал и переписывал свои заметки, стихи, афоризмы. Приводил в порядок свои книги и вещи. Однажды на дне ящика я нашел свои филактерии и, дотронувшись до них, задрожал. Если бы только они могли говорить, подумал я. Уже в следующую секунду я вынул их из мешочка, поцеловал и навязал на левую руку и на лоб, как привык делать это в Доме учения в Лянове. Все ритуалы вдруг всплыли в памяти.

Смешно, конечно, но я почувствовал себя спокойнее. Прежде чем снять их, я склонился над колыбелью. Мой сын спал, но я был уверен, что он видит меня сквозь сомкнутые веки.

За обедом я описал эту сцену Раисе и посмеялся над собой.

— Видишь, я снова ударился в религию. Старею.

— А знаешь, верующие люди — самые сильные и лучше всех умеют противостоять давлению, — ответила она, глядя на меня своими большими глазами.

Я смотрел на нее пораженный. Не ослышался ли я? Она поощряла меня вернуться к вере...

— А ты знаешь историю о рабби Шнеур-Залмане из Лиозны?

— Ты все шутишь. Раввины — твоё царство, твои владения.

— В тюрьму к нему пришел прокурор, некоторые говорят — сам царь, и он внушил им такое уважение к себе, такой благоговейный страх, что они решили освободить его. А хасидская традиция отмечает особо, что когда он принимал своих августейших гостей, на нем были филактерии.

— Очень хорошо, — сказала Раиса, делая вид, что рассказ позаба-

вил ее, — если это тебе поможет, я не возражаю.

На следующий день я снова навязал филактерии, но в этот раз еще до того, как Гриша заснул. Он тянул с меня ремешки, и это наполняло мое сердце радостью.

В этот вечер мы, как всегда, легли только после того, как укачали сына. Я пел ему старинные мелодии, баюкая, и он требовал новых. Я провел тревожную ночь. Во сне я бежал, задыхаясь, чтобы спасти маленькую белокурую девочку, которая тонула, но в то же самое время готова была вот-вот упасть с высокой башни. Я проснулся весь в испарине. Это было перед самым рассветом, перед тем, как в дверь коротко и вежливо постучали.

Одна забота мучила меня — забота о моем сыне и о моем отце. одно желание — защитить их. Меня охватило раскаяние, меня мучили угрызения совести: я прожил жизнь, не сумев помочь ни тому, ни другому. И мне было страшно: что я мог сказать в свое оправдание, если бы они оба осудили меня за это?

В тюрьме я только однажды впал в панику, испытал кошмарный страх. Под пыткой? О, нет. Побои причиняли мне боль, но я держался на удивление хорошо. Больно было моему телу, но не мне, меня не было в моем теле. Из глаз бежали слезы, но и они не были моими. Я же видел оливковые деревья, миндальные деревья, а вовсе не пытки; я слушал своих учителей, а вовсе не Вас, гражданин следователь. Давид Абулесия рассказывал мне о результатах его мессианских стараний, Эфраим развлекал меня своими подпольными приключениями. Инга скользила по улицам Берлина, а я сопровождал ее, чтобы вырвать из рук наших врагов. Ахува влекла меня экзотической своей красотой. Все они оказали мне могучую поддержку, они помогли мне избежать не одного соблазна, а самое главное — покорности.

Пытки рвали на части мое тело, но мой разум оставался свободным. Я кричал, но никого не выдал. Нравственные пытки были мучительнее. Мне постоянно повторяли, что я враг всего чистого и справедливого, что мои боги служат дьяволу, что моя любовь к евреям лишь маска для моей уродливой ненависти к человеку, что мой идеализм лжив и лицемерен, что добро было для меня злом, а зло добром и что я посвятил свою жизнь единственной цели — измене, предательству. Меня заставляли читать показания и устраивали очные ставки с их авторами, жалкими, несчастными свидетелями, которые, донося на меня, доносили сами на себя, и наоборот. Ох, все эти подозрения и все ссылки на мои "преступные" связи с Полем Гамбургером, Яшей и их друзьями, простите, сообщниками. Итак, я знал в жизни только одних предателей, доносчиков, двуличных друзей. Я никогда не стал бы членом партии, если бы не намерение уничтожить ее изнутри, разложить ее в союзе с агентами империализма. Я не поехал бы и в Берлин, если бы не намере-

ние выдать коммунистов гестапо, а в Испанию — если бы не желание помогать троцкистам. Мне обещали свободу, если я впутаю во все это Бергельсона и Дер Нистера... Но как только я слабел и был близок к тому, чтобы сдаться, во сне мне являлся отец и спасал меня от этого. А мой сын...

Меня повезли домой на так называемый обыск. Поднимаясь по лестнице в наручниках, я приготовился к Божьей каре. Про себя я молил о смерти. Как романтический школьник я просил мое больное сердце разорваться. Перед дверью я дрожал от страха. Меня втолкнули в комнату, где свет, хоть и был тусклым, ослепил меня.

Испуганная — или потрясенная? — Раиса, что было так на нее непохоже, отступила, чтобы дать мне пройти. Гриша с полу удивленно смотрел на меня — он не узнал бородатого сгорбленного мужчину, который сжимал челюсти, сглатывал слюну, скрипел зубами, как старый маразматик. К счастью, я услышал голос, который был слышен только мне одному. Он шептал мне в ухо, чтобы я поднял глаза, и я их поднял; чтобы я улыбался — и я улыбнулся; чтобы выглядел беззаботно — и я старался, но знаю, что не сумел. Благодаря этому голосу я смог взять себя в руки и перестал дергаться. "Образ, в котором ты предстанешь им сегодня, будет именно тот, что сохранится в их памяти после твоей смерти", — говорил мне тот же голос. И я внимательно следил за каждым движением своих век и рта. "Ну же, мой друг-поэт, — сказал мне Давид Абулесия, — будь сильным". — "Я стараюсь", — ответил я. Гриша, так же как и Раиса, и мои охранники, наблюдал за мной, а я болтал с Давидом Абулесией о наших с ним встречах во всех частях света!

Вернувшись в свою камеру, я свалился замертво. Оставшись наконец один, я превратился в ребенка, каким никогда не был, сиротой, каким перестану быть скоро. Я оплакивал своего отца, своего сына, свою жизнь и свою смерть. Кто выкопает мне могилу? Такова уж моя судьба — кончить жизнь неудачником. О нет, не смерть пугает меня, а невозможность придать хоть какой-нибудь смысл всему моему прошлому. А потом, я еще не умираю, пока нет: когда приблизится ангел смерти, я почувствую его дыхание, я уловлю черный свет из его бесчисленных глаз. Мне сорок два года, за которые мне пришлось познать так много вокруг и внутри себя. Вес мрака, тяжесть света. Пока эта исповедь не окончена, мне нечего бояться. Это уж я знаю. Мне еще нужно рассказать о допросах и объяснить свои решения, прошлые и настоящие. Который теперь час? Поздно. Мне надо кончать писать и говорить с самим собой, тем более, что я уже не один. Кто-то смотрит на меня и улыбается. Он сидит в противоположном углу, освещенный лучом солнца, руки его сжаты под коленями. Давид Абулесия (или это мой отец?) сонно глядит на меня. Как ему удалось войти? Но ничего уже не удивляет меня. Я считаю его присутствие естественным и принимаю

как должное. А если надзиратель откроет глазок и накажет нас? Я подавляю страх: надзиратель откроет глазок, но ничего не увидит. И это тоже я нахожу естественным, как и свою потребность говорить. Обычно такой скрытный, замкнутый, теперь я ощущаю потребность излить свое сердце. И это кажется мне нормальным. А что если это действительно враг, стукач, которому придали знакомые мне черты лица и обрядили защитником? Я доверяю ему, а может быть, зря? Я бы не должен понимать, а все-таки понимаю все. Я понимаю, что Давид Абулесия (или мой отец) пришел издалека (а далек ли этот мир иной?), чтобы побыть со мной, не оставлять меня здесь одного. Я понимаю также, что его присутствие знаменует что-то очень важное, уникальное, что должно насторожить меня. Но я не испытываю никакого страха. Я чувствую только глубокую печаль, всепоглощающую безутешную грусть, грусть Творения, принимающего своего Творца.

Я еще не умер, пока еще нет, но уже больше не живу. Я уже не увижу больше плывущих по небу туч, не вдохну свежесть ветра, не улыбнусь своему сыну. Но при этом я не чувствую ни огорчения, ни сожаления, не испытываю зависти. А только одно странное чувство жалости, сострадания, как будто я болен, умираю. Я люблю всех, кого вижу там, вдалеке, радостными и печальными; мне их жаль. Все они смертны, а ведут себя так, будто не знают этого. Мне бы хотелось утешить их, помочь им, спасти их. Мне бы хотелось рассказать им историю моей жизни.

Мой сокамерник встает и стоит, прислонившись к сырой грязной стене. Я остаюсь, съжившись, лежать на полу. Я продолжаю говорить с ним, хотя знаю, что это ни к чему — ему наперед известно все, что я скажу. И все-таки я говорю, потому что позже уже не смогу сделать этого. Если я буду молчать теперь, никто никогда не поймет того, что я видел и слышал; никто не узнает о моих последних предсмертных стихах и молитвах; никто не прочтет того, что я написал в эту самую минуту.

Странно: я не думаю о смерти, но вижу ангела, состоящего из одних глаз; он закрывает свои бесчисленные веки, и в камере становится темно. Завтра я попытаюсь понять все это.

Завтра я продолжу написание "Завещания Палтиеля Коссовера", я дополню его подробностями и сделаю его документом эпохи — опыт прошлого, описанный в нем, послужит предостережением на будущее.

Я расскажу Грише о том, чего еще никогда никому не говорил; я скажу ему, что...

— Я помню, — говорит Зупанев, почесывая голову, — я помню эту ночь яснее, чем все остальные, которые я провел, шпионя за ним и записывая каждое его слово. Все дело в том, ято я полюбил этого большого ребенка — твоего отца. Я буду тосковать по нему. Его голос, манера хмуриться, его короткие быстрые вздохи, его страницы, исписанные едва читаемым почерком... Как стану я жить без всего этого? Он стал частью моей жизни, этот дурачок, частью меня самого. Я так долго читал все его рассказы, что нашел в них место и для себя. Я с нетерпением ждал момента, когда прочту продолжение отдельных глав, чтобы узнать из них свое собственное будущее. А теперь... Ну да ладно.

Отец твой не знал, что это была его последняя ночь. Он не мог догадаться об этом. Даже сам следователь не имел об этом ни малейшего понятия. Как и все мы, следователь был удивлен телефонным звонком из Москвы. Одним коротким предложением Абакумов передал четкий и бесповоротный приказ: "Еврейский поэт Палтиель Коссовер должен быть расстрелян на рассвете". При мне следователь пытался возражать: "Но дело еще не закончено, товарищ министр, обвиняемый пишет свое признание. Он уже признался в некоторых преступлениях и указал на несколько нарушений закона. Я мог бы использовать их и предъявить обвинения другим подозреваемым. Нельзя ли подождать еще неделю или две?" "Нет", — сухо ответил Абакумов. "Но еще не было даже суда, даже на административном уровне..." — "На рассвете", — повторил Абакумов и повесил трубку.

Мы этого не знали, но тот же приказ в ту же ночь получили все следователи, которые в Москве, Харькове, Киеве и Ленинграде были ответственны за то, чтобы исторгнуть признания у Бергельсона, Квитко, Маркиша, Фефера и всех других еврейских писателей, поэтов и художников в Советском Союзе.

Приказ исходил от Сталина. В припадке безумия — боялся ли он умереть раньше них? — он решил ликвидировать их всех в одну ночь, в один и тот же час и одним и тем же способом.

Давай я расскажу тебе об этой ночи, Гриша. Придет и твой час рассказать о ней. Ты нем? Неважно! Мы используем твоё молчание для этой именно цели. Раз они не могут заставить тебя говорить, то ты станешь идеальным посланцем, каким был и я. Никто не заподозрит тебя, как никто не подозревал и меня. Не станешь же ты подозревать вечное перо, стол, лампу; никому не приходит в голову принимать всерьез стенографиста. Судьи и следователи — все были уничтожены их преемниками, а вот стенографистами пренебрегли. Никто не думал, что у нас может быть своя жизнь, собственная память, привязанности, раскаяние, собственные планы и намерения. И никто не усмотрит в тебе поверен-

ного и свидетеля жизни, которая так обогатила мою, наши жизни.

Так что ты будешь читать и перечитывать этот документ, чтобы запомнить его от начала до конца. А потом, далеко от этой земли, ты запишешь его на бумаге и тем самым выполнишь свою роль: заговоришь от имени твоего покойного отца.

Это решение я принял еще до того, как встретился с тобой. Я принял его однажды ночью, летом 1952 года, когда тебе еще не было и трех лет. Ты спал в комнате твоей матери, не ведая, что стал сиротой.

Той ночью я был так взволнован, что сделал то, что делаю очень редко — пошел гулять. Ночью Красноград неприятен. Пустынные улицы, потушенные огни. Как тюрьма, только побольше, с невидимыми надзирателями за темными унылыми фасадами домов. Каждое окно — это глазок, каждый звук — стон, крик ужаса. Сокамерники затаили дыхание, как в утро расстрела.

Я пошел через парк к реке, которая делит главную улицу на двое. Остановился. Стою тихо, слушаю. Река шумит. И, видно, я вызвал подозрение у милиционера. Он вдруг пристал ко мне: "Это не место для таких бродяг и бездельников, как ты. Иди домой! Давай сматывайся, а то отведу в отделение!" Разошелся, раскипятился, а я не делаю ничего, чтобы его успокоить. Парень взбесился: "Ты что, язык проглотил? Убирайся отсюда, пьянчуга! Пошел!" И вот тут я, очень спокойно, не торопясь, растягивая каждую секунду и усиливая его ярость, достаю свое удостоверение и показываю. Объяснять ничего не пришлось — парень все понял сам. Он вытянулся, встал по стойке смирно и начал лопотать извинения и выражать такую лакейскую готовность повиноваться, что меня затошнило. "Извините, я не знал, кто вы... Как я мог догадаться..." Я ушел, не дослушав. Я уже дошел до главной площади, но еще у кинотеатра слышал, как он продолжает извиняться. Смешно. Все они такие, жалкие негодяи. Но мне было не до смеха. Ужасная действительность возвращает мои мысли к твоему отцу: бедняга, вот в чьей жизни уж никак не найти смешного! Сомневаюсь, чтобы у него когда-нибудь была возможность наслаждаться жизнью, смеяться от всего сердца. Странно: я знаю всю его жизнь, но не знаю одного существенного момента — постиг он или так и не постиг искусство смеха. У меня появляется соблазн пойти к нему, вот так, незванным гостем, и сказать: "Послушай, дорогой поэт, тебя расстреляют утром. Я говорю это тебе, чтобы ты смог подготовиться. Иван, "джентльмен из четвертого подвала", уже получил соответствующее распоряжение. Скажи, ты не будешь возражать, если я задам тебе вопрос, который преследует меня с некоторых пор? Это касается тебя. Ты смеялся когда-нибудь? Я хочу сказать, смеялся ли по-настоящему? Душой и телом? То есть, всем

своим существом? В своем признании ты, видишь ли, не говоришь об этом, а это может означать две вещи: либо ты не говоришь об этом потому, что никогда так не смеялся, либо потому, что смеялся так много, что тебе не приходит в голову говорить об этом. Вот почему, понимаешь, я хотел бы..."

Но это было бы жестоко, правда? И я продолжал свое одинокое блуждание. Поэтому. Ну, ты понимаешь.

Ветер, шелестевший листвою, был слабым, но я дрожал. Во-первых, я очень чувствителен к холоду, и потом, перспектива увидеть твоего отца в последний рад не радовала меня. Знает ли он, что я присутствовал на допросах? Что я читал его "Завещание"? Что мне все известно о его любовных похождениях, его борьбе, сомнениях? Знает ли он вообще о моем существовании?

Ко мне подошел еще один милиционер, его явно вызвал первый, чтобы он сопровождал меня и в случае чего избавил от неприятных встреч. Мне бы лучше было отправиться домой и лечь в постель, но я не смог бы заснуть, я себя знаю. Я боялся, боялся... ну, ты знаешь чего. И вот я сажусь на скамейку, разглядываю Красноград глазами твоего отца, потом глазами ангела смерти, которого так хорошо описал твой отец. Человек умрет. Завтра.

Сегодня, скоро. Мое сердце забилося быстрее. Ах, как тяжело было у меня на сердце! Знали ли вы это, мужчины и женщины Краснограда? Что у стенографистов тоже есть сердца, и что мое переполнено. Твой отец, мой мальчик, будет стоять мне многих бессонных ночей, я чувствую это. Потому что я люблю твоего отца, а вместе с ним и тебя. Я решил изменить твою жизнь потому, что он изменил мою. И самое невероятное, что ему никогда не узнать об этом.

Да, мой мальчик, ту ночь я запомнил. Рассвет, как всегда в августе, зажег небо и сверкал на крышах и верхушках деревьев. В то же время, гора не отпускала ночь. Я был готов обратиться с мольбой к Богу — пусть длится ночь, Бог горы, пришли ее нам обратно и удержи солнце, держи его заложником и отдай нам назад тьму, пусть она снова покроет город своей тенью, пусть он проживет еще один день, еще одну жизнь. Под властью ночи "джентльмен из четвертого подвала" не встретится с еврейским поэтом, который... Ох, пустое, все это глупости, все бесполезно, я знаю.

В тюрьме было тихо, царило молчание. Но она проснулась. Уже? Ее обитатели — существа иного рода, они знают. Хотя Иван еще не получил никаких приказов, заключенные уже знают, какими они будут. В это утро они встали раньше положенного времени. В честь твоего отца? Знали ли они, что настал час твоего отца? Они просто чувствуют смерть, знают, что она близко, рядом, и это заставляет их проснуться. Смерть, а не Иван. Иван еще не приходил, не было и моего начальника. Было еще очень рано. Безумная надежда возникла у меня в голове — они не



придут, не придут. Вообще. Погибли в какой-нибудь катастрофе, может быть? Я нервенчал. Я был сам себе противен и хотел бы избавиться от себя. Умереть прежде, чем я стану свидетелем чужой смерти? Ну вот, я уже и брежу, мелю вздор, придумываю себе роль мученика. Со всем не в моем стиле. Кроме того, пришел начальник. Он был весь напряжен, угрюм. Не в себе. Неужели возможно, чтобы ведущий следователь тоже стал сентиментален? Нет, невозможно. Просто он раздражен, вот и все. Ему хотелось довести до конца свой процесс, и теперь он был в ярости. Он считал свою идею дать писателю высказаться, поощрить поэта к написанию воспоминаний, гениальной, и вдруг все полетело к черту. Это несправедливо и непрофессионально, если хотите знать его мнение. Конечно, он не мог догадаться обо всех нитях этого дела, он не знал, например, что Коссовер был только одним из многих в разных местах, которым тоже предстоял сегодня расстрел. Знай он, что приказ спущен с таких высот, он не посмел бы оспаривать его даже в мыслях. И уж наверняка не позволил бы себе пребывать в дурном настроении. Он взял дело, пролистал его, подписал отдельные документы — последние формальности, иными словами! Что подделаешь, он не согласен, но дело закрыто. Для него еврейский поэт Палтиель Гершонович Коссовер перестал существовать. Когда-нибудь другой следователь займет его место и будет подписывать те же формы, но уже по делу своего предшественника. Занятый этим процессом, мой начальник спросил меня, не отрывая головы от бумаг:

— Ты действительно хочешь пойти с Иваном?

— Да, товарищ следователь.

— Но для чего?

— Так, не знаю, но...

— Но что?..

— Ничего. Только я никогда не видел "джентльмена из четвертого подвала" в деле и я думал...

— Ты часом не страдаешь каким-нибудь извращением, дорогой мой Зупанев?

— Нет, просто любопытство, товарищ следователь...

И мой начальник пожал плечами и продолжал писать, не сказав больше ни слова. Я же не мог усидеть на месте. Я должен был силой заставить себя сидеть на своей табуретке, откуда я видел, как твой отец вел бой, который он в конце концов проиграл. Я глянул исподтишка на мой потайной ящик: писания моего любимого поэта все еще были там, надежно скрыты. Я обещаю тебе, мой дорогой поэт... Но мне и вправду следовало бы дать ему знать об этом, успокоить его, подмигнув, или каким-нибудь жестом — но как? Нет, это дурная затея. Жестокая. Какой смысл предупреждать его о том, что он скоро умрет? Если я заставлю его понять, что позабочусь о "Завещании", он тут же догадается, он не дурак. Он поймет, что если я пошел на такой риск,

значит, Иван где-то близко... А вот и сам Иван. Он вошел, не постучавшись. Он пожал руку начальнику и бросил мне небрежное "здравствуй". Элегантный, в форме от хорошего портного, интересный мужчина. Только мне он казался уродливым и отталкивающим. Я делал вид, что занят работой, но слишком нервничал, чтобы переписывать всю эту рутинную чепуху. Я видел, как Иван достал свой наган и проверил его. Он профессионал, этот Иван, педантичный парень. Оставшись довольным проверкой, он вставил наган обратно в кобуру, пристегнутую к ремню под кителем. Мой начальник поднял голову, открыл рот, закрыл его, потом снова открыл. Иван почтительно спросил его: "Пойдем?" — "Идем", — ответил начальник. Я встал вместе с ним. Иван повернулся ко мне: "А ты куда? Ты же знаешь правило..."

— Ему любопытно, — сказал мой начальник. — Он прослушал и записал так много дел, что хочет посмотреть, чем они кончаются, чтобы иметь представление.

— Каждому свое, — пробормотал недовольно Иван. — Ладно, идем.

Машинально я бросил взгляд на стенные часы. Они стояли, и я посмотрел на свои. Я люблю отмечать время важных событий. Я помню, что посмотрел на часы, но сколько же было времени? Странно — это выскользнуло у меня из памяти. Я помню все остальное: утро было синим; мой начальник непрерывно облизывал губы, а у меня в животе начались страшные спазмы.

Молча, в затылок, мы шли за Иваном. Вот они — подземные лабиринты "изоляторов". Зеленые лампочки под потолком, пустые коридоры. Иван остановился у одной из камер и дал нам знак не шуметь. Такова процедура: очень осторожно открывают дверь, о, так тихо-тихо, и неожиданно будят осужденного. Говорят ему, что его вызывают на очередной допрос, и — никаких проблем. Секрет успеха — в неожиданности и скорости. Но вот незадача — твой отец встретил нас стоя, мой мальчик, как будто ждал нас. Я был поражен его спокойствием. Лицо его, все в шрамах и рубцах, одежда изорвана в клочья, но вид, на мой взгляд, благородный. Глупо, ты согласен? Короче говоря, он взял над нами верх, сбил нас с толку. Говорить первым начал он:

— Я всю ночь работал, гражданин следователь.

— Отлично, — ответил следователь. — Я уверен, что это замечательно написано. Я прочту все сегодня же.

Наступило молчание. Начальник был в нерешительности. Обычно осужденного ведут в четвертый подвал, где "джентльмен" пускает пулю ему в затылок и оставляет без дальнейших хлопот. Для твоего отца намечена была другая программа. Расстрел надо было осуществить в камере.

— Я пришел, чтобы взглянуть вместе с вами на описание того, что вы называете "погромом в типографии", — сказал наконец мой началь-

ник. Он разложил какие-то бумаги на койке, и твой отец наклонился, чтобы перечитать их. На мгновение наши глаза встретились, он впервые увидел меня! Я вдруг почувствовал страх, что он примет меня за Ивана. Чтобы помешать этому, я представился: "Зупанев, стенографист". Твой отец успокоился: раз здесь стенографист, то и в самом деле это может быть еще один допрос, чтобы уточнить некоторые детали. И вдруг позади меня он увидел Ивана. Ему бы хотелось услышать его имя тоже, но он сдержал себя. Иван же смотрел на него, но ничего не говорил.

— Ну так, давайте посмотрим этот кусок, — сказал твой отец.

Он начал читать, и мой начальник делал вид, что слушает его. И Бог знает почему, я вдруг вспомнил своего деда с материнской стороны. Мне было тогда три или четыре года, и он взял меня с собой в синагогу. Был какой-то праздник; мужчины, погруженные в медитацию, казалось, прислушивались к какому-то далекому голосу. Чей же голос мы четверо слышали теперь? Я с ужасом смотрел, как Иван вытаскивает наган и тянет меня за рукав, чтобы стать на мое место позади осужденного. Я чувствовал, что сейчас завою, чтобы предупредить твоего отца. Палтиель Коссовер был достоин покинуть этот грязный мир как человек, глядя смерти в глаза, плюнув ей в лицо, если бы пожелал. Но я продолжал стоять молча. Следуя примеру твоего отца, я заставил свои мысли унести себя подальше отсюда, и эти потаскухи повиновались мне — они умчались к моему столу, к тетрадам, аккуратно сложенным в потайном ящике; к ним добавятся и другие. И когда-нибудь, однажды, дорогой мой, еще не убитый вероломно еврейский поэт, когда-нибудь твои искры разожгут пожар. И в этот день я начну смеяться! Ты слышишь меня, Палтиель Гершонович Коссовер? Однажды, ты и я, мы потрясем человечество нашим смехом!

А эти дураки, следователи и палачи, которые ничего не видят! Они воображают, что расправились с еврейским поэтом — еще с одним — и его творчеством. Они полагают, что могут править временем, как властвуют над человеком. "Хранить вечно" выбито на резиновой печати, которой они опечатывают дела. Но они, эти дураки, меньше всего интересуют вечность — как и меня, впрочем. Я покажу им, чего стоит их печать! Они узнают еще, что я сделаю с их секретами! Я еще задам им, еще покажу!

Теперь Иван стоял позади своей жертвы. Я видел, как он медленно-медленно поднимал руку. Дуло почти касалось затылка твоего отца. В глазах у меня потемнело, в горле стоял ком. Ангел смерти — вовсе не чудовище со множеством глаз, а хорошо одетый мужчина, вооруженный наганом. Вдруг тишину нарушил тихий голос твоего отца:

— Вы должны понять, что язык народа — это его память, а его память — это...

Глухой взрыв пробил меня насквозь. Поэт съежился, медленно,

даже грациозно сполз на пол, склонив, как во сне, голову на бок. Иван сделал нам знак, что все кончено. Следователь и палач обменялись замечаниями о дальнейшей процедуре: труп сжечь, сжечь все личные вещи и мерзкие предметы религиозного культа. Сжечь это все, стереть его имя со страниц истории, вычеркнуть из всех документов, всех записей. Пока они так переговаривались, я рассматривал лицо поэта и обещал отомстить за него. За этим ублюдком Иваном не останется последнее слово. Он надеется придать забвению твою смерть, как мой начальник — твою жизнь. Но есть еще я. Эти дураки забыли обо мне. Но именно я и есть самый лучший свидетель. Невидимый никому, я присутствовал при том, как они вели свое грязное дело. Я все слышал, все понял и зарегистрировал это дело! Представь себе их лица, этих дураков, когда в один прекрасный день песнь твоего отца станет преследовать их со всех сторон земного шара. В этот день я буду смеяться, наконец-то, я сумею насмеяться за все те годы, когда я так старался рассмеяться и не мог. Спасибо тебе, поэт. Спасибо, брат. Я покидаю тебя, но ты меня не покинешь, мы не расстанемся.

Вернувшись в кабинет, я услышал, как мой начальник отдавал рапорт — краткий, беспристрастный, четкий: "Ваш приказ приведен в исполнение сегодня утром в пять часов тридцать четыре минуты". Потом он отдал необходимые распоряжения. Попросил подать ему чай и хлеб с маслом. Я же переживал странное состояние: сердце мое было разбито, но я знал, что буду смеяться. И вдруг так и произошло — я засмеялся, наконец-то засмеялся. И если начальник этого не заметил, то только потому, что он был болваном, как и все остальные там.

Это идиотизм, это даже несправедливо, но именно мертвые, мертвые поэты заставят смеяться таких людей, как я, да и всех других.

Я говорю это твоему отцу и повторяю снова. Пусть его уже нет в живых, и никто из могильщиков не предаст его тело земле — это потому, что земля проклята, как проклято и небо. Неважно это. Я понесу его, твоего большого ребенка-отца, я буду нести его день, год, десять лет, потому что я должен услышать его смех. Вот почему я внедряю в тебя его память и мою. Я должен это сделать, мой мальчик, ты понимаешь, я должен. Иначе...



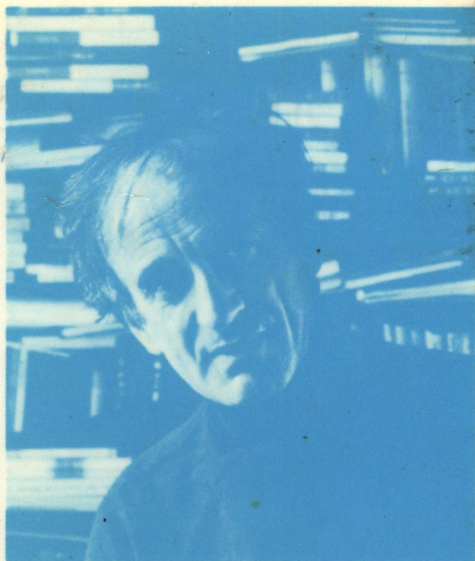
# ЭРМИТАЖ

В 1987 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература". (Статьи, 143 с.)	6.00
АКСЕНОВ, Василий. "Право на остров". (Рассказы, 204 с.)	7.00
АЛЬТШУЛЛЕР, М., ДРЫЖАКОВА, Е. "Путь отречения" (350 с.)	16.50
ВИЗЕЛЬ, Эли. "Завет". (Роман Нобел. лауреата, 280 с.)	12.00
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. "Стихотворения". (160 с.)	8.00
ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта". (Роман, 145 с.)	5.50
ГОРЕНШТЕЙН, Фридрих. "Искушение". (Роман, 160 с.)	8.50
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Заповедник". (Повесть, 128 с.)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона". (Повесть, 128 с.)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Чемодан". (Рассказы, 112 с.)	7.50
ДРУСКИН, Лев. "У неба на виду". (Избр. стихи, 230 с.)	9.50
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера". (Сборник интервью, 120 с., илл.)	8.00
ЕЛАГИН, Иван. "Тяжелые звезды". (Избр. стихи, 360 с.)	12.00
ЕРЕМИН, Михаил. "Стихотворения". (Сост. Л. Лосев, 160 с.)	8.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда". (Роман, 320 с.)	8.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Как одна плоть". (Роман, 120 с.)	6.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев". (340 с.)	13.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Практическая метафизика". (Филос., 340 с.)	8.50
ЖЕМЧУЖНАЯ, Зинаида. "Пути изгнания". (Мемуары, 288 с., илл.)	14.00
ЖОЛКОВСКИЙ, А. и ЩЕГЛОВ, Ю. "Мир автора и структ. текста".	15.00
<i>ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?</i> (Статьи, сост. Ю. Фельштинский, 190 с.)	10.00
ЗАЙЧИК, Марк. "Феномен". (Рассказы, 184 с.)	8.50
ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы". (160 с.)	7.50
ИВАНОВ, Георгий. "Третий Рим". (Избр. проза, 380 с.)	14.00
<i>ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ.</i> (352 с.)	13.50
КОРОТЮКОВ, А. "Нелегко быть русским шпионом". (Роман, 140 с.)	8.00
ЛОСЕВ, Лев. "Закрытый распределитель". (Очерки, 190 с.)	7.00
ЛОСЕВ, Лев. "Чудесный десант". (Стихи, 150 с.)	9.00
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. "Маленькая Тереза". (Жизнеописание, 204 с.)	9.50
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. "Реформаторы. Лютер, Кальвин, Паскаль".	17.50
ПОПОВСКИЙ, Марк. "Дело академика Вавилова". (280 с., 20 илл.)	10.00
<i>ПОЭТИКА БРОДСКОГО</i> (Статьи, ред.-сост. Л. Лосев, 256 с.)	12.00
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. "Сказка о трех головах". (Рус. и англ., 128 с.)	7.50
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. "Стихи". (На рус., англ., фран., 140 с.)	8.50
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Звездопад". (Повести, 270 с.)	12.00
РОЗИНЕР, Феликс. "Весенние мужские игры". (Пов., рас., 208 с.)	8.50
РЫСКИН, Григорий. "Осень на Виндзорской дороге". (2 пов., 200 с.)	8.50
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прорыв". (Роман об эмигр. 1970-х, 560 с.)	18.00
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прощание с Россией". (Повесть, илл., 140 с.)	8.50
СУСЛОВ, Илья. "Мои автографы". (Рассказы, 200 с., илл.)	10.00
СУСЛОВ, Илья. "Рассказы о т. Сталине и др. товарищах". (140 с.)	7.50
ТЕЛЕСИН, Юлиус. "1001 сов. полит. анекдот". (180 с.)	10.00
ТИМОФЕЕВ, Лев. "Последняя надежда выжить". (Очерки, 200 с.)	10.00
ТРОЦКИЙ, Лев. "Дневники и письма". (Сост. Ю. Фельштинский.)	12.00
ЧЕРТОК, Семен. "Последняя любовь Маяковского". (128 с., илл.)	7.00
ШТЕРН, Людмила. "Под знаком четырех". (Повести, 200 с.)	8.50
ШТУРМАН, Дора. "Земля за холмом". (Статьи, 256 с.)	7.00
ШУЛЬМАН, Соломон. "Инопланетяне над Россией". (208 с., илл.)	12.00

Заказы отпр. по адресу: Hermitage, P. O. Box 410, Tenafly, N.J. 07670, USA

К стоимости заказа добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от числа заказываемых книг). При покупке 3-х и более книг — скидка 20%.



Герой романа ЭЛИ ВИЗЕЛЯ — лауреата Нобелевской премии мира за 1986 год, — вырос в маленьком еврейском местечке в России, в детстве пережил погром, а в юности был захвачен революционным потоком, захлестнувшим Европу, и решил порвать с верой и заветами своих предков. Судьба бросала его то в литературный Берлин 1920-х, то в бурлящий политическими страстями Париж 1930-х, то в Палестину. Он принял участие в гражданской войне в Испании, провоявал санитаром в Красной армии вторую мировую, и вся его жизнь проходит перед читателем в виде воспоминаний, которые он — арестованный поэт — пишет в тюрьме НКВД в ожидании расстрела. Судьба еврейских писателей, казненных Сталиным в 1952 году, издавна волновала Эли Визеля. Но начинается и кончается "Завет" сценами в современном Израиле, куда прибывает сын погибшего поэта — символ возврата мятущейся еврейской души к оборванным вековым корням.